Военные Приключения
ПОДЖИГАТЕЛИ
"НО ПАСАРАН"
НИК. ШПАНОВ
ВП
НИК. ШПАНОВ
ПОДЖИГАТЕЛИ
"НО ПАСАРАН"

Военные Приключения®

НИК. ШПАНОВ

# ПОДЖИГАТЕЛИ. «НО ПАСАРАН!»

Москва
«Вече»

УДК 821.161.1-311.3
ББК 84(2)
Ш83

**«Военные приключения»**® является зарегистрированным товарным знаком, владельцем которого выступает ООО «Издательский дом «Вече». Согласно действующему законодательству без согласования с издательством использование данного товарного знака третьими лицами категорически запрещается.

*Составитель серии В.И. Пищенко*

**Шпанов, Н.Н.**

Ш83 Поджигатели. «Но пасаран!» : роман / Ник. Шпанов. — М.: Вече, 2012. — 416 с. — (Военные приключения).

ISBN 978-5-4444-0202-3

Черная завеса нацизма накрыла Германию. Теперь фашистская камарилья строит новые планы — воссоздать военную мощь, чтобы перейти к покорению Европы и всего мира. Для этого хороши все методы: убийства, заговоры, подкупы, предательство... Сторонников и покровителей у коричневой чумы хватает, но далеко не все люди согласны равнодушно смотреть на то, как на планету накатывает волна очередной мировой бойни. Испания! Именно там новоявленным «хозяевам человечества» приходится столкнуться с отчаянным сопротивлением.

Широко известный роман автора многих советских бестселлеров, которыми зачитывалось не одно поколение любителей остросюжетной литературы.

**УДК 821.161.1-311.3**
**ББК 84(2)**

ISBN 978-5-4444-0202-3

© Шпанов Н.Н., 2012
© ООО «Издательство «Вече», 2012

# ПОДЖИГАТЕЛИ. «НО ПАСАРАН!»

## Часть первая

# ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЕ МИШЕНИ

Европа, ныне восхищенна,
Внимая смотрит на восток...
*М. Ломоносов*

### 1

Уэллс вернулся из парка культуры физически разбитым. Все время что он сидел в Зеленом театре, ему что-то говорили, объясняли, переводили слова артистов. Но он почти ничего не слышал и глядел вокруг себя прищуренными глазами, не отвечая. Он был под впечатлением утреннего разговора и, напрягая память, старался восстановить детали встречи, каждое слово собеседника. Всем существом он ощущал, что каждый звук, каждая интонация этих слов должны иметь для него и для всех, кто услышит их через него, особенное значение.

Не дослушав концерта, он уехал.

Он с удовольствием вошел в прохладный номер гостиницы, снял размокший воротничок и подошел к

окну. Оно выходило на площадь, за которою возвышалась стена Кремля.

Уэллс старался разобраться в своих впечатлениях. Свойственное его характеру саркастическое упрямство мешало ему признаться, что даже этих двух дней в Москве было достаточно, чтобы зачеркнуть все, что он записал после приезда из России в 1920 году. То, что представлялось ему тогда «электрической утопией», можно было теперь видеть, трогать руками.

Каким легкомыслием казалось ему теперь его собственное заявление о том, что «марксистский коммунизм является теорией, которая не заключает никаких творческих идей и явно им враждебна». Увы, эта фраза останется черным штрихом в биографии автора фантастических романов, расписавшегося в бессилии своей фантазии. Странное признание сделал он тогда своим читателям: «Можно ли представить себе более смелый проект в обширной, плоской стране, с бесконечными лесами, безграмотными мужиками и ничтожным развитием техники!.. Вообразить себе применение электрификации в России можно только с помощью очень богатой фантазии». Да, тогда он, романист, не смог себе этого представить. Советская действительность превзошла полет его, Уэллса, писательской мысли. Способен ли он публично признать все, что видел и слышал вчера и сегодня, за истину, против которой нет смысла спорить?..

Он переменил воротничок и пошел в ресторан. Зал был пуст. В ярком свете люстр столики на голубом ковре сверкали хрусталем и белизною накрахмаленных скатертей, как льдины в море. Было очень тихо. Ковер и деревянные панели стен поглощали звуки.

В дальнем углу Уэллс увидел знакомого английского журналиста. Он сидел с немцем, которого Уэллс

тоже знал. Уэллсу не хотелось пустой болтовни, и он направился было к другому столику, но англичанин уже встал и отодвинул для него стул. Уэллс — в Москве! Это было хорошим товаром для журналиста.

Пришлось сесть. Однако усталый вид Уэллса говорил о том, что его нелегко будет расшевелить. Вероятно, поэтому англичанин вернулся к прерванному разговору с немцем.

— Я делюсь основными положениями статьи, посланной вчера в мою газету, — пояснил он Уэллсу.

Уэллс равнодушно посмотрел на него: ему было совсем неинтересно знать, что думает этот человек.

Однако после первых же фраз он невольно стал прислушиваться. Англичанин говорил немцу:

— Японии предназначено сыграть очень большую роль в будущности Востока. Я убежден: она пойдет к своему назначению с непоколебимой решимостью. Я всегда считал ошибкой прекращение нашего союза с Японией.

— Мне кажется, Саймон совершенно прав, — сказал немец. — Англия должна гарантировать только одну границу — французскую. Тогда мы, немцы, могли бы взять на себя наведение порядка в Восточной Европе.

— Именно так и должно быть! — подтвердил англичанин. — Франции не следует давать возможности сговориться с Москвой. Мы с вами должны общими усилиями убедить мир в том, что пора покончить с попытками организации пресловутого блока «белых». «Желтая опасность» для Европы — воображаемая опасность. Если гарантировать от японских аппетитов наши восточные воды, то мы ничего не имели бы против того, чтобы развязать японцам руки на дальневосточной границе Советов.

— Вполне разумно, — согласился немец. — Конечно, если бы до того нам дали возможность вооружиться.

— Вам ее дадут. В Англии достаточно людей, которые понимают, что между нашей Европой и Дальним Востоком расположен политический и экономический резко антагонистический организм. Нужно договориться с вами и с японцами и взять Россию в клещи.

— Является ли это лишь вашим личным взглядом?

— Так думают влиятельные лица в Англии, — с важностью заявил журналист. — Один из них сказал мне: «Япония может довести корейско-маньчжурскую границу до Ледовитого океана и аннексировать дальневосточную часть Сибири, при условии, конечно, что наши интересы будут обеспечены, например, ленскими золотоносными землями. Союз Англии и Франции сделает невозможной немецкую экспансию на запад. Мы откроем ей дорогу к России».

— Очень, очень разумные мысли! — воскликнул немец. — Почти так же говорится и в книге фюрера!

Уэллс с раздражением постучал ножом по тарелке, подзывая официанта.

Англичанин быстро взглянул на него и понял, что нужно переменить тему.

— Говорят, вы были сегодня в Кремле? — спросил он писателя.

Уэллс пробормотал что-то неразборчивое и, отодвинув стул, встал. Стул зацепился за ковер и упал. Уэллс, не оборачиваясь, вышел из ресторана.

Немец смотрел ему вслед с удивлением.

— Он всегда всем недоволен! — насмешливо произнес англичанин. — Если бы мы с вами хвалили большевиков — он стал бы их бранить. Таков характер.

— Очень странный характер, — сказал немец.

— Просто дурной характер, — желчно согласился англичанин.

В коридоре на своем этаже Уэллс столкнулся с Паркером. Уэллс не сразу узнал американца, хотя его красное лицо показалось Уэллсу отдаленно знакомым.

— Не узнаете? — улыбнулся Паркер. — Мы встречались в Лондоне.

— А! Вспоминаю: вы еще собирались в Китай, «который нечто вроде России».

— Прекрасная память, сэр!

— Это профессиональное — запоминать глупости. Они всегда могут пригодиться, — сказал Уэллс и скрылся за дверью своего номера.

Он не успел сбросить пиджак, как позвонили от портье; прибыл нарочный с пакетом из Кремля.

Уэллс нетерпеливо разорвал конверт. Это была объемистая стенограмма утренней беседы в Кремле. Как ни странно, но только что слышанное в ресторане освещало беседу новым, неожиданным для Уэллса светом: теперь сличить собственные записи, относящиеся к встрече, с точной записью кремлевского стенографа. Правда, стенограф не отразил ни выражения лиц собеседников Уэллса, ни их интонаций, но все это достаточно крепко держала память писателя.

«Так, — подумал Уэллс, — посмотрим же, как тут записано мое “выступление”. Быть может, я сказал что-нибудь, чего вовсе не собирался говорить. Это бывает, когда волнуешься...»

Он принялся просматривать стенограмму:

«...Я недавно был в Соединенных Штатах, имел продолжительную беседу с президентом Рузвельтом и пытался выяснить, в чем заключаются его руководящие идеи... Поездка в Соединенные Штаты произвела на меня потрясающее впечатление. Рушится старый

финансовый мир, перестраивается по-новому экономическая жизнь страны. Ленин в свое время сказал, что надо "учиться торговать", учиться этому у капиталистов. Ныне капиталисты должны учиться у вас постигнуть дух социализма. Мне кажется, что в Соединенных Штатах речь идет о глубокой реорганизации, о создании планового, то есть социалистического, хозяйства. Вы и Рузвельт отправляетесь от двух разных исходных точек. Но не имеется ли идейной связи, идейного родства между Вашингтоном и Москвой?..»

И вот ему терпеливо, но настойчиво разъясняют, как способному, но запутавшемуся школьнику: у США другая цель, чем у коммунистов в СССР. «Та цель, которую преследуют американцы, возникла на почве экономической неурядицы, хозяйственного кризиса. Американцы хотят разделаться с кризисом на основе частнокапиталистической деятельности, не меняя экономической базы. Они стремятся свести к минимуму ту разруху, тот ущерб, которые причиняются существующей экономической системой».

Уэллс усмехнулся: хорошо, что он не американец, а то бы ему пришлось с пеной у рта доказывать, что в США никакой неурядицы нет и никакой разрухи тоже нет. Но нет, он не собирается выступать в роли адвоката янки — факты, как говаривал, кажется, Ленин, — сильная вещь, с ними трудно спорить, и прав его собеседник, когда делает из этих фактов вывод:

«Таким образом, в лучшем случае речь будет идти не о перестройке общества, не об уничтожении старого общественного строя, порождающего анархию и кризисы, а об ограничении отдельных отрицательных его сторон, ограничении отдельных его эксцессов. Субъективно эти американцы, может быть, и думают, что перестраивают общество, но объективно нынешняя база

общества сохраняется у них. Поэтому, объективно, никакой перестройки общества не получится...»

Разве можно не согласиться со всем этим? Не выглядел ли он, Уэллс, немножко наивно, когда ему пришлось выслушать объяснение о том, что теоретически, конечно, можно допустить, что и в условиях капитализма можно шаг за шагом идти к той цели, которую он, Уэллс, называет социализмом в англо-саксонском толковании этого термина? Это не было произнесено иронически, и не будь он, Уэллс, тем, кем был, он, может быть, и не уловил бы тончайшей интонации, из которой должен был понять, что его понимание слова «социализм» — по меньшей мере легкомыслие, чтобы не сказать больше. Согласен ли он с этим?.. Скорее нет, чем да. Не будь его собеседником Сталин, он, Уэллс, может быть, и продолжал бы эту дискуссию в чисто теоретическом смысле. Но это не тот оппонент, с которым можно вступить в спор на подобную тему, заранее не вооружившись до зубов. Казалось бы, он должен был идти в Кремль именно во всеоружии для такого разговора, но что делать, если уже там он обнаружил, что все, что было у него в запасе, до беспомощности слабо перед утверждением оппонента, что этот его «англо-саксонский» социализм в приложении к нынешнему положению Соединенных Штатов будет означать не больше, чем некоторое обуздание отдельных, наиболее необузданных акул капиталистического мира путем некоторого регулирования в народном хозяйстве. Может ли это что-либо дать в смысле серьезного преобразования всей системы как таковой? Конечно, нет! Как только Рузвельт или какой-нибудь другой капитан современного буржуазного мира захочет предпринять что-нибудь серьезное против основ капитализма, он не может не потерпеть неудачи, так как ему будет противостоять весь мир банков, весь мир

монополий — весь мир крупных собственников, в чьих руках находится все хозяйство страны.

Тут уже сам Уэллс должен был домыслить то, что не было досказано собеседником: да и захочет ли кто-нибудь из капитанов буржуазного государственного корабля, — даже Рузвельт, — предпринять такое плавание против течения?.. Едва ли! Зачем? Ведь подобный поход против основ капитализма означал бы разрыв с теми, кто является фактическими хозяевами и самого его, Рузвельта!..

Уэллс не заметил, как от чтения отчета он перешел к размышлению на эту неожиданную для него тему, кто же является чьим хозяином в том мире, где живет он сам и где живет Рузвельт: хозяйство ли и капитал подчинены государству, или оно само, государство, вынуждено подчиняться фактическим хозяевам капиталистам, то есть опять-таки развиваться не по велению разума, а по воле главарей монополий?!

Рука писателя машинально перебирала лежащие на коленях листы, и взгляд его почти так же машинально скользил по строкам отчета:

«...Переделка мира есть большой, сложный и мучительный процесс. Для этого большого дела требуется большой класс. Большому кораблю — большое плавание.

Уэллс: Да, но для большого плавания требуются капитан и навигатор.

Сталин: Верно, но для большого плавания требуется прежде всего большой корабль. Что такое навигатор без корабля? Человек без дела.

Уэллс: Большой корабль — это человечество, а не класс.

Сталин: Вы, г-н Уэллс, исходите, как видно, из предпосылки, что все люди добры. А я не забываю,

что имеется много злых людей. Я не верю в доброту буржуазии».

Звякнул телефон. Уэллс с досадой сбросил телефонную трубку с аппарата.

Еще минуту тому назад Уэллсу казалось, что он знает в стенограмме каждое слово, но стоило ему просмотреть несколько страниц, и он опустил листки на колени, в задумчивости уставившись в окно. Странно, ведь он не услышал в ресторане ничего нового ни от англичанина, ни даже от немца: настроения той Европы были ему отлично известны и раньше. Так почему же он утром в Кремле возражал против многих ответов Сталина, которые сейчас, в свете только что слышанного, представляются ему неоспоримыми? Неужели только из обычного для себя духа противоречия? Нет, это было бы несерьезно, недостойно. Так в чем же дело, почему пришедшие ему сейчас на память слова этого глупого немца, наверное, фашиста, и такого же глупого англичанина заставили смотреть на свои собственные слова более строгими глазами, чем он смотрел утром?

Не в силах проанализировать свои чувства, Уэллс поднял с колен листы и стал читать дальше.

«...Сталин: Конечно, старая система рушится, разлагается. Это верно. Но верно и то, что делаются новые потуги иными методами, всеми мерами защитить, спасти эту гибнущую систему. Из правильной констатации вы делаете неправильный вывод. Вы правильно констатируете, что старый мир рушится. Но вы не правы, когда думаете, что он рухнет сам собой. Нет, замена одного общественного порядка другим общественным порядком является сложным и длительным революционным процессом. Это не просто стихийный процесс, а это борьба, это процесс, связанный со столкновением

классов. Капитализм сгнил, но нельзя его сравнивать просто с деревом, которое настолько сгнило, что оно само должно упасть на землю. Нет, революция, смена одного общественного строя другим, всегда была борьбой, борьбой мучительной и жестокой, борьбой на жизнь и смерть.

...Взять, например, фашизм. Фашизм есть реакционная сила, пытающаяся сохранить старый мир путем насилия. Что вы будете делать с фашистами? Уговаривать их? Убеждать их? Но ведь это на них никак не подействует. Коммунисты вовсе не идеализируют метод насилия. Но они, коммунисты, не хотят оказаться застигнутыми врасплох, они не могут рассчитывать на то, что старый мир сам уйдет со сцены, они видят, что старый порядок защищается силой, и поэтому коммунисты говорят рабочему классу: готовьтесь ответить силой на силу, сделайте все, чтобы вас не раздавил гибнущий старый строй, не позволяйте ему наложить кандалы на ваши руки...»

Пришлось прервать чтение, так как Уэллс с досадою обнаружил, что трубка его снова погасла, и принялся ее сосредоточенно раскуривать. Он по опыту знал, что это всегда развлекает. Особенно, когда попадается сырой табак.

А именно сейчас Уэллсу и нужно было отвлечься от прочитанного, оттолкнуться от силы учения Маркса и Ленина, которой на него веяло от листков стенограммы, будивших свежие воспоминания об утренней встрече.

Защитный рефлекс закоренелого скептика требовал ухода от спора с самим собою.

Как это бывало с ним в минуты творческих поисков, он уже увидел свое второе «я» — второго Уэллса, отошедшего в сторону, готового к бою. Но что-то уж

очень победоносно глядит на него сегодня тот, второй Уэллс...

Если бы ему довелось беседовать в Кремле еще раз, он задал бы еще очень много вопросов. О многом он не спросил, и многое останется для него не освещенным гением этих творцов новой истории...

Писатель привык копаться в психологии своих героев и искать смысл общественных явлений, слишком привык к тому, чтобы смотреть на происходящее анализирующим взглядом. Могло ли остаться для него незамеченным удивительное явление, происходящее с ним самим? Он, автор «России во мгле», в угоду своему английскому читателю упрямо и последовательно сопротивляющийся фактам, вызванным гигантскими событиями в России; он, приехавший сюда романистом-снобом, для которого, казалось, были заранее решены все социальные коллизии, вдруг почувствовал, что сегодняшнее свидание в Кремле поколебало его душевное благополучие.

Уэллс-писатель стоял в недоумении перед психологическим ходом «романа» о самом себе, романа, который писала рука жизни. Общение с людьми, с которыми он провел это утро, взволновало его с небывалой силой. Его собственной вере в свой авторитет угрожало крушение. Он, привыкший считать себя на голову выше других, вдруг увидел настоящее величие мысли и духа и понял: он, англичанин Уэллс, — карлик. Мысли других людей, представителей совсем иной среды, другого класса, вмешавшись в предусмотренное планом, политическими взглядами автора и его литературными традициями развитие романа, в один день, в один час перевернули его ощущения, восприятие мира и событий. Упрямая сущность британца восставала в Уэллсе против того, чтобы поддаться покоряющей

силе такого вмешательства. Ведь это значило бы, что его творчество должно пойти новыми, чужими путями, неожиданными для него самого и для миллионов его английских читателей, путями, которые можно было бы даже назвать антагонистическими в отношении тех, какими он шел прежде. Для англичан он писал, он был частицею их самих, выразителем их самых прочных идей, традиционно британских мечтаний. Поддаться неотразимой убедительности, силе коммунистической идеологии, согласиться с неопровержимостью глубокого и точного анализа значило для Уэллса признать превосходство большинства, олицетворяемого коммунистами, — большинства, всегда отрицавшегося Уэллсом. Признать себя побежденным значило понести читателю новые идеи. Эти идеи были таковы, что должны были бы, подобно бомбе, взорвать все, что он создавал и утверждал до сих пор, — священную уверенность британцев в превосходстве их индивидуалистической философии. Одновременно должна была бы взлететь на воздух и вера остального мира в законное и само собой разумеющееся превосходство человека, рожденного на островах Соединенного Королевства, человека, носящего имя «англичанин»...

Не сдаваться, не сдаваться!.. Это был аккомпанемент, настойчиво сопровождавший каждую мысль. Уэллс наморщил лоб, насупил брови, и пальцы его сжали трубку. Не сдаваться! Пусть разум и совесть говорят ему, что правы они, эти простые русские каменотесы и прядильщицы, слесари и матросы, директора строек из вчерашних шоферов и министры в солдатских гимнастерках. Пусть правы их теоретики, пусть права сама их жизнь! Уэллсу не должно быть до этого дела. Он представитель своего, британского, буржуазного мира, он частица того класса Британии, который на протяжении веков

безраздельно господствует над величайшей мировой империей. Он, Уэллс, не только аккумулятор идей и мыслей, рожденных психологией этого класса — хозяина империи, но и один из тех, чье назначение — внедрять эти мысли в сознание остальных рядовых британцев; его долг — подавать эти идеи устойчивости британского мира так, чтобы они загораживали все другие, могущие подорвать благополучие его класса, его мира, его империи. Но, быть может, он тогда попросту обманщик — такой же обманщик рядовых англичан, каким чувствует себя сейчас перед самим собою? Что же, может быть, и так! Даже наверно так оно и есть. «Обман во спасение». И разве церковь вот уже два тысячелетия не занимается тем же самым?..

Окутанный клубами табачного дыма, Уэллс неподвижно сидел в кресле с высокой резной спинкой. Он так ухватился за подлокотники, будто ему нужно было собрать все силы для сопротивления чему-то, что он видел за колеблемою ветром шторой; будто он боялся, что уже сейчас этот ветер превратится в вихрь, ворвется сюда и вырвет его навсегда из удобного, похожего на старинный трон кресла.

Взгляд Уэллса был устремлен на окно. Высоко в небе над Кремлем, отсеченное от земли чернотою ночи, трепетно алело полотнище флага, ярко освещенное невидимым прожектором. Несущееся впереди звезд, мерцающих в далеком небе, оно казалось Уэллсу знаменем таинственного, космически величественного мира.

Он долго сидел у окна, потом раздраженно поднялся и повернулся к нему спиною. Это ярко-красное полотнище сияло, переливаясь перед ним, как знамение его проигрыша в споре, который он вел всю жизнь. Ему еще никогда не было так ясно, как сегодня, что, формально отрекшись от фабианства, он никогда не ухо-

дил от него. Его проповедь грядущего царства технократии — только версия фабианского эволюционизма. Вся его жизнь ушла на утверждение того, что русская революция зачеркнула уже на шестой части земного шара. Если мыслить историческими масштабами, как он пытался мыслить всегда, то...

Может быть, было бы лучше для него, Уэллса, никогда не вспоминать о приглашении Ленина: «Приезжайте в Россию через десять лет». Было бы лучше не приезжать теперь. Он приехал, чтобы убедиться, что вся его жизнь оказалась ошибочным утверждением ошибочных вещей. Даже трудно поверить, что это он сам сказал когда-то: «Советское правительство должно послужить исходной точкой новой цивилизации» и «созидательная и воспитательная работа большевиков, как скала надежды, возвышается над окружающей бездной». Гордиться ли ему тем, что когда-то у него хватило смелости написать эти строки, или жалеть о них? Ведь сколько бы он ни спорил теперь с самим собою — читатели хотят верить этим словам, а не его новым героям. Человечество потому и сумело пронести светоч своих идеалов сквозь века мрака, что всегда стремилось верить таким, хотя бы нечаянно вырвавшимся возгласам правды, а не злобному бормотанию призраков вроде вылезшего из «Каинова болота» Паргейма.

Какое смятение в душе!..

Неужели прав был Энгельс, говоря, что фабианцы понимают неизбежность социальных переворотов, но страх перед революцией — их основной принцип. Может быть, «Россия во мгле» — не правда о том, какою он видел Россию, а всего лишь защитная реакция против того, что он боялся провидеть?..

Он не знал... ничего не знал, но ему хотелось думать, что никто не смеет сказать, что он, Герберт

Джордж Уэллс, не потратил жизнь на поиски истины. Но сможет ли хоть кто-нибудь сказать, что он нашел эту истину, если он и сам не смеет об этом подумать? И что это была за «истина»?! Искать всю жизнь и найти совсем не то, что искал!.. Современный капитализм неизлечимо жаден и расточителен! Это Уэллс знает и сам, потому он и издевался всю жизнь над капиталистами. «Пока капитализм не будет разрушен, он будет продолжать глупо и бесцельно растрачивать человеческое достояние, бороться со всякими попытками эксплуатировать природные богатства для всеобщей пользы, а так как конкуренция является его сущностью, он неизбежно будет вызывать войны...» Ему помнится так.

Что же, Уэллс не спорил с этим и тогда, в двадцатом году, не спорит и теперь. Что же?.. Бытие не вечно — важно то, что останется после тебя... А что останется после Герберта Джорджа Уэллса? Романы, утверждающие очевидные ошибки выдуманных героев?..

Уэллс устало провел ладонью по лицу, разделся. Но и лежа в постели, он продолжал думать о том же. И всякий раз, когда он поворачивался на правый бок, ему становилось видно окно и за ним уносящееся в темную даль сияющее алое знамя. И так ярко было это видение, что Уэллс до осязаемости ясно представлял его себе даже тогда, когда закрывал глаза.

Он встал, подошел к окну и нетерпеливо задернул тяжелую штору.

## 2

Заметив, что Лемке притормозил и намеревался повернуть направо, Винер сказал:

— Прямо!

— Но, господин доктор, я хотел проехать по Виландштрассе.

— Нет, нет! — раздражаясь, крикнул Винер. — Вам говорят — прямо! Вечно у вас свое мнение!

Переждав поперечный поток автомобилей, Лемке послушно пересек Курфюрстендамм. Приходилось делать ненужный крюк. Но Винер не выносил возражений, и Лемке должен был ехать, как тому заблагорассудится. В конце концов, за бензин платил Винер.

А Винер хотел еще раз взглянуть на витрину антиквара на углу Вильмерсдорф и Зибельштрассе. Было любопытно узнать, продан ли этюд Маркэ. Чертов торгаш просил за него вдвое больше, чем он стоит. Останавливаться у лавки Винер, конечно, не станет, чтобы не обнаружить своего интереса.

Автомобиль поравнялся с антикварным магазином, и, к своему разочарованию, Винер увидел, что интересующего его полотна в окне уже нет. Значит, кто-то из новых собирателей опять опередил его! Они готовы платить какие угодно деньги, лишь бы на полотне была более или менее известная подпись.

Однако дело сейчас не в нуворишах, а в плане, задуманном Винером благодаря случайному вмешательству Асты.

Девчонка — молодец! У нее отцовская голова! Несмотря на свои шестнадцать лет, она прекрасно разбирается в политике. «Теперь, папа, — заявила она, — нам надо собирать не изображения христов или купальщиц, а портреты фюрера и его шайки». Может быть, это вырвалось у нее случайно. Но сказано верно. Да, он отведет под картины нацистского содержания угол направо от входа, чтобы эта часть коллекции первою бросалась в глаза.

Автомобиль остановился. Лемке соскочил со своего места и отворил дверцу. Винер выставил одну ногу и огляделся по сторонам, будто чего-то опасался. Затем не спеша вылез на тротуар и окинул взглядом самый обыкновенный дом, каких тысячи в Берлине. В них живут, вероятно, тысячи никому не известных начинающих художников вроде этого Цихауэра. В прошлый свой приезд Винер уже договорился с ним об изготовлении копии с работы кого-нибудь из лучших мастеров. Когда Винер узнал от своего портного о существовании этого Цихауэра, он осторожно познакомился с двумя копиями, которые тот делал, еще будучи в Школе искусств. Копии были великолепны. Нынешняя ситуация тоже вполне соответствовала планам Винера: художник сидел без пфеннига и, наверное, готов был взяться за любой заказ.

Лифт остановился на пятом, последнем этаже.

Когда Винер вошел в мансарду, художник лежал на диване. При появлении Винера он нехотя спустил ноги с дивана, не спеша поднялся и, не запахивая пижамы, пошел навстречу гостю. От Винера не укрылось, что Цихауэр мимоходом накинул простыню на мольберт.

Винер решил, что под этой простыней скрывается набросок того, о чем они толковали. Но как мог художник заниматься копированием тут, в своем ателье, вдали от оригинала?.. Впрочем, на этот вопрос могли, по-видимому, ответить разбросанные повсюду многочисленные изображения Иисуса. Это были репродукции картин разных мастеров — целая груда фотографий, гравюр и просто открыток. Значит, Винер не ошибся: Цихауэр уже занят его заказом! Даже не получив задатка! Видимо, малый еще голоднее, чем можно было предположить. Прекрасно! Прекрасно! Сейчас Винер

его ошеломит: «По боку всех христов, милейший!» И изложит уже сложившуюся у него в голове идею будущей картины, которая будет называться «Фюреры». Нечто вроде «Ночного дозора» Рембрандта — все главари коричневой шайки в сборе, пышные мундиры, ордена, знамена! Громы и молнии!

Потирая руки, Винер стоял в ожидании, что художник заговорит первым и поделится своими замыслами. Но Цихауэр тоже молчал и до неделикатности пристально разглядывал лицо Винера. Будто речь шла не о копии с изображением распятого, а о портрете самого заказчика. Его портрет! Скоро Винер, конечно, закажет его. Но кому? Это будет первоклассный, признанный мастер, чье полотно на выставках привлечет внимание одной подписью; либо, если уж это будет дебютант, то такой, который его портретом начнет восхождение к вершинам славы!

Цихауэр с такой силой засунул руки в карманы дешевой полотняной пижамы, что ткань обтянула его узкие плечи и впалую грудь с выступающими ребрами. Винер впервые заметил, до чего тощ художник. Впрочем, он впервые обратил внимание и на нечто иное, что его чрезвычайно заинтересовало: смуглое лицо, высокий чистый лоб, обрамленный прядями длинных прямых волос, горящие, немного наискось разрезанные глаза, рыжеватые усики и такая же рыжеватая, по-видимому, очень мягкая бородка — все это делало Цихауэра удивительно похожим на того, за чьим изображением Винер сюда пришел. Это сходство показалось Винеру знаменательным. Он сделает хорошее дело с этим парнем!

Видя, что хозяин не спешит предложить ему стул, Винер сам переложил с одного из них пачку альбомов на стол и сел. Художник все молчал.

— Послушайте, — рассердился наконец Винер, — что вы на меня уставились? Я же не заказываю свой портрет!

— Вы что-то сказали о портрете?.. Извините, у меня лихорадка. Я, вероятно, недостаточно сосредоточен.

— К сожалению, да, — недовольно проворчал Винер и тыльной стороной руки разгладил бороду снизу, от горла. — Мне хотелось бы закончить наше дело.

— Да, да... Прошлая беседа натолкнула меня на интересную идею. Я уже многое продумал. После вашего визита я кое-что узнал о вас.

— Позвольте, это моим делом было — наводить о вас справки! — возразил Винер и беспокойно заерзал на стуле.

— О, прошу простить! Это все проклятая лихорадка... Впрочем, не то, не то... Когда меня трясет, голова работает необыкновенно ясно! — Цихауэр поежился от озноба. — Я расскажу вам мой замысел.

Подчиняясь безотчетному любопытству, Винер снял шляпу и положил ее на стол. Он надеялся, что, изложив замысел, художник поднимет простыню с мольберта. Винер с одного взгляда поймет, стоит ли об этом говорить.

— Я расскажу вам свою идею, — повторил Цихауэр. — Вы видели когда-нибудь работу Давида?.. Герард Давид, «Крещение Господне», что висит в Брюгге?

— Я помню репродукцию... — неуверенно сказал Винер.

— Помните лицо Иисуса? Это лицо заучившегося еврейского юноши, из которого родители хотят сделать пророка. В те времена это было небезвыгодной профессией. Если вы не настаиваете на портретном сходстве с известными изображениями Иисуса, то я предложил бы сделать распятого олицетворением Германии, про-

стого немца, обыкновенного, недалекого немца. А стражи я дал бы лица наиболее известных сподвижников Гитлера; офицер — он сам... В его руке копье. Оно занесено, чтобы нанести удар распятой Германии...

— Послушайте! — воскликнул в отчаянии Винер. — Вы сошли с ума! Я не хочу вас слушать! — Он решительно взялся за шляпу. — Вам нужно прийти в себя после лихорадки. Так мне кажется, господин Цихауэр!

— Да, да! Вы, кажется, правы, — покорно ответил художник.

Несколько мгновений он смотрел на Винера широко открытыми, лихорадочно горящими глазами и, как казалось Винеру, не видел его и даже, кажется, забыл, что перед ним солидный заказчик, которому дорого время и которому, кроме того, вовсе не доставляет удовольствия торчать в этой душной мансарде... Фу, безобразие! Как странно молчит этот субъект. Винеру мучительно хотелось прервать молчание художника, но непривычная робость вдруг овладела им; он не мог себя заставить сказать что-нибудь, что вернуло бы художника на землю.

А Цихауэр действительно не видел в эти минуты сидящего перед ним Винера. Его взор ушел во внезапно представшее ему видение будущей картины. Ощущение брезгливой неприязни, вызванное в нем прошлым свиданием с Винером, превратилось сейчас во вспышку острой, непреодолимой ненависти. Рыхлая желтая физиономия фабриканта представилась ему таким ярким выражением идеи наживы, сквозившей в каждой складочке жирного лица, в каждом волосе его бороды, в каждом движении его желтых пальцев и жадно прищуренных глазах, что изображение это показалось Цихауэру достаточным для олицетворения всей алчности всех спекулянтов Германии, торопливо

присасывающихся к телу несчастного народа, гонимого на Голгофу нацистами. Будь она проклята, эта желтая жаба с бородой ассирийского царя! Цихауэр даст такое полотно, что, взглянув на него, Винер сам побежит за веревкой.

— Главному персонажу картины — торгашу, пришедшему приторговать вещи казненного, я дам ваше лицо. Да, да! — крикнул Цихауэр и, видя, что Винер в испуге попятился к двери, шагнул к нему, вытянув руки. — Если вы окажете мне честь своим посещением недели через две-три, я покажу вам первые наброски. А эскиз вашей головы я уже сделал.

Цихауэр подбежал к мольберту и сорвал простыню. Несколько мгновений Винер стоял в оцепенении, потом поднял руку, и его трость с треском вонзилась в натянутый на подрамнике холст.

Винер выбежал из мансарды, пронесся по коридору и не помня себя бросился в автомобиль.

Кто-то осторожно постучал в дверь чердака. Это был сын хозяйки. Цихауэра звали в табачную лавку, к телефону.

Художник набросил пальто на пижаму и сошел вниз.

Хозяйка давно не видела своего жильца таким оживленным. А еще уверяет, будто у него лихорадка! Может быть, заказчик дал ему аванс?

— Алло, Аста? — кричал в трубку Цихауэр. — Да, да! Твой родитель был... Гром и молнии? Зато ты не можешь себе представить, что за натура! Да, да, совершенно бесплатно... Отлично, я буду готов через четверть часа... Как всегда, на углу около часовщика...

Он уплатил десять пфеннигов за вызов и даже дал еще пять пфеннигов мальчику, бегавшему за ним. Вла-

делица табачной лавки с удивлением глядела на необычно возбужденного художника.

— Пачку «Реемстма», мадам, — сказал Цихауэр, роясь в кармане в поисках денег.

— Берите, берите уж, — хозяйка протянула ему сигареты. — Я запишу.

Она поняла, что пятнадцать пфеннигов были у него последними.

— Приятного вечера, мадам!

В дверях лавочки он столкнулся с новым посетителем.

Когда дверь за Цихауэром захлопнулась, вошедший вынул блокнот и молча взглянул на хозяйку. Без вопросов понимая, о чем идет речь, она отрапортовала:

— Дама. Фамилии не назвала. Голос тот же, что всегда.

— Но называет же он ее как-нибудь?

— Да, кажется, Аста.

— Не кажется, мама, а наверное, — вмешался мальчик, — он всегда говорит: «Аста».

Посетитель взял мальчика за мочку уха и поощрительно сказал:

— Из тебя выйдет толк, малыш!

— Я хорошо знаю, кто вы, потому готов вам служить!.. Хайль Гитлер!..

Покупатель поощрительно щелкнул его по затылку.

## 3

Эгон провел ладонью по блестящим лацканам смокинга, как бы снимая невидимые пылинки. Отец не выносил неряшливости в костюме. А сегодня, в день его рождения, по заведенному обычаю все должно было быть особенно торжественно. Так же, как тогда, ког-

да Эгон был мальчиком, юношей, молодым человеком, когда вокруг праздничного пирога стояли не шестьдесят пять свечей, а сорок, пятьдесят...

В дверях гостиной Эгон остановился. Он увидел мать, склонившуюся над Эрнстом, развалившимся в кресле с газетой в руках. Фрау Эмма ласково гладила сына по голове. Заслышав шаги, она выпрямилась, улыбнулась Эгону и поцеловала Эрнста.

— Когда я касаюсь губами его лба, — сказала она, — мне слышится аромат невинной юности.

Эгон не выносил, когда мать начинала говорить цитатами из плохих «семейных» романов. Резче, чем следовало, он ответил:

— Вы, мама, переоцениваете невинность этого «мальчика».

— Ах, перестань, пожалуйста, ты всегда стремишься испортить мне настроение!

Сердито шурша платьем, она выплыла из комнаты.

Эгон через плечо Эрнста поглядел в газету. Среди мелких заметок одна остановила его внимание — то было сообщение о смерти Марии Кюри.

— Для нее нашлось всего три строки, а тут же рядом о смерти какого-нибудь бандита напишут целую статью.

— О ком ты говоришь? — спросил Эрнст.

— Мария Кюри!

— Какая-нибудь французская девчонка?

Эгон в изумлении посмотрел на брата:

— Ты не знаешь?

— Я предпочитаю немецкий театр.

— Ты действительно «невинен» до полного идиотизма.

— Но, но!

Эрнст вынул сигареты и закурил. Эгон заметил, что сигареты дорогие, египетские.

— Откуда у тебя деньги? Даже я не могу позволить себе таких.

— Каждый имеет то, что заслужил!

В комнату вошел Отто, он был весел, уверен в себе. Вместе с ним в комнату проник терпкий аромат французских духов. Отто кивнул братьям.

— Боюсь, что я привез нашему старику плохой подарок от Гаусса, — сказал Отто. — Мой генерал прислал поздравление, но наотрез отказался приехать на чашку чаю. Ссылается на дела.

Эгон нахмурился и сказал:

— Мне искренне жаль отца.

Эрнст пустил к потолку струю дыма и, вытянув ноги, откинулся на спинку кресла.

— Старик должен был вовремя подумать о том, чтобы не остаться за бортом.

— Ему поздно переделывать себя, — с укоризной сказал Эгон.

— Эрнст прав, — заметил Отто. — Никогда не поздно повернуть, если знаешь, куда нужно сделать поворот.

— Правильно, Отто! А ты, доктор, просто глуп, — сказал Эрнст. — Если бы мы все жили старыми взглядами, жизнь топталась бы на месте.

— Мне противно с тобою говорить, — брезгливо проговорил Эгон.

— Ну, ну, милые братцы, перестаньте ссориться, — пробормотал Отто. — Лучше я расскажу вам новый анекдот...

— Это просто удивительно, — сказал Эгон: — Отто весел, а ведь чуть ли не вчера он был свидетелем того, как убивали Рема, которому он служил.

— Эгон понимает все удивительно примитивно. Я действительно намерен был служить рядом с Ре-

мом, но это вовсе не значит, что я собирался служить Рему.

— Не понимаю...

— Ты действительно ничего не понимаешь! — с досадой отмахнулся Отто.

— А после этой резни стал еще меньше понимать в политике наци, — согласился Эгон.

— Осторожнее, доктор! — проговорил Эрнст.

— Можно повеситься от одной мысли быть всегда и во всем осторожным, даже с глазу на глаз с родными братьями! — Эгон прищурился на дымок своей сигареты. — А то, чего доброго, тоже станешь жертвой очередной ночи длинных ножей... Впрочем, не думаю, чтобы такие эксперименты можно было часто повторять. История не может этого позволить.

— Ты ошибаешься, доктор! — Эрнст был вдвое моложе Эгона, но говорил так, как если бы перед ним был желторотый юнец. — История Германии — это мы! И она не простит ничего тем, кому не простим мы. Варфоломеевская ночь? Нельзя все понимать так буквально. Ночь может быть такою долгой, как нам нужно. Мы можем растянуть ее на месяц, на год, на век.

— Вековая ночь над Германией?

— Над Германией? Над Европой, над миром!

— На все время существования режима наци?

— На то время, пока мы не покорим земной шар. Чтобы покончить с Ремом, оказалось достаточно одной ночи. Чтобы расправиться с евреями, нам может понадобиться год.

— Год святого Варфоломея!

— Да. А там французы. Дальше — очередь славян, негров, — бойко тараторил Эрнст. — Может быть, это будет Варфоломеевский век.

В дверях появилась Анни, высокая красивая девушка в наколке горничной, и доложила о приходе семейства Винер.

— Доложите фрау Шверер, — сказал Эгон и пошел встречать гостей.

Дверь в столовую распахнулась. Стал виден длинный, нарядно убранный стол. Посредине стоял огромный пирог, окруженный свечами. Шестьдесят пять из них горели. Шестьдесят шестая оставалась незажженной. Фрау Шверер торжественно пронесла свое грузное тело через гостиную. По пути она не преминула ласково дотронуться до щеки Эрнста.

— Пойдемте же, дети, — сказала она, направляясь в переднюю.

Послышались голоса гостей.

Отто взял Эрнста под руку и пошел им навстречу.

Анни докладывала о прибытии новых гостей. Гостиная наполнялась. В центре мужского кружка оказался Эрнст. Закинув ногу на ногу, он говорил о вещах, о которых писали во всех газетах, но которые здесь, в генеральской гостиной, звучали совершенно по-новому.

— Да, — говорил Эрнст с важным видом, — из немца нужно сделать первобытного человека! Иначе мы ничего не добьемся. Человек утратил врожденные инстинкты бойца. Мы сумели воспитать овчарку и доберман и ничего не делаем для улучшения породы наших людей.

— Стыдно слушать, — пробормотал какой-то старик, но так тихо, что его никто не слышал.

— На днях, — сказал Винер, — мне пришлось столкнуться с интересным случаем духовного сопротивления «новому порядку». Оказывается, даже искусство может стать полем борьбы с тем, что несет нам наш истинно немецкий национал-социализм.

Эрнст с любопытством прислушался.

Сгущая краски и выдумывая подробности, о которых ему художник не говорил, Винер изложил замысел Цихауэра. Гости заспорили. Эрнст подошел к Винеру и спросил:

— Кто этот негодяй?

— Его зовут Цихауэр. Он учится в той же школе, что и Аста.

— Папа! — Аста вскочила с места. Несколько мгновений она, задыхаясь от негодования, стояла перед Винером, потом выбежала из комнаты.

Фрау Шверер пригласила гостей к чайному столу.

Гости усаживались, когда Анни подошла к Отто и шепотом сказала:

— Вас просят к телефону.

Отто извинился перед соседкой, крупной, смело декольтированной блондинкой, и вышел.

Он шел по коридору свободной, немного пританцовывающей походкой. У него было отличное настроение. Если ему удастся перехватить у Эрнста, у которого, кажется, снова завелись деньги, можно будет кутнуть в каком-нибудь укромном местечке, увезя туда соседку по чайному столу. Говорят, у нее достаточно мягкое сердце... А сейчас он устроит так, чтобы ее мужа, полковника, немедленно вызвали в штаб округа. Вот только переговорит с Сюзанн, — по-видимому, это она вызывает его к телефону. От нее-то он легко отделается, сославшись на семейный праздник.

Отто небрежно подхватил из рук Анни телефонную трубку.

— У аппарата!..

Блеск монокля в его глазу погас. Стеклышко выскользнуло из-под изумленно поднявшейся брови.

В страхе, словно это был кусок раскаленного металла, Отто выпустил трубку, и она закачалась на шнуре. В ней все еще отчетливо звучал негромкий, спокойной голос:

— Здравствуйте, Шверер, это я, Кронс...

## 4

Как ни скрывал Тельман от тюремной стражи свое общение с мышкой, надзиратели ее заметили. В тот же день щель, в которую она приходила в камеру, зацементировали. Для администрации было достаточно того, что мышь прибегает с «той» стороны, из мира, находящегося за стенами тюрьмы, оттуда, где люди свободно ходят, разговаривают, где светит солнце и даже воздух разгуливает не втиснутый в стены камеры.

Помощник директора тюрьмы, ведавший внутренним распорядком, в речи, обращенной к надзирателям, назвал мышь «дыханием жизни, запретной для наказуемых». Развивая эту мысль, он пришел к выводу, что мухи являются таким же дыханием жизни, вестником того, что по ту сторону закрытых козырьками тюремных окон существует мир.

Об этом мире заключенным надлежало знать только то, что считала нужным сообщать администрация тюрьмы — то есть распоряжения тюремного ведомства и суда, непосредственно касающиеся самих заключенных.

Может показаться абсурдом, но помощник директора действительно был близок к истине. В тягостной тишине одиночного заключения даже появление в камере мухи было иногда развлечением. Муха летала. Это было иллюзией пребывания в камере свободного существа. Муха ползала по стене или по столу, где можно было даже оставить несколько незаметных над-

зирателям крошек хлеба, чтобы привлечь ее внимание. За этим можно было наблюдать: скоро ли запах хлеба привлечет муху? Сколько времени нужно мухе, чтобы доползти от края стола до крошки?.. Сколько сантиметров в секунду пробегает муха, — следовательно, сколько она пробежит в час и сколько времени ей нужно, чтобы доползти от камеры до тюремных ворот?..

Наконец, если прислониться спиною к стене и стоять неподвижно, то муха непременно сядет на лицо, и чем больше будешь ее гнать, тем назойливее она станет лезть к тебе. Это может превратиться в своеобразную игру, во время которой можно даже рассмеяться. Правда, про себя, так, чтобы не было слышно в коридоре, но все-таки рассмеяться...

Дверь камеры со звоном отворилась, и сопровождаемый надзирателем кальфактор внес стремянку. Он молча взобрался к самому потолку и укрепил там липкий лист мухомора. На полчаса это развлекло Тельмана: лист был испещрен рекламными сообщениями изготовившей его фирмы. Часть текста была напечатана крупно, часть мельче, что-то — еще мельче. Было забавно, прикрыв один глаз рукою, разбирать эти надписи. Словно в кабинете окулиста: «Теперь, прошу вас, закройте ладонью левый глаз... Что вы видите на третьей строчке снизу?.. Прочтите, пожалуйста... Ах, вы не можете разобрать?.. А что вы разбираете?.. Правый глаз у вас лучше левого». — «Благодарю вас, господин доктор, я это давно знаю. В том-то и заключается дело: оба глаза должны видеть одинаково...» — «Ах вот как?!. Сейчас мы их уравняем... А простите за вопрос: какова ваша специальность, какую работу вы выполняете?» — «Моя специальность?»

Да, действительно, какова же теперь его специальность?.. Сидение в тюрьмах?.. Пожалуй, это на са-

мом деле будет его единственной специальностью. На сколько времени? Вероятно, до тех пор, пока он будет жить назло Гитлеру и наперекор всем стараниям нацистов загнать его в могилу. Он гораздо охотнее, конечно, ответил бы, что его старой и прекрасной специальностью является борьба за свободу немцев, за изгнание из Германии полчищ паразитов, облепивших трудовой немецкий народ, за свержение фашизма и очищение от его миазмов всей немецкой земли. Да, он охотней ответил бы так. Но имеет ли он право на такой ответ?.. Что он может сделать, что он еще сделает в этой камере или в тех камерах, куда его загонят тюремщики, чтобы оправдать подобный ответ?.. Мало, очень мало может он сделать... Почти ничего...

Его работа?..

Тельман опускает прижатую было к глазам руку и в недоумении смотрит на плиты пола...

Какую работу он тут выполняет? Чистит каждое утро и каждый вечер эти плиты?.. Сколько же времени он не выполняет уже никакой полезной работы?

А впрочем... Впрочем, можно ли сказать, что он ничего не делает? Смог ли бы он протянуть здесь столько, сколько уже протянул, не утратив власти над собой, если бы ничего не делал?.. Разве не самое важное в жизни — работа для своего народа и для своей партии? А он может, не кривя душой, сказать, что и здесь он отдавал, отдает и клянется, что будет всегда отдавать все свои силы и помыслы именно им: всему прекрасному народу и своей великой партии!.. В этом-то он может себе дать слово, как готов дать его кому угодно другому. Конечно, то, что он может сделать отсюда, микроскопически мало. И все же... Все же, может быть, хоть крупица его дела и теперь будет внесена в тяжкий, подпольный подвиг партии...

Тельман поймал себя на том, что продолжает стоять, раздвинув ноги и глядя в запыленное, закрытое высоким козырьком окно, где не видно даже крошечного клочка неба. Только по слабому отражению света на внутренней стороне козырька можно с известным приближением догадываться о том, что творится там в вышине: светит ли солнце, или небо заложено тучами, или, может быть, по нему быстро-быстро бегут облака... Бегут... Движутся... Ах, как бы хотелось ему бежать, двигаться... Хоть немного движения. Его могучее тело с такими крепкими еще недавно мышцами истосковалось по движению. Неподвижность мускулов почти так же невыносима, как неподвижность мысли. Но он может усилием воли, вопреки всему, что делают тюремщики, заставить свою мысль работать, бежать, нестись в любом направлении, с любою скоростью. А что он может сделать для своего бедного тела?.. Три шага вперед... Три шага обратно...

Он стиснул кулаки заложенных за спину рук. Бессильный гнев на короткое мгновение залил сознание. Но Тельман привык бороться с этим бесполезным чувством: что может тут дать бесполезный гнев? Нужно сохранять сознание ясным. Он расцепил сжавшиеся было до боли пальцы.

За спиною снова раздался хорошо знакомый звук отворяемой двери. Но он не обернулся. Зачем? До тошноты знакомое бледное лицо забитого кальфактора с испуганно бегающими воспаленными глазами. За ним хмурая морда надзирателя...

В поле зрения вошла вытянувшаяся из рукава полосатой арестантской куртки худая рука кальфактора. Тазик с серыми полусваренными макаронами, похожими на клубок перепутавшихся червей.

Но вот засунутый в тазик палец кальфактора, — желтый, костлявый, с грязным ногтем, — нечаянно поддевает одну макаронину, и она падает на стол рядом с тазиком.

Тельман не оборачивается. Он остается неподвижным, пока не затворяется дверь и шуршащие шаги надзирателя не замирают у соседней камеры. Тогда Тельман присаживается к столу и нехотя подцепляет ложкой несколько макарон. Но все его внимание сосредоточено на макаронине, оброненной на стол кальфактором. Будто она должна быть вкусней остальных. Тельман смотрит на нее, прищурившись, все время, пока ест. Только тогда, когда в тазике ничего не остается, он берет двумя пальцами последнюю, лежащую на столе макаронину. Она уже холодная и скользкая, как настоящий червяк. Он медленно подносит ее ко рту и откусывает по кусочку, как если бы это была трубочка с кремом. Медленно, осторожно, кусочек за кусочком...

Вот его зубы ощутили внутри макаронины что-то постороннее. Но он не прекращает кусать. Только ловким движением языка засовывает это постороннее за щеку. Только ночью, улегшись на отпертую надзирателем койку лицом к стене, он сможет достать из-за щеки крошечный кусочек тонкой пергаментной бумаги, на котором увидит выведенные несмываемой тушью микроскопические буковки: «Пытаемся спасти Иона из Колумбии. Всегда с тобой. Роза».

Кусочек бумаги так мал, что Тельману ничего не стоит его проглотить.

«Ион»... Речь идет о товарище Ионе Шере. Спасти Шера? Значит, его жизнь в опасности. Ну, конечно, раз речь идет о Колумбия-хауз — этом нацистском застенке, куда заточают тех, чьи дни сочтены.

Нервная дрожь против воли пробегает между лопатками Тельмана: Колумбия-хауз!.. Несколько месяцев тому назад Тельману дали знать, что Шер, на плечи которого пала основная тяжесть работы в подпольном ЦК после ареста Тельмана, тоже схвачен гестапо. И вот жизнь Иона тоже в опасности. Тельман отлично понимает, что это значит. Все вполне закономерно. Гитлеровцы боятся Шера. Они боятся его, даже заключенного в тюрьму... Ласковая усмешка трогает губы Тельмана: «Ведь Ион — коммунист; Ион — гамбуржец!» Эти сволочи знают, что значит иметь противником гамбургского коммуниста!.. Это же гвардия германского пролетариата!..

Ион Шер!.. Тельман отлично помнит, с какой непримиримостью он боролся с трусливыми оппортунистами-брандлеровцами, как высоко нес знамя борьбы в дни гамбургского восстания, как громил троцкистов на эссенском партейтаге. А кто, как не Ион Шер, дрался в двадцать девятом с примиренцами, пытавшимися добиться исключения из ЦК самого Тельмана? Да, пожалуй, Шер — один из самых крепких в числе тех, кто в подполье повел партию на борьбу с гитлеровцами. И вот... Жизнь Шера тоже в опасности...

Тельман напрягает память: разве ему не сообщали в свое время, что там же в Колумбии томятся Эрих Штейнфурт, Эуген Шенхаар и Рудольф Шварц — активные функционеры партии?.. Значит, теперь еще и Шер... Неспроста нацисты свозят в это проклятое место лучших сынов партии. Там что-то задумывается... Их жизнь действительно в опасности...

Тельман не спит всю ночь. Только под утро, утомленный бессонницей, он смыкает веки и перед глазами появляются крошечные буковки: «Всегда с тобой. Роза»...

Роза... Милая Роза... Роза...

Имя жены застывает у него на устах. Он наконец засыпает коротким, тревожным тюремным сном под ласковым взглядом больших карих глаз. Это глаза Розы.

## 5

*«Господин Бойс.*

*Неожиданно выяснилось, что в день, на который мы с вами договорились насчет натирки полов, меня не будет дома. Прошу вас прийти двумя днями раньше в те же часы. Необходимо приготовить мастику «Экстра», а то пол очень затоптан из-за плохой погоды последних дней.*

*Ал. Трейчке».*

Бойс повертел открытку в руке и даже попытался посмотреть на свет. Но это была самая обыкновенная открытка из серого тонкого картона, какие он нередко получал от своих клиентов. На ней не было никаких особенных отметин. Невозможно было угадать, прошла ли она через руки цензоров.

Впрочем, через минуту Бойс решил, что подобные размышления излишни. Какое же письмо в Германии не проходит теперь нацистской цензуры? Глупый вопрос! Вот если бы можно было узнать, догадались ли в цензуре о том, что здесь сказано?! Но и этого нельзя было угадать. Оставалось только надеяться, что постороннему отгадать смысл сообщения было трудно потому, что оно не было зашифровано в обычном смысле. Ни один шифровальщик в мире ни одним существующим или вновь придуманным ключом не мог бы раскрыть, что читать открытку следовало так:

«Произошли неожиданные и важные события, требующие связи не в обычный вторник, а в воскресенье. Необходимо подготовить цепочку из самых надежных людей, а то в последнее время усилилась работа полиции; необходима осторожность».

Воскресенье было завтра — открытка пришла вовремя. Действительно ли была в последние дни такая дурная погода? Если нет, то эти слова непременно бросились в глаза цензору, и адресат, — то есть он, полотер Ян Бойс, — уже взят под наблюдение.

Бойс посмотрел на календарь и наморщил лоб, вспоминая.

Да, в среду и в четверг шел дождь.

Значит, все в порядке?..

Может быть...

А может быть, и нет...

Бойс подошел к окошку и внимательно осмотрел улицу перед домом. Был виден только противоположный тротуар. Но ведь шпики обычно и топчутся на противоположной стороне улицы, чтобы иметь возможность наблюдать за окнами. Это общеизвестно... А могут ли они знать его окно?.. Разумеется, если письмо уже обработано полицией, то они знают этаж, окно, все. Даже в кармане каждого из них лежит его фотографическая карточка...

Бойс усмехнулся: карточка! Во-первых, он на этой карточке еще наверняка с усами. Во-вторых, эти-то карточки и помогают распознать слежку: не полагаясь на память, агенты, впервые выслеживающие свой объект, имеют обыкновение сличать каждого выходящего из подъезда с фотографией. Они воображают, будто проделывают это незаметно. Но их осторожность — это осторожность тюленей. Они легко выдают себя опытному и внимательному глазу... Так, так!.. Да-

вайте же понаблюдаем за улицей, время у нас еще есть!..

Бойс прислонился плечом к косяку окна и принялся изучать каждого, кто, казалось ему, шел медленнее, чем следовало идти занятому человеку. Прохожих было не так много, чтобы агент полиции мог остаться незамеченным в толпе.

Теперь следовало проверить, нет ли наблюдения из-под ворот соседнего дома.

Бойс взял сумку и отправился в булочную на той стороне улицы. Пока шел разговор с булочницей о том о сем, Бойс в окно лавки осмотрел ворота соседних со своим домов. Ничего подозрительного не было видно.

Только после этого он решился отправиться в путь. Все связные были людьми занятыми. Их следовало предупредить, что завтра нужно быть на местах.

Окольным, самым путаным путем, какой только мог выдумать, Бойс пошел в пивнушку, которую функционер-подпольщик содержал по заданию партии как место, удобное для конспиративных свиданий, и как передаточный пункт подпольной связи. После того, дважды пересев с автобуса на метро и обратно, Бойс побывал у Клары-наборщицы, у столяра и у отдыхавшего после ночной смены водителя автобуса. Все это были люди, на которых можно было положиться в самом сложном и опасном деле. Оставалось предупредить шофера Франца Лемке — единственного во всей цепи, кто располагал быстрым средством передвижения. Но трудность заключалась в том, что сегодня вовсе не был день натирки полов у фабриканта Винера, где служил Лемке. Появляться там неожиданно без основательного предлога не следовало. Бойс решил позвонить Францу по телефону и условиться о свидании вечером в сосисочной, где можно поговорить,

не привлекая ничьего внимания и даже не показывая, что они знакомы.

На каждой остановке автобуса, пересаживаясь с одного транспорта на другой, входя в дверь и выходя из нее, Бойс тщательно проверял чистоту своих следов. Снова и снова он убеждался в том, что все благополучно... И все же, только возвратившись домой и еще раз тщательно убедившись в том, что никого не привел за собой, он окончательно успокоился. Остальную часть дня он неутомимо бегал по субботним клиентам. Это был день, когда он натирал полы у мелких чиновников и торговцев — предосторожность, необходимая для того, чтобы не возбуждать разговоров в союзе полотеров. Там было достаточно завистливых глаз, ревниво следивших за клиентурой друг друга. Далеко не все могли похвастаться такими заказчиками, какие были у Бойса. Ему завидовали. Это было неудобством, заставлявшим его всегда быть начеку. Он в шутку говорил самому себе, что его профессия ничуть не легче работы плясуна на проволоке. Разница только та, что для Бойса сорваться — значило упасть не на песок арены, а прямо в объятия гестапо и, вероятнее всего, стать одним из тех, на ком гитлеровский палач пробует остроту своего топора.

Но такие мысли приходили ему только в минуты усталости и раздумий о сложности обстановки, в какой приходилось жить и работать коммунистам в Германии.

Когда на следующий день Бойс увидел лицо отворившего ему дверь Трейчке, полотер сразу понял, что случилось нечто необычайное: голубые глаза адвоката были совсем серыми, серой стала кожа на его щеках, и углы рта были устало опущены. Таким усталым и расстроенным Бойс еще никогда не видел этого человека.

Не задавая вопросов, Бойс вынул из зеленой суконки щетку и принялся натирать пол мастикой.

Трейчке, зябко пряча руки в рукава домашней куртки, уселся на обычном месте — в кресле напротив камина. Но сегодня камин не топился. В нем нечего было сжигать, так как Бойс не принес ни одной папиросной коробки для коллекции адвоката.

К удивлению Бойса, слова о затоптанных полах оказались сущей правдой: словно за эти дни в квартире перебывало много людей из тех, кто не ездит в автомобилях, а шагает по зимней слякоти пешком.

Шаркая взад и вперед ногою, Бойс изредка поглядывал на Трейчке, ожидая, что тот наконец тем или иным способом передаст ему поручение, ради которого вызвал его сюда и мобилизовал подпольную связь. Но Трейчке сидел молча, рассеянно скользя взглядом по комнате, словно не замечая полотера. Прошло много времени, прежде чем он наконец проговорил нарочито громко, так, чтобы каждое слово дошло до отдушины в полу:

— Мне очень жаль, что я не смогу дождаться сегодня конца вашей работы... Придется оставить вторую комнату ненатертой. Но это и не такая уж большая беда: там не натоптано. Мне важно было привести в порядок эту комнату. Я вам очень благодарен. Придется прервать ваше занятие до следующего раза. Больше я не могу оставаться дома. Сейчас я оденусь, и мы вместе выйдем, если вы ничего не имеете против... Я хотел бы угостить вас кружкой пива на вокзале... Можете пока вымыть руки.

Трейчке, по-видимому, был так грустно настроен, что даже не покосился, как обычно, в сторону решетки и не показал ей язык. Хмуро оделся, молча запер за собою дверь и пошел рядом с Бойсом к вокзалу.

На ходу он объяснил суть дела. Стало достоверно известно, что Гейдрих отдал приказ покончить с секретарем и членом Политбюро подпольного ЦК КПГ товарищем Ионом Шером. До низовых инстанций гестапо этот приказ уже дошел в обычной для таких случаев редакции: «убит при попытке к бегству». Нужно было немедленно довести об этом до сведения подпольного ЦК. Быть может, удастся еще спасти Шера, переведенного в Колумбия-хауз и подвергаемого там мучительным пыткам. Может быть, ЦК найдет путь для вмешательства международной общественности, прессы...

Вовсе не в обычае Трейчке было делиться мыслями и переживаниями со связным Бойсом, но сегодня...

— Неужели нам не удастся его спасти? — проговорил он так негромко, что Бойс не сразу даже понял, что слова обращены к нему.

Впрочем, он и не знал, что можно ответить на такой вопрос. Ведь он знал одно: если бы не только спасение, но даже самое освобождение Шера зависело от усердия и смелости связных, он завтра же был бы за пределами Берлина. Но в том-то и дело: связь, даже если в данном случае ее работа будет стоить жизни кому-нибудь из связных подпольщиков, — только половина дела. Может быть, и самая опасная половина, но далеко не самая важная. И уж во всяком случае, самая незаметная. Впрочем, последнее не имеет значения. Если бы можно было таким способом обеспечить свободу Шера, — так, чтобы никто и никогда не узнал о том, кто это сделал, — Бойс без колебаний занял бы его место в камере пыток гестапо. Он ясно отдавал себе отчет в значении для партии такого человека, как секретарь ЦК Шер. Что такое по сравнению с ним простой связной Бойс? Самое маленькое колесико в партийном аппарате! А впрочем, рассуждая та-

ким образом, он, кажется, забывает давнишние уроки старших товарищей. Еще тогда, когда партия только готовилась к уходу в подполье, функционер Франц Лемке говорил ему:

— Ты недооцениваешь значения связи в подпольной работе. Когда нельзя позвонить по телефону, послать письмо, когда ответственные товарищи даже не могут повидаться друг с другом, роль хорошей связи становится огромной. Но мало того, что такая связь должна быть надежна: передать все, что нужно, в срок и без путаницы, подумай еще, какие последствия может иметь болтливость связного, фактически держащего в своих руках жизнь многих работников ЦК и функционеров подполья!

— Это достаточно ясно, — с оттенком обиды ответил тогда Бойс, — каждый партиец, а не только связной должен уметь держать язык за зубами там, где речь идет о делах партии.

Помнится, Лемке тут улыбнулся и тоном, мало соответствовавшим жестокому смыслу его слов, сказал:

— Ты только забыл, что тебя могут вызвать на откровенность, положив на живот доску и колотя по ней гирями или растягивая тебя на «кроватке системы Кальтенбруннера».

— Я не знаю такой «кроватки».

— Это очень простое устройство, изобретенное, как можно судить по названию, неким Кальтенбруннером: спинки этого ложа раздвигаются при помощи сильных винтов. Если привязать руки к спинке над головой, а ноги к противоположному концу и начать их растягивать, то у многих уложенных в такую постель появляется желание рассказать все, чем интересуются гестаповцы.

— Ты нарочно пугаешь меня? — спросил Бойс.

— Нет, я только хочу, чтобы ты отчетливо понимал, что значит быть связным партийного подполья. Человек, будь он десять раз предан, должен трезво взвесить, на что он готов, что может и чего не может. Доска с гирями, под которой у пытаемого из носа и горла хлещет кровь, или кровать Кальтенбруннера — это далеко не самое страшное, что имеется в Колумбия-хауз или подвалах на Принц-Альбрехт[1].

После этого разговора Бойс провел дурную ночь. Невозможно было заснуть, не решив вопроса: а что, если ему, Бойсу, положат на живот эту самую доску и двое здоровенных молодцов начнут молотить по ней гирями?.. Или прижгут ему подошвы... или... или вообще будут по ниточке вытягивать из него жизнь... Скажет он или не скажет?

На другой день он пришел на обычное место в пивную «Старые друзья» и, когда к нему подсел Франц Лемке, сказал:

— Ты говорил, что для успеха работы по связи, на случай, если партии придется уйти в подполье, хорошо бы мне заблаговременно переменить профессию?

— Да... Удобно стать мусорщиком.

— Видишь ли, — смущенно ответил Бойс, — у меня ведь одна рука, — и, будто это требовало доказательств, протянул над столом торчащий из рукава протез.

— Тогда, может быть, полотером...

— Это больше подойдет...

— Значит, ты...

— Да, я все обдумал... Припомнил кое-что из времен войны и пришел к выводу: принято думать о службе в армии, что это совершенно потерянное время, но вме-

[1] Имеется в виду Принц-Альбрехтштрассе.

сте с тем армия, особенно во время войны, — не такая уж плохая школа. Особенно, ежели тобою командует какая-нибудь сволочь. Если ты это выдержал, не свихнувшись, — значит ты еще можешь быть человеком.

Бойс стал полотером, и вот теперь, когда партии действительно пришлось уйти в подполье, он уже вовсе не чувствует себя новичком, которого нужно чему-то учить и о чем-то спрашивать...

Его мысли прервал Трейчке. Проходя пустынной улицей, он замедлил шаги и пересказал Бойсу суть поручения: устно передать члену ЦК — одному из немногих находящихся на свободе в Германии — о положении Иона Шера. Если в ближайшие дни какая-нибудь авторитетная международная организация — Комитет по борьбе за освобождение Тельмана или Красный Крест — не вмешается, то Шера можно считать обреченным на мучительную смерть. Гитлер хочет запугать коммунистов и всех, кто им сочувствует. Он хочет на Шере прорепетировать то, что собирается сотворить с Тельманом. Сегодня Шер — завтра Тельман. Такова установка гитлеровской шайки.

Ион Шер!.. Да, это имя хорошо знакомо Бойсу. После ареста Тельмана именно Шеру пришлось провести всю тяжелую работу по переводу партии на нелегальное положение. Сколько тайной корреспонденции переправила цепочка связных от Шера к рядовым функционерам партии и обратно!.. Вот уже три месяца, как Ион Шер арестован... Девяносто дней в руках гестаповцев!.. Это и есть то, о чем когда-то говорил Лемке: человек должен заранее знать все, чтобы понять, что он может и чего не может...

— Вы понимаете, Бойс, — глядя в глаза полотеру, проговорил Трейчке, когда они расставались, — Шер должен быть спасен. От этого зависит не только его

собственная жизнь, но и жизнь товарища Тельмана. Мы должны выиграть Шера, чтобы не проиграть Тельмана.

Бойс молча кивнул головой, допил глоток пива, еще оставшийся в кружке, и пошел на платформу. Трейчке сделал вид, будто задержался с расплатой за пиво. Они сели в разные вагоны, хотя обоим нужно было в Берлин.

Обстоятельства складывались неблагоприятно: Лемке не мог принять сегодня участия в передаче, не рискуя вызвать подозрения, так как его хозяин Винер приказал ему весь вечер быть наготове. В цепи связных образовался прорыв. Сообщение об опасности, угрожающей Шеру, рисковало задержаться на сутки, или Лемке должен был найти какой-нибудь выход из положения. Он пришел к выводу, что должен нарушить правила конспирации: нужно вовлечь в работу нового товарища, выполнявшего до сих пор лишь поручения в строго определенном направлении — на тюрьму Моабит. Лемке решил включить в работу комсомольца Руппа Вирта. У Вирта есть велосипед, и хотя, конечно, медленнее, чем сам Лемке, но юноша сможет доставить сообщение, куда нужно, в ту же ночь. Расчет Лемке строился на том, что ему, как обладающему автомобилем, обычно поручались дальние пригородные участки.

И действительно, когда взволнованная Клара, работавшая на противоположном Бойсу конце цепочки, принесла Францу известие об опасности, угрожающей Иону Шеру, оказалось, что это сообщение следует доставить в Нейкельн на конспиративную квартиру в районе крематория.

Рупп впервые получал столь важное поручение, которое приходилось выполнять одному. С одной сторо-

ны, вся его душа исполнилась гордостью и ликованием от сознания огромности доверия, оказываемого ему партией; с другой — волнение вязало его рот какой-то странной оскоминой, от которой зудел даже язык. Такое состояние продолжалось, пока он выслушивал передачу и наставления Лемке. Но от нервного напряжения, казалось, не осталось и следа, как только он опустился на седло велосипеда и ноги коснулись педалей. С этого момента его настолько поглотила мысль, что нужно достичь цели, нигде не задерживаясь, без приключений, не привлекая внимания полиции, что все остальное отошло на задний план.

Член подпольного ЦК, к которому ехал Рупп, скрывался в домике пастора на улице Людвига Клаппа, неподалеку от кладбища у крематория. Чтобы попасть туда, Руппу предстояло пересечь весь город с северо-запада на юго-восток. Он знал, что он достигнет цели скорее всего, если выедет через центр на Кепеникер и сквозь Трептов парк выберется в район каналов. Однако Лемке запретил ему ехать этим кратчайшим путем и велел пробираться в объезд через Бритц. Совершай Рупп этот путь по загородной дороге, на прогулке, он, вероятно, и не заметил бы, что расстояние так велико. Но тут лавирование по улицам, загроможденным автомобилями, и необходимость то и дело останавливаться да перекрестках утомили его. Добравшись до моста Мольтке, по которому нужно было пересечь канал Тельтов, Рупп почувствовал такую усталость, что, едва переехав мост, должен был остановиться.

Он прислонил велосипед к стене углового дома. Лоб Руппа под шапкой стал мокрым. Однако он не решился снять шапку и вытереть пот. Ему казалось, что стоявший на мосту шупо непременно обратит внимание на его усталость и сразу поймет, что Рупп едет издалека.

Это, казалось Руппу, должно заинтересовать полицейского. Тот подойдет и спросит, откуда он едет, куда, почему он так устал, не болен ли он? А Руппу совсем не хотелось вступать в беседу с полицейским. Он мысленно проклинал себя за слабость, за то, что вздумал отдыхать именно здесь, за то, что не проехал еще несколько кварталов...

Однако, к его радости, шупо, по-видимому, нисколько им не интересовался. Во всяком случае, Рупп снова спокойно уселся на велосипед и покатил по Цоссенскому шоссе, чтобы вскоре свернуть в сторону Шпета.

Он изо всей силы нажимал теперь на педали, чтобы оторваться от велосипедиста, который, как показалось Руппу, подозрительно точно следовал по его собственному маршруту. Вместо того чтобы свернуть на Шпет, Рупп полным ходом промчался до Киршштрассе и повернул на Вильгельмплатц. Тут ему совершенно нечего было делать, но желание отделаться от подозрительного спутника, прежде чем он сам повернет к цели... или, по крайней мере, убедиться в том, что тот действительно следует по его пятам, куда бы Рупп ни повернул, гнало его все дальше по запутанным улицам района. Кончилось тем, что, бросаясь из улицы в улицу, он заблудился и должен был дважды объехать Кольцо Ловизы Ройтер, чтобы сообразить, что делать дальше. Он ехал так быстро, что ноги снова начинали ныть. Соображая, как выбраться на Шпет, он выехал на Рудовер и тут, едва повернув налево, увидел велосипедиста, державшего за руль свою машину и о чем-то расспрашивающего полицейского. Прежде чем Рупп успел затормозить и повернуть обратно в проулки, прочь от Рудовер, велосипедист его заметил. Он быстро вскочил на велосипед и, изо всех сил нажимая на педали, бросился следом за Руппом.

## 6

Колумбия-хауз — невеселое место. Хотя здание вовсе не строилось под тюрьму, а имело первоначально назначение казармы, но, видимо, таково уже было дыхание текущей в нем страшной жизни, что при приближении к его серым стенам только эсесовцы и больные садисты не испытывали болезненного сосания под ложечкой от невольно вползающей в сознание мысли: «что было бы со мной, если бы я очутился за этими стенами?» И, чем лучше шли дела у Гитлера, тем больше становилось в Германии немцев, которые думали: «что, если?..»

Это не значило, будто больше становилось немцев, чувствовавших за собой какую-нибудь вину вообще или хотя бы провинившихся перед новым режимом. Нет, просто-напросто каждый честный немец начинал сомневаться в праве читать, что ему хочется, говорить, что думает, поступать так, как требовали правила человеческого общежития; немцы начали даже сомневаться в возможности оставаться честными не только в отношении друзей и знакомых, а и по отношению к самим себе. Донести на соседа стало обычным делом, а мысль «не донес ли сосед на меня самого?» стала такой же ежевечерней, как прежде молитва. Пропагандистской машине доктора Геббельса оставалось убедить немцев в том, что их святая обязанность перед фюрером — доносить гестапо на самих себя.

При таких условиях жизни в Германии Колумбия-хауз не пустовал. Туда привозили из других тюрем узников, подлежащих допросу «третьей степени», и таких, от которых отказались уже палачи подвалов на Принц-Альбрехтштрассе. Из Колумбия-хауз редко кому доводилось вернуться к месту постоянного жительст-

ва — в тюрьму Старый Моабит, или Новый Моабит, или какое-нибудь другое узилище. Чаще всего оттуда вывозили трупы замученных борцов против фашизма. Вывозили их тайно, по ночам, в закрытых фургонах, чтобы не возбуждать толков среди корреспондентов иностранных газет. На самих немцев уже перестали обращать внимание — их не стеснялись. Стремясь уберечься от постороннего глаза, палачам приходилось принимать специальные меры к тому, чтобы из-за толстых стен Колумбии не доносились стоны и крики пытаемых. Допросы производились в подвалах, не имевших доступа свежего воздуха; в часы наиболее оживленного движения на улицах допросы прерывались; придумывались такие методы принуждения допрашиваемых, когда они могли издавать наименьшее количество стонов и криков. Все это доставляло хлопоты персоналу гестапо и администрации Колумбии. Но были и в этих учреждениях субъекты деликатные, нервы которых не выдерживали вида пыток и крика пытаемых.

К числу таких принадлежал штурмбаннфюрер Вильгельм Кроне. Ему не часто приходилось бывать в Колумбии, но, если он, выполняя какое-нибудь специальное задание своих шефов — Гиммлера или Геринга, — попадал туда, то редко спускался в подвалы. Он проходил в одну из тихих комнат заднего корпуса тюрьмы и оттуда, брезгливо кривя губы при слишком натуралистических подробностях в отчетах следователей, следил за ходом допроса внизу.

Так было и на этот раз, когда Кроне приехал в Колумбию, чтобы «закончить возню» с Ионом Шером. Кроне начал с доклада врача, обследовавшего Шера. Не зная Кроне, врач терялся: невозможно было понять, что означает это молчаливое покачивание головы — одобрение экзекуторам или порицание?

Заключение врача было таково:

— Дальнейшее воздействие на нижние конечности едва ли возможно: от лодыжек до бедер они уже утратили поверхностную чувствительность. То же частично относится к суставам: ступни вывихнуты, — тут врач применил специальную терминологию, ничего не говорившую Кроне; подумав, прибавил: — возможно еще, конечно, механическое воздействие на костяк...

Кроне поднял на врача непонимающий взгляд. Тот поспешно пояснил:

— Я имею в виду переломы. Это практиковалось здесь в некоторых случаях. Но при том состоянии, в каком находится допрашиваемый, мне кажется, и это не может произвести нужного действия, так как он может окончательно выйти из строя.

Кроне, не сводя глаз с лица врача, спросил:

— Значит, по-вашему, он еще не вышел из строя?.. Это хорошо. — И вдруг ошеломил врача вопросом: — А вы никогда не испытывали боли от ломающихся костей? Я имею в виду не случайность, скажем там падение, а если вам одну за другой нарочно ломают кости?..

— Нет... не приходилось... — растерянно ответил врач.

Кроне разочарованно покивал головой, будто ожидал иного ответа, и сквозь зубы процедил:

— Так, так... Того нельзя, другого не стоит... А что же еще стоит сделать, чтобы заставить его говорить?

— У него в прекрасном состоянии спина! — с неподдельной радостью, блестя глазами, воскликнул врач. — По существу говоря, прижимание его спиной к печке имело, так сказать, косметический результат. — Тут он рассмеялся: — Опалены волосы на спине — вот и все.

— Значит?..

— О, это совершенно безопасно для его общего состояния: воздействие на область спины еще возможно. — И поспешил прибавить: — Конечно, без грубого нарушения внутренних органов. Печень и почки у него уже отбиты, так же как легкие. Дальнейшая работа в этом направлении привела бы к преждевременной смерти...

— А как, по-вашему, сколько он еще протянет? — перебил врача Кроне.

— Один или два допроса, — спокойно констатировал врач.

— А при содействии медицины? — насмешливо спросил Кроне.

— Тут многого не сделаешь, — доктор разочарованно пожал плечами. — Можно заставить биться сердце, но нельзя вынудить человека испытывать боль, если ее слишком много.

— Вот! — проговорил Кроне вставая. — В этом-то направлении вам и следовало бы работать. Диссертация на такую тему... Понимаете?..

Он отпустил врача и несколько раз прошелся по комнате, чтобы немного размять затекшие ноги.

## 7

Некоторое время Рупп ехал, заставляя себя смотреть вперед. Он тешил себя мыслью, что если не будет оглядываться хотя бы вон до того поворота, то преследователь исчезнет.

Стиснув зубы от начинавшего овладевать им непосильного напряжения, Рупп доехал до поворота. Но тут уж он должен был оглянуться. От того, следят ли еще за ним, зависело и выполнение поручения партии.

Рупп оглянулся.

Велосипедист ехал за ним.

На этот раз вполне отчетливая мысль, которую уже не стоило скрывать от самого себя, пронзила сознание Руппа: провал! С таким сопровождением нечего было и думать ехать по данному ему адресу.

Значит, сообщение о Шере останется непереданным, значит, товарищ Ион Шер...

Рупп почувствовал, что его спина стала мокрой от пота. Он подумал, что это результат утомления, не поняв того, что это была реакция на нервный шок от страшного открытия: да, это провал!

Рупп растерялся. Он понял, что не может теперь ни вернуться домой, ни поехать к Лемке. Были закрыты все пути.

А велосипедист следовал за ним: не приближался, но и не отставал.

Так они выехали на Шоссейную улицу. У Руппа появилась было мысль бросить велосипед и, вскочив в первый попавшийся автобус, дать тягу. Но он тут же сообразил, что по номеру, болтающемуся под седлом машины, тотчас же найдут хозяина и...

Снова стало жарко спине от мысли, что последует за этим «и»...

Теперь Рупп думал только о том, нельзя ли как-нибудь на ходу незаметно для преследователя оторвать номерной знак? Тогда он сбавит ход, подъедет к любой закусочной рядом со станцией кольцевой железной дороги и, оставив велосипед у двери, больше никогда не попадется на глаза преследователю...

План показался ему отличным, и он стал на ходу ощупывать номер. Жестянка сидела крепко. Напрасно Рупп пытался ее оторвать, согнуть, отвернуть болты. Голые пальцы были плохим инструментом...

Нужно было решать, куда он повернет: направо, к станции Нойкельн, или налево, к станции Германнштрассе.

Он еще раз оглянулся: преследователь был там...

Время близилось уже к рассвету, когда Кроне, спавший в Колумбия-хауз на неудобном клеенчатом диване, был разбужен следователем, допрашивавшим Иона Шера. Кроне с неудовольствием выслушал сообщение о том, что трое коммунистов, которых пытали в присутствии Шера, чтобы заставить его говорить, умерли. Сам Шер был еще жив, но жизнь едва теплилась в его истерзанном теле.

— Значит, безнадежно? — с унынием спросил Кроне. Следователь, ничего не ответив, махнул рукой. «Ну что ж... — подумал Кроне. — Можно кончать». Следователь вопросительно посмотрел на Кроне. Тот недовольно пояснил свою мысль:

— Попытка к бегству, а?..

«Убежать! Убежать во что бы то ни стало!» Эта мысль была так настойчива и огромна, что, казалось, она заполнила весь череп Руппа.

А номер все не поддавался. Тогда Рупп, не обращая больше внимания на преследователя, остановился. Слез с велосипеда и тот, другой. Он даже прислонил свою машину к стене и закурил. Рупп понял, что тот тоже устал и не так-то легко ему будет угнаться за Руппом, если Рупп сумеет собрать все силы.

Юноша достал из сумочки ключ и отвинтил гайку, удерживавшую номер. Подошел к перилам моста и, сделав вид, будто уронил платок, нагнулся и бросил жестянку с номером сквозь перила.

Теперь он мог, по крайней мере, бросить велосипед без страха, что разыщут его самого. Значит, он смог вернуться к Лемке и сказать... Сказать... что?..

У него не хватило решимости даже мысленно произнести страшные слова: «Задание не выполнено».

За этими словами стоял образ товарища Шера...

Руп стиснул зубы и вскочил на седло. Встречный ветер размазывал по лицу обильно текущие слезы. Руппу было стыдно, но он не мог их сдержать. Щеки его были совсем мокрыми, но ему не приходило в голову вытереть их.

Поперек трех трупов, принадлежавших активистам-подпольщикам компартии: Эриху Штейнфурту, Эугену Шенхаару и Рудольфу Шварцу, в кузов фургона бросили еще дышавшего Иона Шера. Он был перевит веревками, словно и едва живой был страшен своим палачам.

Через тридцать пять минут фургон остановился в лесу. Три трупа были выброшены. Следом за ними выбросили и Шера. Три выстрела в затылок мертвецам и один выстрел, последний, в затылок живому Шеру глухо прозвучали в предрассветной мгле пустынного леса.

Клара положила Руппу руку на голову. Это была шершавая рука наборщицы, с ногтями, под которыми чернела несмываемая свинцовая пыль. Руппу она показалась очень горячей, необыкновенно сильной. Такой сильной, что из нее на него самого истекала уверенность: он не виноват в случившемся.

Он перестал плакать. Слезы медленно обсыхали у него на щеках и на подбородке.

— Завтра, — сказала Клара, — ты снесешь донесение к Эйхгорну.

Рупп молча кивнул головой. Он знал, что будет в папиросной коробке, которую он должен положить под бюст Эйхгорна: сообщение Тельману. В сообщении будут, может быть, только три слова, но какие это слова: «Они убили Шера».

Рупп поднял глаза на Клару. Ему хотелось прочесть в ее лице тоже всего три слова: «Ты не виноват». От этих слов для него зависело так много... Очень много.

## 8

К концу июля в Берлине стало нечем дышать.

Когда в кабинете никого не было, Гаусс расстегивал воротник и закладывал под него носовой платок. Его жилистая, как у старого петуха, шея непрерывно покрывалась потом. Это было отвратительное ощущение.

Бутылка минеральной воды, опущенная в лед, оставалась почти нетронутой. Врачи запретили Гауссу употреблять больше шести стаканов жидкости в день. Он проклинал часы, когда приходилось задерживаться в центре. Нацисты совершенно одурели от подозрительности. Они никому не верили. Как будто, кроме них, никто не понимал, что нужно и что можно делать!

Гаусс опасался не проникновения в армию гестаповских молодчиков, — Гиммлер, конечно, уже имеет уши в каждой роте. Как и весь генералитет, Гаусс боялся не этих соглядатаев, а захвата нацистами командных постов. Генералам пока удавалось отстаивать тезис внеполитичности армии. Под этой внеполитичностью они подразумевали свое исключительное право распоряжаться рейхсвером как орудием политики, — своей, генеральской политики. Поскольку все на этом свете относительно, Гаусс считал, что солдат, продающий

свой тесак, — ландскнехт; офицер, продающий шпагу, — субъект, недостойный того, чтобы ему подавали руку; но генерал, продающий солдатский тесак вместе с солдатом и офицерскую шпагу вместе с самим офицером, — политик. Политик может быть хорошим и плохим. Шлейхер, например, при всем его уме и хитрости стоил в политике немногого. Кто только придумал ему эту кличку: «генерал-политик»? Гаусс убежден, что в конце концов политика Шлейхера привела бы генералов к потере армии: либо она стала бы послушным орудием Рема, либо попала бы в объятия коммунистов. Можно ли сохранить свой курс между этими двумя водоворотами, не попав ни в один из них? Гаусс полагал, что можно. До тех пор пока Гитлер существует и является реальною силою, нужно использовать его зоологическую ненависть к коммунистам.

Гаусс машинально потянулся к бутылке, но вовремя удержался. Не наливая воды, он только провел пальцами по запотевшему холодному стеклу.

Он встал и прошелся, обмахиваясь папкой. Он никак не мог заставить свою мысль работать в направлении предстоящего разговора со Шверером. Этот проклятый Шверер, — из-за жары у Гаусса все и вся были «проклятыми», — капризничает. Но на этот раз ему не отвертеться: подписанный высшим командованием приказ — на столе Гаусса.

— Генерал-лейтенант фон Шверер, — доложил по телефону дежурный адъютант.

Гаусс застегнул воротник, отошел к столу и оперся о него концами пальцев.

Шверер вбежал, быстро и твердо постукивая каблуками.

Приказ был для него неожиданностью. Правда, он сам говорил, что непрочь еще разок побывать в России

и на Дальнем Востоке, но это говорилось больше для того, чтобы окружающие не забыли, что он уже там бывал и знает те страны.

Итак, ему предстояло либо ехать в Китай, либо согласиться с тем, что двери рейхсвера закроются для него навсегда. Значит, нужно было сделать вид, будто предложение совпадает с его желанием.

— Я был прав, полагая, что такого рода поездка вас заинтересует? — спросил Гаусс.

— Я предпочел бы быть не наблюдателем, а советником китайцев.

— Немецкий генерал в роли советника китайцев, мешающих нашим восточным друзьям — японцам? Это неудобно. В данной международной ситуации мы не можем повторить опыт Секта.

У Шверера быстро сложился план действий.

— Немецкий военный агент на правах официального дружественного наблюдателя поедет не в китайскую, а в японскую армию, действующую в Китае. Ему придается небольшой штаб из наиболее способных офицеров действительной службы...

— Но мы предполагали дать практику именно отставным офицерам, желающим повысить свои оперативные знания, — возразил Гаусс.

— Позвольте мне закончить мысль, — с подчеркнутой кротостью проговорил Шверер, — офицеры действительной службы должны быть посланы потому, что им труднее предоставить такого рода практику. Они не могут ехать на службу ни в Аргентину, ни в Колумбию, ни в Сиам, как это делают отставные. А в армию дружественной Японии никто не запретит нам послать официальную миссию. Что же касается слушателей моих вечерних курсов и меня самого, то, — Шверер снял очки и кольнул воздух, как клювом, сво-

им острым носом, — мы можем отправиться в Китай не только в качестве наблюдателей.

— Что вы хотите сказать? — заинтересовался Гаусс.

— Если китайское правительство предложит мне образовать небольшую миссию из штатских господ, знающих, что такое война, я завтра же сформирую такую группу. Разумеется, в совершенно частном порядке.

— Цель, цель? — нетерпеливо спросил Гаусс.

— Группы немецких офицеров смогут провести маневры большого масштаба, причем игра будет вестись не холостыми патронами, а со всеми реальными последствиями ошибок и побед.

— Но вы должны иметь в виду: китаец c'est une mauvaise chenille: quand on l'attaque, alle se defend[1]. — Гаусс рассмеялся и потер влажный от пота висок. — Никак не пойму, в какие отношения мы тут становимся с японцами? Они довольно быстро раскроют ваше присутствие в рядах китайцев.

— От них ничего и не нужно скрывать!

— То есть как же? — удивился Гаусс.

— Мы даже получим согласия японцев на работу в рядах их противника. Вы забыли: китайское правительство воюет не столько с японцами, сколько с армиями коммунистических провинций.

— А, вы хотите убить сразу двух зайцев! — Гаусс встал из-за стола и, обойдя его, протянул Шверeру руку. — Кажется, я плохо знал вас! — торжественно произнес он. — Теперь я скажу вам, не скрывая: пусть японцы бьют Китай, а Чан Кайши бьет коммунистов.

---

[1] Китаец — пресердитое создание: когда на него нападают, он защищается.

— Позволю себе напомнить слова Клаузевица: «Великая цивилизованная нация может быть побеждена только при отсутствии единства внутри нее».

— Вы считаете китайцев цивилизованной нацией?! — с удивлением воскликнул Гаусс.

— Боюсь, что порох выдумали все-таки они, а не наш соотечественник Шварц, — с первою за весь вечер улыбкою проговорил Шверер.

— Поручим Александеру принять участие в этом деле. А там, где появляется полковник, исчезает единство противника. — Гаусс опустился в кресло по ту же сторону стола, где сидел Шверер, и, понизив голос, продолжал: — В отношении разведки нам следует учиться у наци.

— Разве можно сравнить практику нашего Александера с опытом этих новичков?

— По-видимому, тут дело не только в практике. Догмат блицкрига вошел им в плоть и кровь. А блицкриг, по их мнению, выигрывается или проигрывается прежде, чем раздался первый выстрел. Первый блицкриг они выиграли здесь, в Германии. Они завоевали нашу страну. Вот пример того, как они умеют работать. Однажды в разговоре о судьбах Австрии господин Гесс обмолвился: «Всякий, кто вздумает нам сопротивляться, испытает на себе судьбу Дольфуса, австрийского канцлера». — «Но ведь Дольфус жив и здоров», — сказал я. «Если через месяц он не подпишет манифест об аншлоссе, то будет мертв», — заявил Гесс. «Вы дали ему месяц?» — «Да, ровно месяц. Позвоните мне в полночь на двадцать пятое июля». Должен сознаться, что я счел это шуткой, но, чтобы иметь возможность ответить такою же шуткой, я ночью двадцать пятого позвонил Гессу.

— И что же? — Шверер в нетерпении подался всем телом вперед.

— Мне даже не пришлось напоминать, о чем идет речь. Он очень весело сказал: «Вы сомневались? Дольфус отверг аншлюс, значит...»

— И что же? — повторил Шверер.

— Вы же знаете: Дольфус умер в тот день в своем дворце.

— Очень интересно, это чрезвычайно интересно, — проговорил Шверер. — Означает ли это, что мы в скором времени можем войти в Австрию? Если поход предполагается в недалеком будущем, то я предпочел бы отложить поездку в Китай. Только через Австрию и Чехию мы откроем путь южной клешне. Так же как через Польшу и Прибалтику — северной. Этими клешнями я раздавлю большевистский орешек.

— Австрия от вас не уйдет, — сказал Гаусс. — Пока вы выберете себе сигару, я прикажу принести кое-что, что вас заинтересует! — и он отошел к телефонам.

Шверера чрезвычайно занимала перемена, которую он обнаружил сегодня в отношении к себе Гаусса. Прежде этот человек никогда не был с ним не только откровенен, но даже приветлив. Гаусс не скрывал, что не одобряет оперативных воззрений Шверера и не смотрит серьезно на разрабатываемый тем план восточной кампании. Откуда же подул этот новый ветер?..

Гаусс вернулся к Швереру.

— Быть может, чего-нибудь холодного?

— Благодарю, мне не жарко, — ответил Шверер.

Его маленькое жилистое тело было совершенно сухо, несмотря на плотно облегавший его китель.

Отто ввел офицера контрразведки. Тот подал затребованную Гауссом папку, которую абвер не мог доверить даже адъютанту Гаусса.

Когда офицеры вышли, Гаусс быстро перелистал несколько страниц.

— Александер проверяет все, что можно... Сейчас нас особенно интересует все относящееся к европейской политической ситуации, поскольку от нее зависит осуществление наших собственных планов. Мы твердо решили вернуть исходные линии на Рейне и Висле. Однако я отвлекся... Я дам вам просмотреть стенограмму разговора Кестнера, нашего посла в Париже, с одной французской журналисткой — весьма осведомленной и ловкой особой. Беседа происходила вскоре после убийства румынского премьера Дука. Он был убит румынами, но европейское общественное мнение приписывало организацию этого убийства немцам. И мне кажется, не без оснований... — Гаусс улыбнулся. — Французская журналистка Женевьева Табуи посетила нашего посла в Париже с целью выудить у него что-нибудь полезное для себя. Вот фонограмма разговора, о которой не знают сами собеседники. — Гаусс протянул Швереру папку прошитого и запломбированного досье. Шверер прочел:

«Кестнер: — Еще несколько таких убийств, как это, и Германия будет в состоянии достичь своих целей, не прибегая к войне в Европе.

Табуи: — Мне кажется, что убийство не было новшеством и в Веймарской республике.

Кестнер: — Да, но наци ожидают нужных им результатов от убийств, которые они организуют в других странах Европы, а не в нашей собственной. Они утверждают, что Германия обойдется без войны с помощью шести рассчитанных убийств.

Табуи: — Шесть убийств?

Кестнер: — Прежде всего Дольфус. После него идет король Югославии. Берлин верит, что когда его уберут с дороги, перспективы альянса между Югославией и Францией будут сведены на нет. Затем они

хотят разделаться с Румынией, и особенно с Титулеску.

Табуи: — Думаете ли вы, что они имеют какое-либо отношение к недавнему убийству Дука?

Кестнер: — Твердо я этого не знаю... Затем они хотят ликвидировать Бенеша. Они надеются, что как только это будет сделано, германские меньшинства в Чехословакии сами побегут в объятия Германии.

Табуи: — Так... Но это только четыре убийства.

Кестнер: Имеется еще король Альберт — традиционный враг в глазах большинства немцев. На Вильгельмштрассе думают, что, пока Альберт жив, Бельгия не войдет в германскую систему.

Табуи: — Должны же быть и такие французские деятели, которых Вильгельмштрассе хотела бы видеть убранными с дороги.

Кестнер (смеется): — Да, есть несколько. Среди них Эррио. Они хотели бы, чтобы с ним что-нибудь случилось. Этого человека они боятся, несмотря на то что он дал им равенство в правах».

— И это говорит наш дипломат! — воскликнул Шверер.

Гаусс разочарованно посмотрел на него.

— Вы не увидели тут самого важного: Европа знает все. И молчит. Она предоставляет нам свободу действий. Вот что в этом наиболее замечательно!

— Я еще недостаточно в курсе такого рода дел. — Шверер снова надел очки. — Я видел тут имя короля Александра...

— Да, по нашим данным, он готов соскользнуть на опасный путь сближения с Францией. На этом пути у него имеются чересчур услужливые гиды.

— Это очень, очень интересно, — задумчиво проговорил Шверер: — Балканы!

## 9

Тот, кто переехал бы Эльбу с запада на восток, чтобы попасть в марку Бранденбург, или въехал бы в Мекленбург с северо-запада через границу Шлезвиг-Гольштейна, едва ли заметил бы в первый момент, что попал в совершенно другую страну — Остэльбию.

Впрочем, такой страны и нет ни на картах, ни в учебниках географии, но ее хорошо знают немцы, соприкасающиеся с кругами офицерства. Они знают, что под Остэльбией подразумевается обширное пространство, в которое входят Мекленбург, Померания, Восточная Пруссия и Силезия и из которого происходит девяносто девять процентов немецкого офицерства. Даже если офицер родился в Ганновере или Дрездене, все равно он смотрит на это, как на несчастную случайность, и считает себя уроженцем прусско-юнкерской страны Остэльбии.

Переезжая границу Остэльбии, путник не заметит перемен в природе. Те же едва заметные холмы, покрытые такими же лесами, как в восточном Бранденбурге; те же равнины, что в южном Шлезвиге; те же озера и болота. Все такое же — и в то же время совсем иное. Поля волнуются огромными массивами посевов, в лесах разгуливают олени и лоси, слышен звук рога помещичьей охоты. На зеркальной глади озер плавают лебеди, и сами эти озера — украшение вековых парков, окружающих усадьбы прусских и померанских юнкеров. Три пятых земли Остэльбии — четырнадцать миллионов акров — поделены на куски от десяти до полутораста тысяч акров и являются собственностью Бисмарков, Арнимов. Веделей, Бюловых и еще трех-четырех десятков семейств, из века в век поставляющих Германии генералов и министров.

По своей природе восточнопрусское юнкерство резко отличается и всегда отличалось от рейнско-швабско-франконского дворянства, базой которого являлось рентное землевладение. А что касается мекленбургских герцогств, то вплоть до 1918 года они представляли собою, по существу говоря, нечто вроде высокоаристократических республик. Нигде больше в Германии нет поместий таких размеров, как в Остэльбии. Нигде больше в Германии нет землевладельцев, которым принадлежало бы такое количество поместий, как в Остэльбии. К концу прошлого века количество поместий наиболее старых и прочных прусских фамилий исчислялось десятками. Клейсты имели 53 имения, Ведели — 44, Винтерфельды — 20 и так далее.

Из этого, однако, не следует, что Остэльбия — страна исключительно крупнопоместного дворянства. Наряду с Клейстами и Веделями там сидели на земле такие юнкерские семьи, как фон дер Гольцы, Мольтке, Секты, которые высоко держали голову на людях, но, входя в собственный «шлосс», наклоняли ее довольно низко, чтобы не стукнуться о притолоку.

Это может показаться удивительным, но именно из этих-то мелкопоместных, обнищавших восточнопрусских семей вышли наиболее известные военные последнего столетия. Клаузевиц, Мольтке, Вальдерзее, фон дер Гольц, Сект были выходцами из-под соломенных крыш обветшавших «шлоссов». Объяснение этому можно найти в том, что именно им не оставалось иного жизненного пути, как воспитание в кадетском корпусе, куда не надо было платить; в военной школе, где их одевали и кормили впроголодь, чтобы приучить к воздержанию и сохранить приличную прусскому офицеру сухую фигуру; в военной академии, где не только одевали и кормили, но еще

и платили жалованье за уменье выказать преданность монарху и военному ремеслу.

К началу XIX века прусская аристократия составляла значительно больше половины офицерского корпуса армии и продолжала настойчиво отгораживаться от представителей буржуазных слоев. В Баварии это плохо удавалось — там разночинцы продолжали не только удерживаться в рядах армии, но и давали наиболее мыслящий слой офицерства. А в самой Пруссии понятия реакционер и офицер стали синонимами. Вступая на военную службу, прусский юнкер даже не присягал ни своему народу, ни государству — он приносил присягу королю. Он и считал, что служит только королю и обязан выполнять только его приказы.

Выучка и традиции грабить слабейшего, — хотя бы соседа, — порождали приверженность к военному делу как к единственному достойному прусского дворянина. Отсутствие надежных источников дохода при огромных аппетитах и при еще более огромной спеси рождало в представителях этой группы военно-прусской касты повышенную агрессивность. В среде немецко-прусских милитаристов зарождалась и развивалась борьба между представителями придворной военной клики, пополняемой за счет наиболее знатных владетельных родов юнкерства, и выходцами из мелкопоместного дворянства, добивающегося возможности командовать армией. Обе группы представляли в основном остэльбское юнкерство, но каждая из них оспаривала у другой верховенство в армии даже тогда, когда уже не земельная знать, а финансовые короли и магнаты промышленности стали хозяевами страны и поставили себе на службу всю военщину в целом.

В этих десятках помещичьих «замков», как в неких инкубаторах, высиживались и оттуда выпускались

в свет молодые пруссаки, выпестованные по образцу, еще три века назад разработанному «великим курфюрстом» Фридрихом-Вильгельмом Бранденбургским и доведенному до высшей степени палочно-прусского совершенства «великим» же «капралом» Фридрихом II.

Остэльбия имела в своем формуляре таких поставщиков офицерства для прусской и позже для германской армии, как Шулленбурги, давшие на протяжении двух веков 3 генерал-фельдмаршалов, 1 генерал-фельдцейхмейстера и 25 генералов. Прочим отпрыскам фамилии Шулленбург в чинах от лейтенанта до полковника несть числа. Клейсты дали 15 генералов, фон дер Гольцы — 11, Манштейны и Арнимы — по 7, Вицлебены — 5. Командные высоты в армии были буквально заполнены этими семьями. Бывали периоды, когда в армии одновременно числилось, скажем, 34 Веделя или 43 Клейста.

Никто в Пруссии не возражал вслух, когда Мирабо сказал, что «Пруссия — не государство, обладающее армией, а армия, завоевавшая государство»; и военный историк Георг фон Беренгорст имел полное право заявить, что прусская монархия — вовсе не страна, обладающая армией, а армия, обладающая страной, в которой она как бы только расквартирована. Но главное было все же не в этом, а в том, что Остэльбия была страной жестокой эксплуатации крестьян и крупными и мелкими юнкерами.

Монархию Гогенцоллернов нельзя себе представить без прусских офицеров и без прусских помещиков. Это были ее основные киты. Прусская армия росла, как злокачественная опухоль, на теле плохо развивающегося прусского государства. «Великий курфюрст» оставил после своей смерти армию в 30 тысяч человек, Фридрих-Вильгельм I передал наследнику армию в

80 тысяч, Фридрих Великий, умирая, оставил в качестве лучшей памяти о себе 200 тысяч солдат. Это было дурным подарком, так как армия тех времен никак не могла считаться частью народа. Фридрих Второй всегда считал, что его солдат должен бояться собственного офицера больше, чем врага. А что касается самих офицеров, то о них он говаривал: «Моим офицерам незачем думать. За них думаю я. Если они начнут думать сами, то ни один из них не останется в армии».

На пространстве между Рейном и Одером правители Пруссо-Германии вколачивали в головы немцев, что Германия — пуп Земли; Остэльбия — пуп Германии; юнкерское поместье — пуп Остэльбии.

Не всякий восточно-прусский «шлосс» крыт соломой. Есть в Остэльбии и огромные поместья с богатыми усадьбами. А где-то между соломенной крышей Сектов и золотым шпилем на замке Арнимов находятся десятки поместий средней руки. «Замок» в таком поместье — унылое двухэтажное строение с фасадом в пятнадцать-двадцать окон. Длинные коридоры, огромные комнаты, не прогревающиеся зимою. Люстры под потолками зажигаются редко. Их хрустальные подвески не звенят и не играют гранями, так как никогда не дрожат стены замка: по утрамбованному гравию двора не ездят ни подводы, ни грузовые автомобили.

Сквозь окна, завешанные шторами, проникает немного света — от яркого солнца выцветают обои и выгорает обивка мебели!

На стенах комнат — канделябры и портреты. Все мужчины на портретах — в военном: от старинных камзолов до красных воротников генерального штаба и от серебряных лат до «фельдграу».

У населения Остэльбии свои сословия: «лакированный сапог», «хромовый сапог» и «смазной сапог». Ла-

кированный и хромовый называют смазной на «ты». Смазной ломает шапку перед хромовым и целует в плечо лакированный. Так было в 1734-м и 1834-м. Так осталось и в 1934 году.

Замки Померании отличаются от замков Силезии только капителями колонн на фронтонах. Внутри — все одинаково. Поместья Восточной Пруссии отличаются от поместий Мекленбурга только фамилиями владельцев на межевых столбах. Мекленбург и Восточная Пруссия, Померания и Силезия — все это лишь провинции векового заповедника Остэльбии, где выводится особая порода немцев, получившая широко известное название прусского юнкера.

Ничем не отличается от других поместий и Нейдек — владение Гинденбургов. Если бы не ловкость старого юнкера Ольденбург-Янушау, соседа и друга Гинденбургов, сумевшего подбить рейнских промышленников на то, чтобы выкупить заложенный Нейдек и поднести его ко дню восьмидесятилетия фельдмаршалу-президенту, тому не пришлось бы доживать свои дни в родовом гнезде.

В обставленном с нарочитой скромностью доме Нейдека царила тишина. По навощенным полам комнат старика были протянуты дорожки, скрадывающие шаги. Люди говорили шепотом. На эту половину уже не допускали никого, кроме членов семьи умирающего президента: его сына, полковника Оскара Гинденбурга, и невестки, жены Оскара. Изредка, и то не иначе, как на самое короткое время, решался приходить доктор Мейснер, статс-секретарь, сумевший стать столь же необходимым президенту — монархисту и помещику, как был необходим предыдущему президенту — социал-демократу Эберту. Косвенно говорило о том, что и со смертью Гинденбурга

правитель президентской канцелярии не намерен уходить на покой для писания мемуаров. Если бы полковник Александер захотел, он смог бы принести президенту неопровержимые доказательства того, что господин Мейснер уже довольно прочно связан с национал-социалистским рейхсканцлером Гитлером. Но докладывать об этом полумертвому старику, по-видимому, не входило в интересы всеведущего полковника. Гинденбург пребывал в состоянии эгоистической стариковской уверенности в том, что в числе безутешно оплакивающих его уход в лучший мир будет и верный доктор Мейснер.

Гинденбург лежал в кабинете. С походной кровати был виден старый парк Нейдека. Фельдмаршал велел повыше подложить себе за спину подушки, он почти сидел и, часто мигая от света, глядел на пылающие ярким золотом осени деревья. Старый вестовой, — он с девятнадцатого года был в отставке и служил у Гинденбурга в качестве камердинера по вольному найму, — был, как всегда, облачен в солдатский мундир из серого походного сукна.

Заметив, что у Гинденбурга от яркого света слезятся глаза, вестовой подошел к окну и потянул было за шнурок шторы. Но фельдмаршал едва заметным движением руки остановил его.

Солдат укоризненно покачал головой, словно перед ним был капризный ребенок, и послушно вернулся к столу. Он ходил на цыпочках, несмотря на то что на нем были войлочные туфли. Приходилось быть осторожным, чтобы не выдать себя дежурившим в соседней комнате врачу и сестре. Пусть они остаются в уверенности, что Гинденбург спит. Все равно толку от них уже не может быть никакого. Старик и сам сказал вчера, что ему «пора».

Вестовой искоса поглядывал на желтое лицо президента с тщательно подбритыми, как всегда, подусниками, на его беспомощно вытянутые поверх одеяла руки. Глаза, и прежде-то не отличавшиеся блеском, совсем погасли. Грудь тяжело, с хрипом и бульканьем, выбрасывала воздух.

Сегодня был первый день, что фельдмаршал позволил не надевать на него форменную тужурку. Он лежал в белой рубашке, укрытый пледом, похожим на солдатское одеяло. Он долго лежал молча. Потом движением век подозвал вестового и хриплым шепотом приказал:

— Окна... настежь...

— Врач не велел, хохэкселенц!

Брови старика насупились было, но он только умоляюще поглядел на вестового.

Солдат на цыпочках подошел к двери, прислушался и, убедившись в том, что в приемной тихо, распахнул одно из окон, подержал его отворенным несколько минут и снова осторожно затворил. Когда он оглянулся на больного, уверенный, что увидит его повеселевшие глаза, голова фельдмаршала свисала с подушки, закрытые почти черными веками глазные яблоки казались непомерно большими.

Испуганный вестовой подбежал к постели и поправил Гинденбургу голову.

На шум его торопливых шагов вошли врач и сиделка.

Строгий взгляд врача.

Рука на пульсе старика.

Сестра со шприцем.

Ясно слышен в мертвой тишине хруст отломанного кончика ампулы.

Несколько мгновений солдат с укором смотрел, как человеку мешают умирать. Потом, стараясь не шуметь,

он вышел: не ему было вмешиваться, — тут, видно, происходили дела государственной важности. Да, жизнь президента — чертовски ценная штука, даже тогда, когда от него нет уже никакого прока.

Укол оказал обычное действие. Сознание вернулось к Гинденбургу.

— Мейснера, — отчетливо приказал он.

При входе статс-секретаря все, кроме Оскара, удалились. Мейснер приблизился к больному. Старик прохрипел ему в ухо:

— Завещание...

Мейснер отомкнул стальной шкаф в углу кабинета, достал большой полотняный конверт.

Президент следил за движениями Мейснера, словно перед ним был цирковой фокусник и старик боялся, что конверт вдруг исчезнет из его пальцев.

Мейснер повернул конверт большою сургучною печатью вверх и вопросительно взглянул на Гинденбурга.

— Угодно прочесть? — спросил он.

— Переписать!.. — с усилием выдохнул старик.

Мейснер нерешительно взглянул на Оскара. Оскар взял конверт, сломал печать, вынул завещание и поднес бумагу к глазам отца.

— Не нужно... читать... — досадуя, что его не понимают, проговорил Гинденбург.

— Вы хотите что-нибудь изменить? — спросил Оскар.

— О президенте...

Оскар отыскал нужное место на второй странице и прочел строки, где Гинденбург советовал немецкому народу избрать в президенты генерала Гренера.

Мейснер стоял в ногах кровати, обеими руками держа пустой голубой конверт.

— Перепиши, как есть, — сказал Гинденбург сыну. — Где сказано о Гренере... оставь место... Я назову... имя...

Оскар перешел к письменному столу и принялся поспешно переписывать бумагу, словно боялся, что отец умрет, прежде чем будет закончено дело.

Тем временем Мейснер позвал врача. Тот снова принялся считать пульс больного.

Когда Оскар поднялся из-за стола, Мейснер сказал врачу, капавшему из пипетки лекарство в рюмку:

— Идите.

— Но... — врач поднял руку с пипеткой.

— Давайте — и уходите.

Врач влил капли в рот старика и поспешно вышел. Гинденбург довольно громко сказал:

— Мейснер...

— Да, хохэкселенц?..

— Уйдите.

У президента от него секреты!.. Мейснер сделал попытку задержаться, но Гинденбург повторил:

— Оставьте нас...

Отказываясь верить своим ушам, Мейснер растерянно потоптался на месте и более поспешно, чем обычно, подгоняемый нетерпеливым взглядом старика, вышел из комнаты.

Оскар держал наготове перо. Старик поднял на сына глаза.

— Пиши: Франц фон... Папен.

— Отец!

— Франц фон Папен! — сердито, одним духом повторил Гинденбург и приподнял руку, силясь взять перо. Лист с подложенным под него бюваром лежал поверх одеяла. Умирающий долго собирался с силами. Его лоб покрылся каплями пота, потом старик ткнул

пером в бумагу, поставил большую кляксу и, не сумев вывести подпись, выронил перо.

Оскар расписался за отца, копируя его подпись со старого завещания. Озираясь, словно боясь, что кто-нибудь его удержит, вложил завещание в новый конверт и заклеил его.

Он подошел к постели, чтобы снять с пальца отца перстень с печаткой. Перстень свободно болтался на пальце, и Оскар потянул золотой обруч, но распухший сустав не давал его снять.

По-видимому, Оскар причинил отцу боль. Гинденбург открыл один глаз и уставился на сына.

— Нужна печать, — виновато сказал Оскар.

Торопливо, капая на сукно стола, он разогрел сургуч и, намазав на конверт, подбежал к постели. Обернул руку старика тыльной стороной и прижал перстень к сургучу. Красные сургучные капли, опалив волосы на пальце, пристали к коже умирающего.

Оскар позвал врача и Мейснера.

— Фельдмаршал просит засвидетельствовать, что документ написан по его желанию и подписан им собственноручно.

Мейснер не мог прийти в себя: имя преемника Гинденбурга было скрыто от него!..

— Государственный акт, не скрепленный статс-секретарем, — сказал он, — не имеет формального значения.

Гинденбург снова с видимым усилием приподнял одно веко и из-под него посмотрел на Мейснера. Едва ли умирающий понимал, кто перед ним. Он беззвучно пошевелил губами и как-то странно, показалось Мейснеру, подмигнул ему.

Мейснер взял перо и вывел на конверте свою подпись без росчерков и украшений. Рядом с маленькой фа-

мильной печатью Гинденбурга он поставил большую президентскую печать. Увидев, что Мейснер направился к сейфу, Гинденбург издал испуганный стон. Оскар нагнулся.

«Под... подушку», — разобрал он шепот президента.

Через час расшифрованная депеша Мейснера, уведомляющая обо всем, что только что произошло в Нейдеке, и предупреждающая, что президент проживет не больше нескольких часов, лежала перед Герингом. Он тотчас же поехал к Гитлеру. А еще через час экстренный поезд, гудя дизелями, мчался из Берлина на восток.

В салон-вагоне сидели Гитлер, Геринг и Гесс. В соседнем вагоне разместился штаб. В остальных трех — эсесовцы. Тут была не только охрана Гитлера. Значительное число эсесовцев было предназначено для того, чтобы немедленно по прибытии на место оцепить Нейдек и надежно отгородить его от внешнего мира. Порядок оцепления был разработан по плану поместья. Ни одно живое существо не должно было проникнуть сквозь оцепление — ни в ту, ни в другую сторону.

Гесса занимал вопрос — лежит ли еще завещание под подушкой старика, или он нашел ему более надежное место.

Мысли Гитлера были сосредоточены на том, чье имя Гинденбург мог вписать вместо Гренера. С Гренером все было уже улажено: отказ генерала принять пост президента лежал в кармане Гитлера. Правда, история умалчивает о том, каким путем этот отказ был получен, но в тот момент, когда Гитлер окажется единственным хозяином в стране, такие праздные вопросы едва ли будут кем-нибудь задаваться...

Если бы знать имя человека, которого старик рекомендует в свои преемники! Гитлер перебирал в уме все возможные кандидатуры, и мысль его все чаще возвра-

щалась к Герингу. Толстый Герман был единственным из всего руководства нацистской партии, кого Гинденбург пускал к себе в дом. Что, если именно это имя названо в завещании? С Германом будет не так просто сговориться.

Возможность такой ситуации пугала Гитлера. Он исподлобья взглядывал на Геринга и думал о мерах, которые пришлось бы в таком случае немедля принять. Внезапная смерть Геринга от разрыва сердца или в результате автомобильной катастрофы представлялась Гитлеру единственным выходом в том случае, если Гинденбург оказал толстяку медвежью услугу, вставив его имя в завещание.

Геринг тоже сидел задумавшись. Сообщение Мейснера о том, что Гинденбург заменил в завещании имя Гренера другим, пробудило в нем надежду на то, что наиболее вероятным кандидатом в президенты в нынешней ситуации является он, Герман Геринг. Для этого было достаточно много данных. Руководящие банковские и промышленные круги ему вполне доверяют; для генералитета тоже он не такой чужак, как припадочный ефрейтор. Он нашел бы средства в открытую потягаться с выкормленным им змеенышем — Гитлером! Он поставил бы его на место и заставил плясать под свою дудку. А нет, так... страна узнала бы о смерти Гитлера от разрыва сердца или в автомобильной катастрофе...

В ночь с первого на второе августа 1934 года вереница автомобилей въехала в главную аллею Нейдека и разбудила сиянием своих фар парк и темный замок умирающего президента.

Уединившись с Оскаром, Гитлер дал ему понять: Нейдек отрезан от внешнего мира и хозяином тут является он, рейхсканцлер и фюрер.

— Где завещание? — спросил он.

— Вам лучше говорить со статс-секретарем, — уклончиво ответил полковник.

— Принесите мне завещание, — сказал Гитлер, и его колючие глаза уставились в лицо Оскара.

Но тот решительно заявил:

— Фельдмаршал не желает, чтобы документ попал в чьи бы то ни было руки до его смерти.

Гитлер несколько раз пробежался по комнате и, резко остановившись, почти умоляюще спросил:

— Чье имя вы вписали вместо Гренера?

Оскар Гинденбург, профессиональный военный с ограниченным кругозором и способностями, не мог учесть всех политических комбинаций, на которые повлияло бы преждевременное оглашение имени того, кого отец считал способным повести немцев в один из труднейших периодов их истории. Полковник думал, что это имя, произнесенное устами умирающего Гинденбурга, станет для немцев таким же популярным, каким казалось ему имя его отца. Оскар не подозревал, что даже под гнетом нацистского режима в Германии уцелели еще миллионы людей, для которых имя Гинденбурга-президента было символом реакции, синонимом сдачи всех позиций демократии клике юнкеров и банкиров, означало возвращение к власти монархических элементов старой армии и кайзеровского правительственного аппарата. Любое имя, какое способен был воскресить в своей памяти умирающий, будь то Гренер или Папен, было одинаково чуждо немецкому народу и не могло вызвать в массах ничего, кроме возмущения. Но вместе с тем полковник Оскар знал, что отец не выносил Гитлера только потому, что тот был выскочкой, представителем «черни», втершимся в ряды «порядочных» людей, а вовсе не потому, что

Гитлер был тем, чем он был в политике. Когда дело доходило до политики, Гинденбург всегда сдавал позиции нацистам и допускал Гитлера все ближе и ближе к власти. Старик не раз говаривал, что не видит в Германии другой силы, способной противостоять коммунизму, как только гитлеризм. Способен ли Папен противостоять главной, самой страшной опасности? Не было ли то, что сделал вчера отец, политической ошибкой?..

Оскар взглянул на Гитлера. Неужели отец должен был вставить в документ имя этого человека с измятой физиономией эстрадного пошляка?!

Гитлер, по-видимому, понял, о чем думал Оскар.

— Чье бы имя ни стояло в завещании, — проговорил он, — главою государства буду я. Другое имя послужит только причиной больших осложнений внутри Германии. Неужели вы этого не понимаете?! — Гитлер понизил голос до хриплого шепота, так что его слова едва можно было разобрать. — Что бы он ни написал, там должно стоять мое имя!.. Мое!

Полковник молчал ошеломленный. Прежде чем он успел освоить смысл сказанного, Гитлер продолжал:

— Период Гинденбурга закончен. Тот, кто ставит на него, ставит на мертвеца. А я... — лицо его побагровело, — я могу завтра же, сегодня же, не выходя отсюда, сделать вас генералом или... или уничтожить!

Оскар передернул плечами и отвернулся. Гитлер продолжал выкрикивать:

— Вы военный! Вместе с армией вы будете двигаться вперед! Нас с вами будет связывать знание взятой на себя великой ответственности!

Да, это Оскар, понимал. От него зависело принять предложение этого крикуна, возродить армию, переиграть проигранную войну.

— Фельдмаршал-президент назвал в завещании... Папена, — негромко произнес Оскар.

Ни тени удивления не отразилось на лице Гитлера. Он стал сразу необычайно спокоен и высокомерно произнес:

— В своем дневнике вы можете сегодня записать: судьба Германии решалась в этой комнате... Теперь — к президенту!

Оскар направился было к двери, но Гитлер без церемонии взял его за рукав:

— Оставьте нас.

— Но...

— Не будьте мальчиком... генерал!

И Гитлер вошел в кабинет.

Гинденбург лежал с закрытыми глазами.

У ног умирающего, уронив голову на руки, сидела его невестка. Увидев ее, Гитлер бросил взгляд в сторону стоявшего в дверях Оскара. Тот послушно взял жену под руку и почти насильно увел из комнаты.

Дверь кабинета плотно затворилась.

Некоторое время Гитлер молча оставался в том самом кресле, в котором только что сидела невестка умирающего. Глаза Гинденбурга были закрыты. Гитлер осторожно придвинулся к изголовью и сунул руку под подушку. Он сразу нащупал большой конверт и потянул его. Конверт с подписями свидетелей был у него в руках. В первый момент Гитлер хотел его вскрыть, но удержался. Зачем? Он и так знает главное.

Гитлер сложил конверт вдвое и сунул во внутренний карман.

Хруст ломающихся печатей показался ему таким громким, что он испуганно взглянул на Гинденбурга. Один глаз старика был широко раскрыт, в нем отра-

жался смертельный испуг. Над другим глазом только бессильно вздрагивало веко.

Гитлер отвернулся. Теперь ему некуда было спешить. Ведь сидеть здесь придется до того момента, пока старик будет способен произнести хотя бы слово. Ни секундой раньше не сможет Гитлер выйти из этой комнаты. Ни секундой раньше он не позволит никому сюда войти.

Гинденбург издал мычание в последнем усилии заговорить, замотал головой. Гитлер равнодушно смотрел на него: пусть помычит... Если кто-нибудь подслушает у дверей, то примет это мычание за речь старика.

При этой мысли Гитлер заговорил сам. Он говорил громко. Если где-нибудь здесь спрятаны записывающие аппараты, Гиммлер получит полное удовольствие: он услышит самые прочувствованные слова, какие когда-либо произносил он, Гитлер.

Он говорил механически, почти не думая. Мысли вертелись вокруг того, что следует теперь делать с Папеном, с завещанием, с Оскаром Гинденбургом. Как поступит Оскар, обнаружив исчезновение завещания? Поймет ли он, что не в его интересах поднимать шум?

Гитлер умолк... Его так поглотили мысли, что он не обращал уже внимания на президента.

Завещание должно быть переписано рукой Оскара! И пусть не кто иной, как сам же он — Оскар, «найдет» новое завещание и передаст его Папену. Именно Папену — никому другому. Что может быть убедительнее: сам Папен огласит в рейхстаге завещание с именем Гитлера в качестве преемника Гинденбурга. Да, именно Папен!

Что же, значит Геринг не зря сохранил жизнь этому католическому пройдохе!

Идея понравилась Гитлеру.

Он весело глянул на Гинденбурга.

Президент был недвижим.

Правая рука беспомощно свисала к полу, рот был полуоткрыт. Один глаз оставался открытым.

Гитлер вскочил, нагнулся к самому лицу Гинденбурга. Дыхания не было слышно.

Все!

Гитлер еще раз ощупал свой грудной карман, где хрустнул толстый конверт, и направился к двери.

Дверь в приемную порывисто распахнулась, и все увидели Гитлера. Взгляд его был устремлен вверх. Левой рукой он поддерживал правую, протянутую вперед.

Голосом, в котором звучало рыдание, он с пафосом провинциального трагика произнес:

— Сейчас он пожал эту руку.

## 10

Острая боль заставила Тельмана скрипнуть зубами и сжать их так, что под скулами набухли желваки. Работа по расслоению папиросной коробки требовала точных движений. Их приходилось делать, не считаясь с болью, причиняемой наручниками.

Нужно было собрать всю силу воли, чтобы заставить себя после короткого отдыха снова приняться за дело. Тельман вынул из тайника тонкую, отточенную, как игла, косточку и, повернувшись спиною к двери, оперся лбом о стену. Это был испытанный прием маскировки, после которого, как узнал Тельман, в рапортичках надзирателя появлялась фраза: «Снова стоял, упершись лбом в стену, и грыз пальцы». Он мог себе представить, как следователи радостно потирали руки, воображая, будто эта поза — не что

иное, как выражение отчаяния. А тем временем он, подняв руки к самому лицу, наносил на картон едва заметные уколы шифра. Нужно было передать товарищам на волю, как следует, по его мнению, держаться в предстоящем народном голосовании. Нельзя отдать Гитлеру без боя позиции, на которых еще недавно стояло несколько миллионов немцев. Партия должна сказать им, как вести себя, как голосовать. Но вот косточка замерла, и брови Тельмана озабоченно сошлись над переносицей. Нет никакого сомнения: социал-демократические бонзы еще раз, как и многократно до того, предадут интересы рабочего класса и германского народа в целом; необходимо считаться с тем, что снова изменят эти продажные душонки, трясущиеся за свои жалкие шкуры и за тепленькие местечки, которые, как кость шелудивому псу, бросил им Гитлер! Наверное, так оно и будет. Весь ход истории рабочего движения в Германии убеждает в том, что он, Тельман, не имеет права делать никакой ставки на единство действий с этими потомственными и последовательными ренегатами. Еще давиды, брауны и прочая шваль доказали на практике, что готовы не за страх, а за совесть служить ненавистным народу Гогенцоллернам, обманывая массы рядовых членов своей партии. Лебе, вельсы, зевринги передали шумахерам политическую нечистоплотность, полученную от Каутского. Тельман не поверит никаким их уверениям! Эберту и этой кровавой собаке Носке ничего не стоило, спевшись с юнкерами и банкирами, утопить в крови немецкую революцию. По указке тренеров и шлейхеров, рехбергов и стиннесов и прямых агентов Ватикана — брюнингов и паненов — проклятым бонзам удалось превратить чиновничью верхушку немецкой социал-демократии в отряд негодяев, ставших под

знамя реакции для борьбы с германской демократией и с Советским Союзом. Нужно быть последним идиотом, чтобы поверить, будто они раскаются в том, что способствовали приходу Гитлера, и будут голосовать против него. Да, Тельман может с уверенностью сказать, что если бы Папена сменил в канцлерском кресле не Гитлер, а кто-нибудь из социал-демократических лидеров, он, Тельман, потребуй этого хозяева Рура, оказался бы там же, где сидит и теперь, — в тюрьме! Те, кто организовал убийство Карла Либкнехта и Розы Люксембург, не задумываясь, покончили бы и с ним. Как ни скудны сведения, приходящие к Тельману в тюрьму, как ни трудно ему отсюда сноситься с партийным подпольем, он должен дать товарищам сигнал: социал-демократические лидеры по-прежнему остаются врагами рабочего класса; поверить им — для коммуниста значит поставить под удар судьбу партии, которая должна вывести немецкий народ на путь революционных побед. Должна вывести и выведет!

Погибли прекрасные товарищи, погиб Ион Шер, но партия жива. Место погибших борцов заняли другие. Партия жива!

Тельман верит в правильность политики своей партии, своего ЦК!.. Правильная политика! Политика сплочения всех антифашистов, политика единения с социал-демократическими рабочими и беспощадного разоблачения их продажных лидеров.

Тельман стал рассчитывать: до голосования осталось две недели, — успеет ли это письмо дойти до товарищей на воле?.. Чтобы заполнить знаками маленький кусочек картона, понадобится не меньше двух дней, — работать нужно урывками, чтобы не привлечь внимания надзирателей. Сутки уйдут на то, чтобы склеить коробку и дать ей засохнуть. Она

должна иметь такой же вид, как сотни коробок из других камер.

В среду кальфактор принесет новые папиросы — десять штук на неделю — и под наблюдением надзирателя соберет у заключенных старые коробки, чтобы ни один клочок бумаги не оставался в камерах. С этого начнется опасное путешествие письма: кальфактор должен сжечь отобранные коробки. Не попадет ли в печь и коробка Тельмана? Что, если раздатчику не удастся отделить ее от общей массы и, вместо того чтобы по каким-то таинственным каналам, о которых не знал и сам Тельман, попасть в руки товарищей, кусочек картона улетит на волю в виде струйки дыма?.. А если письмо и прорвется, сколько времени оно будет странствовать? Какими путями пойдет? Кто те товарищи, которые, получив коробку, будут старательно разбирать шифр? Тельман не знал их имен. По двум-трем случайным словам он мог только догадываться, что это был кто-то из особенно близких ему гамбуржцев. Гамбуржцы! Он хорошо знал этот народ. Они продержатся до конца, пока будет хоть какая-нибудь надежда. И даже тогда, когда ее уже не станет. Во всяком случае, они не сдадутся, и ни один из них не перебежит в ряды врага. Он знал их, немецких пролетариев.

И снова острая косточка совершала свои осторожные движения, и сетка едва заметных уколов покрывала поверхность картона...

Губы Тельмана беззвучно шевелились: мысленно он произносил целые речи. В них было все, что искало выхода за стены тюрьмы: и страстный призыв к борьбе, и слова надежды, и клятва верности своей партии, своему классу, делу своего страдающего народа...

## 11

Гаусса заинтересовало то, что говорил Оскар Гинденбург, но вначале он колебался; стоит ли встревать в такое скользкое дело, как предстоящая борьба вокруг завещания фельдмаршала? С одной стороны, тут, может быть, и есть шанс не допустить слишком большой концентрации власти в руках Гитлера, но с другой... Что если разоблачение истории с завещанием президента осложнит положение в стране и помешает начавшемуся развертыванию армии? С этим нельзя было шутить. Но в то же время...

Гауссу хотелось подумать над этим сложным делом, а вслух он со всею мягкостью, на какую был способен, сказал:

— Я никогда не смел считать себя в числе лиц, пользовавшихся особым доверием покойного фельдмаршала. Удобно ли мне...

Но Оскар не дал ему договорить. Он замахал руками и поспешно проговорил:

— Вы не просто его сослуживец, я бы сказал: любимый сослуживец...

— Подчиненный, — поправил Гаусс, — это будет точнее...

— Хорошо, пусть будет «подчиненный». Вы его любимый подчиненный. Но не потому я пришел к вам. Ведь вы наш сосед по имению, наши семьи давно близки. Наконец вы забыли: родство по женской линии дает мне право смотреть на вас, как на своего человека...

Слова сына покойного президента ложились в сознание Гаусса где-то поверх его собственной мысли. Слушая Оскара, он думал о том, что прежде, когда был жив старый фельдмаршал, его сыну не приходило в голову напоминать об их соседстве, о родстве и прочих санти-

ментах! Гаусс попросту не помнит даже, когда он в последний раз говорил с молодым Гинденбургом...

Гаусс всегда знал его за более чем посредственного офицера, за человека, ничего не смыслящего в политике. Бог его знает, почему тот решил вспомнить теперь именно о нем?..

А Оскар между тем продолжал:

— С кем же я могу посоветоваться, как не с вами? Что мне делать с этим удивительным секретом, так неожиданно попавшим в мои руки?

— А вы абсолютно уверены в том, что конверт с завещанием взял именно он?

Гаусс не решился произнести имя Гитлера.

— Готов поклясться.

— И вы достаточно хорошо помните текст завещания, чтобы суметь воспроизвести его?

— Вполне...

Неожиданная мысль пришла Гауссу. Подумав, он сказал:

— Так сядьте здесь и напишите его так, как помните.

Оскар послушно сел за письменной стол и принялся писать. Но вдруг остановился, отложил перо и вопросительно посмотрел на Гаусса.

— А что мы с этим сделаем? — спросил он.

Генерал пожал плечами.

— Обстоятельства покажут.

Отодвинув наполовину исписанный лист, Оскар поднялся из-за стола и несколько раз в задумчивости прошелся по комнате. Гаусс молча курил, движением одних глаз следя за гостем. Теперь, когда Оскар колебался, Гауссу казалось, что тайну можно было хорошо использовать. Быть может, удалось бы напугать Гитлера и сделать его более послушным генералам. Ведь он зазнался после 30 июня.

Да, положительно, теперь этот недописанный Оскаром листок представлялся Гауссу ключом к запертой для него двери в политику...

— Итак! — неопределенно проговорил он.

Оскар остановился напротив него и молча, в задумчивости смотрел ему в лицо, словно надеясь найти в чертах старика решение мучивших его сомнений: писать или не писать?

— Итак?.. — повторил Гаусс.

— Что это может дать? — спросил Оскар.

— Все! — с неожиданной для самого себя решительностью отрезал вдруг Гаусс. — Этим мы можем заставить его отказаться от вмешательства в дела армии, мы можем сохранить свое положение, мы можем...

Гаусс, не договорив, сделал размашистое движение рукой, означавшее широту раскрывающихся горизонтов.

— Оставив его у власти? — в сомнении спросил Оскар.

— Пусть будет фюрером и пока еще рейхсканцлером, а там...

— Но ведь он хочет совсем не того. Я понял: он хочет стать президентом. А я видел его глаза, я говорил с ним, я понимаю, что значит оказаться во власти этого человека... — Оскар прикрыл ладонью глаза, силясь представить себе того, кто заставил его уйти от смертного одра отца, бросить на произвол судьбы завещание президента, отдать столь важный документ в грязные руки ефрейтора-шпика. И, по-видимому, этот образ представился ему достаточно ясно.

Оскар зажмурился и провел ладонью по лицу, силясь отогнать отвратительное видение коротконогого человека с широким задом, тяжелыми, как у гориллы, руками, со взглядом маньяка...

— Быть может, этого не следует делать? — спросил Оскар с нерешительностью.

— Разве не это привело вас сюда?! — сердито спросил Гаусс. — Разве вы не хотели знать мое мнение!.. Как офицер, как немец, как сын своего отца вы не имеете права не сказать того, что знаете о проделке «богемского ефрейтора»... Ведь так и только так ваш покойный отец называл этого выскочку. И вспомните еще: «этот богемский ефрейтор никогда не будет моим канцлером»...

— Тем не менее... — грустно покачивая головой, проговорил Оскар.

— Тем не менее он стал канцлером?.. И теперь он станет еще президентом и усядется в кресло, где сидел покойный фельдмаршал!

Оскар стоял в нерешительности. Теперь его охватил страх, и он пробовал возражать, доказывать, что, может быть, Гитлер ничего плохого и не сделает с завещанием. Что, может быть, он просто опубликует его, отступив перед волей покойного президента. Ведь говорят же, будто он уже просил Папена выступить в рейхстаге, чтобы огласить завещание...

— Но откуда вы знаете, что это будет за завещание? — гневно крикнул Гаусс.

— Вы думаете, он может решиться... что-нибудь изменить в документе?

— «Что-нибудь изменить!» — передразнил Гаусс. — Он просто перепишет завещание, как ему захочется.

— Там стоит имя Папена!

— А будет стоять его имя... «Богемский ефрейтор» — президент Германии?.. — Гаусс ударил рукой по подлокотнику. Но ладонь только глубоко ушла в мягкую кожу, не издав даже сколько-нибудь громкого звука.

— Но там стоит подпись отца.

— Вы же сказали, что эту подпись должны были сделать вы, вы сами... Так что же удивительного в том, что вы сделаете ее еще раз, когда он потребует?

— Господин генерал! — Оскар выпрямился и выставил грудь, как должен был сделать германский офицер, если его оскорбляли.

— Сейчас не до обид, — резко оборвал его Гаусс. — Если вы поклянетесь мне, что не пойдете на это... Впрочем, нет, даже в таком случае я вам не поверю...

— Господин генерал!.. Это слишком!

Но Гаусс, не обращая на него внимания, продолжал:

— Только в том случае, если у меня будет храниться текст завещания, изложенный вашей рукой и скрепленный вашей подписью, я буду почти уверен в том, что вы не пойдете на то, чего потребует Гитлер. И то вы видите, я говорю «почти»... На свете больше нет никаких гарантий ни от каких подлецов.

— Ваши годы и положение, господин генерал, — сухо проговорил Оскар, — избавляют вас от необходимости выслушать то, что на моем месте должен был бы сказать офицер. — Оскар вставил в глазницу монокль и, гордо подняв голову, зашагал к двери. Но, сделав несколько шагов, он вернулся к столу и с изумлением уставился на то место, где оставил недописанный текст завещания. Он даже пошарил по столу рукой, словно не верил собственным глазам: лист исчез.

Оскар вопросительно посмотрел на сидевшего сбоку стола Гаусса. Тот сидел, сцепив сухие пальцы у подбородка, и смотрел куда-то в пространство.

Оскар хорошо помнил, что он перестал писать в тот момент, когда из-под его пера вышло имя Папена как преемника умершего президента. Да, он это хорошо помнил...

— Господин генерал...

Гаусс продолжал сидеть неподвижно и смотреть так, будто перед ним никого не было.

— Это... это... — запинаясь, бормотал Оскар, не находя нужного слова.

За него продолжил сам Гаусс:

— Это ничуть не хуже того, что вы уже сделали и что еще сделаете.

Гаусс поднялся с кресла коротким, быстрым движением. Оскар так же быстро вышел.

## 12

Цихауэр держал руку Асты в своей, внимательно разглядывая ее. Потом опустил руку на черный бархат платья, отошел на шаг и, склонив голову набок, еще раз полюбовался. Узкая белая кисть с едва заметной просинью жилок, с тонкими длинными пальцами лежала на бархате, как драгоценное произведение ваятеля.

— Завтра сядем за работу, — сказал Цихауар.

Аста подняла свою руку и с усмешкой посмотрела на нее.

— Это не очень любезно в отношении дамы: не найти в ней ничего лучше рук. А теперь, — она встала с софы, на которой полулежала, — покажи, что ты сделал для отца.

— Мы с ним не сговорились...

Цихауэр взял стоявший у стены большой картон и повернул его лицом к Асте. Аста отшатнулась. То, что она увидела, было ужасно. Написанное художником лицо человека было олицетворением себялюбия, алчности, самодовольства, трусости. В лице не было портретного сходства с ее отцом, и вместе с тем нельзя было ошибиться: это был Вольфганг Винер.

— Завтра я снесу это в магазин, — сказал Цихауэр. — Тот, кто хоть что-нибудь понимает в искусстве, немедленно купит портрет...

— Ты не сделаешь этого!

— Тогда пусть он купит его сам. Тысяча марок — и ни пфеннига меньше! Я не желаю умирать с голоду.

— Я поговорю с ним... — Аста взглянула на часы. — Тебе никуда не нужно ехать?

— А что?

— Здесь Лемке с автомобилем.

— Спасибо... Мне никуда не нужно.

— Ты даже не уговариваешь меня посидеть... — грустно проговорила она.

Он смущенно взглянул на часы.

— Мне еще очень много нужно сегодня сделать!

Она порывисто поднялась и с обиженным видом протянула художнику руку.

Высунувшись из окна, Цихауэр видел, как ее автомобиль завернул за угол, и снова с беспокойством взглянул на часы. Завтра, 19 августа, — всегерманский плебисцит. Немцы должны будут сказать, хотят ли они иметь Гитлера преемником Гинденбурга. Весь Берлин, вся Германия были заклеены нацистскими плакатами, призывавшими отдать голос Гитлеру. Никаких других плакатов не было. Но это не значило, что в Германии не осталось людей, которые хотели бы голосовать против Гитлера. Для миллионов людей, голосовавших за коммунистическую партию, она оставалась символом борьбы с гитлеровским террором. Загнанные в подполье коммунисты решили показать немецкому народу, что есть силы, способные к сопротивлению. В течение ночи часть нацистских плакатов должна быть заклеена плакатами коммунистов, а на остальных слова «да здравствует Гитлер» заменены словами «долой Гитлера».

Цихауэру поручили изготовить бумажные полоски со словом «долой». С левой стороны на них вместо фашистской свастики был нарисован кулак «Красного фронта».

Шофер Франц Лемке должен был действовать в паре с Цихауэром. Он обещал привести еще одного парня — сторожить, пока Лемке и Цихауэр будут наклеивать полоски. Им достался трудный район — в самом центре города.

С улицы, как из колодца, поднимался глухой шум. Весь день 18 августа по улицам Берлина маршировали отряды штурмовиков с оркестрами, флагами и плакатами, требующими, чтобы берлинцы голосовали за «фюрера». Вот и сейчас топот подкованных сапог вместе с духотою врывался в растворенное окно мансарды Цихауэра.

После «большой чистки» 30 июня, в которой было истреблено все прежнее руководство СА, штурмовикам разрешили вернуться из вынужденного отпуска, и они с удвоенным рвением принялись за свою погромную деятельность. Далеко не последняя роль принадлежала им в подготовке предстоящих «выборов».

Прошло не меньше получаса, прежде чем явился Лемке. Уже совсем стемнело.

— А я — с автомобилем, — весело сказал он. — Это ускорит дело.

— А ваш парень?

— Разрешите ему войти? — Лемке отворил дверь и крикнул: — Входи, Рупп!

Наличие в экспедиции автомобиля меняло план действий. Было решено: Лемке останется за рулем, чтобы быть готовым в любую минуту тронуться с места, Рупп будет мазать плакаты клейстером, а Цихауэр заклеивать их своими полосками.

— Дай-ка сюда газеты, — сказал Лемке Руппу и спросил, обернувшись к Цихауэру: — Вы еще ничего не знаете?

Цихауэр с улыбкой спросил:

— Свергли Гитлера?

— Он опубликовал завещание Гинденбурга. Покойник назначил его чем-то вроде своего наследника.

Лемке протянул художнику газету.

Цихауэр прочитал:

«Вице-канцлер в отставке господин фон Папен, по поручению генерала Оскара фон Гинденбурга, передал фюреру и рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру пакет, содержащий политическое завещание покойного господина рейхспрезидента генерал-фельдмаршала фон Гинденбурга. По поручению фюрера господин фон Папен предаст документ гласности.

На собственноручно запечатанном рейхспрезидентом конверте сделана надпись: «Германскому народу и его канцлеру. Мое завещание».

Цихауэр поднял на Лемке смеющиеся глаза:

— Хотел бы я знать, почему же Гитлер тянул с опубликованием завещания целых две недели?

— Говорят, завещание не могли найти, — сказал Рупп.

— Да, его «случайно» нашел полковник, сын президента, — сказал Лемке. — И все это публикуется накануне выборов. Ловкий ход!

— Но как же с подписью покойного президента?

Лемке рассмеялся:

— Не думаю, чтобы это было большим затруднением. Говорят, что последнее время все бумаги фабриковал за отца полковник Оскар.

— Вы допускаете?..

— У них — все.

В уголке на электрической плитке Рупп сварил клейстер.

— Пора, — сказал Лемке.

Ему предоставили выбор маршрута. Полагаясь на свое искусство шофера, он избрал наиболее запутанную часть центра. Он считал, что в случае провала погоня скорее бы настигла его на прямых, широких магистралях, а в узких пересекающихся улицах едва ли кто-нибудь угонится за ним.

Миновав Тиргартен, он выехал на Лейпцигерштрассе и в конце ее свернул на Комендантенштрассе. Район был едва ли не самым опасным. Тут то и дело проходили группы штурмовиков и полицейские патрули. Но тем более необходимо было выполнить задание и показать этим самодовольным прохвостам, что есть еще смелые и честные люди в Германии!

Лемке сделал первую остановку. Рупп выскочил и на бегу мазнул клеем сразу по двум плакатам. Цихауэр ловко приклеил свои полоски.

Лемке останавливался то на одном, то на другом углу... Осмелев, они решили испробовать новую тактику. Рупп и Цихауэр шли по улице, автомобиль медленно ехал в нескольких шагах от них.

Все шло отлично. В карманах Цихауэра оставалось уже совсем мало бумажных полосок, когда Рупп увидел на углу двух полицейских. Он и Цихауэр побежали к автомобилю. Но вдруг Цихауэр вскрикнул: у него подвернулась нога, и он упал.

Рупп бросился к нему.

От перекрестка бежала группа штурмовиков. Лемке понял, что прежде чем Цихауэр и Рупп успеют сесть в автомобиль, их настигнет погоня. Он дал задний ход, чтобы сократить расстояние. Рупп втолкнул Цихауэра в машину и вскочил сам. Лемке видел, как

наперерез штурмовикам бежало несколько рабочих-пикетчиков.

Через минуту автомобиль мчался полным ходом. А свалка, начавшаяся в узкой, кривой Себастьянен-штрассе, привлекала все новых и новых участников. Хотя этот район и не был рабочим и здесь не могло быть большого числа прохожих, способных оказать штурмовикам сопротивление, победа последним далась нелегко. В штурмовиков летели камни, палки, пустые бутылки...

С воем сирены в улицу въехал полицейский автомобиль. Вместе с шупо в драку вмешались эсесовцы. Эти не привыкли стесняться! Замелькали дубинки.

## 13

Американское «просперити» 1920-х годов имело своеобразные последствия для ряда родовых поместий аристократов Старого Света. Их старинные замки были разобраны по камешку, упакованы со всем, что в них было, — от гобеленов до привидений, — и перевезены за океан, в резиденции американских миллионеров.

Не все замки совершили такое далекое путешествие. Некоторые из них были перенесены лишь на сотню-другую километров, в более живописные места. Были, наконец, и такие, которые остались на месте в увеличенных в пять, в десять раз поместьях.

Подобного рода судьбы постигли старинные родовые гнезда аристократии во многих странах Западной Европы: в Германии, Франции, Австрии и даже в Англии и Шотландии.

Один из таких замков был перенесен волею нового владельца с берегов сурового шотландского «лоха» на не менее поэтический, но мало подходящий для его

суровых форм солнечный островок посреди прозрачно-голубого озера в Итальянских Альпах.

Это было огромное строение, служившее когда-то прибежищем нескольким поколениям клана хайлендеров и славившееся тем, что едва ли не каждое из этих поколений оставило в нем свое привидение. Многие тысячи долларов были затрачены на то, чтобы засадить пространство вокруг замка вереском и скромным шотландским дроком. Вероятно, новый владелец не пожалел бы денег и на то, чтобы заставить переселиться вместе с замком стаи шотландских ворон, свивших себе гнезда между зубцами его башен. Но вороны не поняли того, что являются неотъемлемою деталью пейзажа, и остались в родной Шотландии. В Швейцарии их места на башнях заняли мириады ласточек.

Большую часть времени замок пустовал. В его роскошно отделанных залах и комнатах царила тишина. Солнце едва пробивалось сквозь замазанные мелом стекла высоких стрельчатых окон. Далеко не каждый год появлялся тут кто-нибудь из членов семьи владельца. Полторы сотни слуг были единственным населением замка и всего островка, приобретенного да так, по-видимому, и забытого мистером Джоном Алленом Ванденгеймом Третьим.

Он вспомнил о своем замке лишь тогда, когда понадобилось найти нейтральную почву для важного разговора, который должен был состояться между несколькими американскими дельцами-монополистами и представителями германского капитала и нацистской партии. Одни из них не желали появляться в Германии, других неудобно было приглашать в Штаты. Кроме того, ни в Германии, ни в Штатах не удалось бы уберечься от пронырливых газетчиков. А обеим сторонам меньше всего хотелось, чтобы кто-либо совал нос в их дела.

Вот почему в августе 1934 года с окон замка смыли наконец мел, и солнцу удалось заглянуть в его пышные покои.

Американцы прибыли с юга, через Италию, и сели на яхту Ванденгейма в Комо. Немцы прибыли с севера и отплыли на остров от пристани Менаджио.

Все было организовано так, что история до сих пор не знает имен всех «туристов», якобы собравшихся поиграть в гольф и покер на уединенном швейцарском островке. Известно только, что в числе немецких гостей, кроме непременных членов таких совещаний Яльмара Шахта и банкира Курта Шрейбера, находились Фриц Тиссен, Крупп фон Болен, Шмитц и Бош и что, кроме ранее совещавшихся с Ванденгеймом в Америке немецких генеральных консулов фон Типпельскирха и фон Киллингера, приехал Геринг. Это те, чьи имена, несмотря на конспирацию, не остались неузнанными. Имена остальных до сих пор неизвестны.

Кроне удалось проникнуть в замок под видом секретаря Геринга. Но ни на одно из совещаний он не попал, как, впрочем, и никакой другой секретарь — как с американской, так и с немецкой стороны. Краткие протоколы велись поверенным Ванденгейма — адвокатом Фостером Долласом. Какое употребление он нашел этим протоколам, пока неизвестно. Доллас не из тех, кто продает свои тайны раньше, чем они могут принести ему верную тысячу процентов.

Кроне бродил по замку, томясь незнанием того, что происходит в зале заседаний. Он напрасно ломал себе голову над тем, как подсмотреть или подслушать. Тщетно исследовал исподтишка все помещения, примыкающие к залу. Даже на чердаке он наткнулся на здоровенного субъекта, встретившего его совсем неласковым взглядом.

Он уже решил отказаться от дальнейших попыток узнать содержание бесед путем подслушивания и начал раздумывать над тем, каким образом можно было бы просмотреть записи Долласа, когда к нему пришла неожиданная помощь в лице высокого худого человека с красным лицом, в котором он узнал Фрэнка Паркера. Вечером Паркер подсел к Кроне, тянувшему пепермент в полутемном уголке веранды.

Паркер представился Кроне так, как если бы видел его впервые. После двух рюмок он сказал:

— Быть может, побродим по саду?.. Вечер великолепен.

Кроне никогда не был любителем природы. Но ему не нужно было объяснять, почему Паркер не хочет с ним разговаривать там, где есть стены. Он с энтузиазмом ответил:

— Вы правы, вечер прелестен! Только захватим свои стаканы.

И они сошли в парк.

— Я чувствую себя, как в потемках, — признался Кроне.

— Непривычная обстановка, — заметил Паркер.

— Вы не можете раздобыть протоколы Долласа?

— Зачем они вам?

— Надо же знать, о чем там говорится.

— Я вас для этого и нашел, — в тоне Паркера появился покровительственный оттенок, который не понравился Кроне. — Скажите дворецкому, что вас не удовлетворяет комната, и попросите спальню с балконом.

— Ну и что?

— Одна такая комната осталась рядом с моею.

— Мне недостаточно вашего пересказа.

— Оттуда вы сможете слушать то, что говорится в зале.

— Вы, Паркер, молодец!

— Все было продумано заранее.

— Обидно, что я пропустил сегодняшнее совещание.

— Больше болтали немцы. Они напрямик сказали нашим, что если наладить правильное сотрудничество между Германией и Америкой, то можно будет в конце концов поделить рынки России и Китая и даже говорить об освоении этих пространств.

— Они правы.

— Наши не возражают. Вопрос в том, каким способом устранить помехи.

— Русских?

— Да.

— А официальная линия?

— Линия Рузвельта и прочих?

— Да.

— Все понимают, что с этим пора кончить.

— Что предлагают немцы?

— Они хотели бы действовать напрямик: убить того, убить другого... Они простоваты, — проговорил Паркер.

— Может быть, не такие уж простаки... Вспомните Гардинга.

— Отравить можно было Гардинга, но не Рузвельта. Он популярен у среднего американца.

— Этим он и опасен.

— Кампания, которую наци собираются открыть против Рузвельта, подействует не хуже пуль! Кроме того, немцы считают, что мы должны помочь созданию националистических обществ в Штатах.

— При их компетентном содействии? — иронически заметил Кроне.

— На кой черт они там? У Дюпона и Форда и так налажено дело: Крусейдерз, Сэнтинел и другие шайки.

Кстати, — добавил Паркер, — нашим сегодня чертовски понравилось то, что немцы рассказывали об организации у них борьбы с рабочим движением. У нас, наверное, испробуют что-нибудь в этом роде и перестроят эти банды на немецкий лад.

— Да, в Германии не помитингуешь, — согласился Кроне.

— Ванденгейм сказал: мы будем дураками, если не заведем у себя таких же порядков!

— А говорилось что-нибудь насчет Австрии?

— Не очень много. Наши не хотят мешать там Гитлеру.

— Но тут придется поспорить с англичанами.

— Им нетрудно заткнуть глотку, — беспечно заявил Паркер. — Нажать на вопрос о долгах — и они живо подожмут хвост...

— А главное, главное? — в нетерпении спросил Кроне.

— Сначала они хотят решить все, что должно предшествовать кардинальному решению русского вопроса.

— Но он будет поставлен?

— Непременно! Все дальнейшее вы сможете уже слышать из своей комнаты.

— Но нам с вами не следует больше встречаться, — сказал Кроне.

— Это и не будет нужно. Только постарайтесь выведать у Геринга и сообщить нам истинные намерения немцев: не держат ли они какой-нибудь камень за пазухой.

— Скажите Ванденгейму, чтобы он не переоценивал упорства немцев, когда они будут набивать себе цену.

— Ну, небось нашим не впервой нанимать себе на службу гангстеров, — с усмешкой сказал Паркер.

— Но немчуре чертовски хочется сохранить вид людей, которые и сами сумеют устроить свои дела на

востоке, хотя они и отлично понимают, что без наших денег не смогут ничего сделать. Пусть наши только поднажмут, и немцы пойдут на любые уступки, чтобы спеться.

— Это ваше личное мнение?

— Я передаю смысл разговора между Герингом и Гессом перед отъездом сюда.

— Я доложу хозяину... Между прочим, имейте в виду: чем ближе к делу, тем больше нас занимает мнение немецких военных.

— Скажите мне еще раз, Фрэнк: смогут немцы свободно войти в Австрию и Чехию?

— Безусловно!

— И правильно: им не следует вставлять палки в колеса в Европе, если мы не хотим иметь хлопоты с красными на Дальнем Востоке.

— Судя по разговорам, наши сделают все для того, чтобы помочь японцам справиться с красными на Востоке, прежде чем дать им самим под зад.

— Это сложное дело, Фрэнк.

— Наши понимают.

— Надеюсь! — Кроне протянул руку. — Снова на несколько лет?

— Судя по всему, мы будем встречаться в Берлине. Мне, кажется, предстоит торчать там. — И, пожимая Кроне руку, Паркер спросил: — Вы ведь знаете Роу, Мак?

— Знаю.

— Наших очень интересуют источники его информации в Германии.

— Мало ли что кого интересует... — уклончиво пробормотал Кроне.

— Вы не думаете, что эти источники находятся довольно высоко?

Кроне пожал плечами:

— Что вы называете «высоко»?

— У нас подозревают... — Паркер секунду колебался, словно не решаясь высказаться до конца, — подозревают в нечистой игре Канариса.

Кроне удивленно взглянул на Паркера.

— Именно его, Мак, — повторил тот, — как это ни невероятно!

— Невероятно? — Кроне пожал снова плечами. — Как будто этот Канарис не такая же каналья, как любой из его агентов.

— Ну, все-таки... Начальник всей имперской разведки!

— Почему он должен быть лучше нашего Говера?

— Но, но, Кроне! Вы далеко хватаете!

Кроне не видел ничего невероятного в наличии связи начальника германской разведки Канариса с Интеллидженс сервис, и ему казалось смешным, что это может заботить американскую секретную службу. Однако он больше ни о чем не спросил Паркера, а тот не сказал ему, что этот вопрос важен для американцев потому, что Канарис состоит и их собственным агентом!..

Кроне выпил в этот вечер больше, чем обычно. Это заметил даже Геринг, вернувшись с совещания. Кроне попытался вызвать Геринга на откровенность, но мысли того были где-то далеко.

— Пойдемте-ка, Кроне, я вам кое-что покажу! — сказал он с таинственным видом и, пыхтя, стал взбираться по лестнице на второй этаж того крыла замка, где были расположены жилые апартаменты Ванденгейма. Кроне последовал за ним.

Они в молчании миновали несколько комнат. Не в силах скрыть волнение, Геринг остановился перед небольшою резною дверью, толкнул ее и жестом пред-

ложил Кроне войти. Сам же, из-за его плеча, нажал выключатель. Кроне увидел залитый мягким верхним светом большой зал. Стены его были затянуты гобеленами в виде огромных медальонов. Посреди каждого медальона висел рыцарский щит с гербом. Все это походило бы на геральдический зал, если бы середина пола не была занята просторным купальным бассейном. Льющийся с потолка мягкий свет отражался в желтом металле, которым был облицован бассейн, и делал воду похожей на огромный слиток красноватого стекла.

Кроне увидел, что глаза Геринга в экстатическом восторге остановились на этом водоеме.

— Смотрите, Кроне, — толстые красные руки Геринга с жадностью потянулись к бассейну, — он из чистого золота!

Словно боясь, что видение рассеется, Геринг на цыпочках приблизился к краю водоема и сделал попытку присесть на корточки. Толстые ноги и огромный живот не позволили ему этого. Он тяжело опустился на одно колено и погладил рукою полированный металл облицовки.

— Вот что здорово — то здорово! — Он с напряжением, опираясь на руку Кроне, поднялся и уставился в темно-желтую и, казалось, горячую от пронизывающего ее отраженного света воду. — Это замечательно, Кроне!

И он снова, как зачарованный, уставился на золотистую воду.

## 14

Сентябрь выдался дождливым. Было еще совсем тепло, но на протяжении недели не бывало и дня, что-

бы небо не изливало на Берлин потоков воды. Водосточные трубы высоких домов непрерывно рокотали от струившихся в них каскадов. Щеткам метельщиков нечего было делать: вода смывала с асфальта все. Зелень бульваров потемнела от воды, пропитавшей, казалось, даже листву. Тиргартен сочился влагою, как неотжатая губка. Проносившиеся по лужам автомобили обдавали стены домов мутными струями. Шпрее, с ее обычно темными, радужными от нефти ленивыми водами, подошла под самые края набережных.

Хотя Кроне и советовал воспользоваться подземкой, Отто понял, что дойти до станции — выше его сил. И на протяжении нескольких шагов, что ему пришлось пробежать до стоянки такси, вода успела забраться за воротник, а начищенные сапоги были забрызганы грязью.

Кроне пригласил Отто для разговора. Телефонный вызов, едва не заставивший Отто упасть в обморок, был сделан Кроне еще из больницы, где он выздоравливал после раны в спину.

Направляясь теперь на свидание с Кроне, Отто старался себя уверить, что для опасений нет никаких оснований. Если бы они хотели его прикончить, то могли бы сделать это уже десять раз. Вероятно, Кроне ни о чем не догадывается. Нужно только придумать версию поумнее.

Но ничего мало-мальски правдоподобного не приходило в голову: ведь Кроне-то знал, что Хайнес не мог в него стрелять, так как был убит рукою Отто.

Чем дальше думал Отто, тем хуже делалось его настроение. Наконец он задал себе вопрос: «Зачем я сам тащусь к нему в пасть? Не разумней ли бежать? Бежать без оглядки, скажем, в Голландию или, еще лучше, в Швейцарию?..» Отто не сомневался в том, что

ему удастся перейти границу. Особенно, если он сейчас же вернется в канцелярию Гаусса и выпишет себе служебный пропуск в пограничную зону.

Отто рисовались заманчивые картины жизни в Швейцарии. Он предложит издателям купить его разоблачительные мемуары. Великолепные, ошеломляющие заголовки: «Записки ремовского адъютанта» или еще лучше: «Я убил Рема». Правда, он Рема не убивал, но это неважно. Ради рекламы можно кое-что и присочинить.

Но он сам тут же оборвал эти мечты: ему проделают дырку в затылке, прежде чем он допишет первый десяток страниц своих разоблачений...

Кроне встретил его так, словно они расстались при самых будничных обстоятельствах.

Во время разговора Кроне несколько раз умолкал, закашлявшись.

— Вы простудились? — с деланым участием спросил Отто.

— Да, — лицо Кроне искривилось в болезненной улыбке. — Благодаря вентиляции в моих легких, — иронически сказал он.

Отто с трудом заставил себя сосредоточиться настолько, чтобы слушать Кроне. К счастью, тот сегодня больше говорил, чем спрашивал. Отто впервые слышал такое откровенное и ясное изложение программы действий гитлеровской агентуры во всей Европе. Потом Кроне перешел к разъяснению методов, какими эта программа должна быть осуществлена.

Это было практическое руководство к тем общим соображениям, которые генерал Шверер не так давно узнал из агентурной стенограммы разговора посла Кестнера с журналисткой Женевьевой Табуи. Кроне

не называл пока ни одного имени, но слово «убрать» фигурировало так часто, что программа убийств показалась Отто рассчитанной на целые десятилетия. Она распространялась на весь мир. От Бухареста до Нью-Йорка. Речь шла о необходимости смести с пути целые группы немецких и зарубежных антифашистов, своих и чужих политических деятелей. По словам Кроне, у нацистов имелись для этих целей отряды опытных агентов во всех странах.

— Вы утомлены? — спросил вдруг Кроне, заметив бледность Отто.

— Нет, нет! Что вы! — поспешно ответил Отто, боясь, что Кроне может счесть его слабым, неспособным нести возлагаемое на него бремя осведомленности в сложной механике преступлений. Внушить Кроне такое опасение значило выйти в тираж.

Отто сделал беззаботное лицо.

— Должен сознаться: за то время, что вас не было, жизнь показалась мне довольно пресной!

— Зато теперь... — Кроне выдержал небольшую паузу, — я смогу доставить вам удовольствие. Вы ведь не бывали в Итальянской Швейцарии?

И тоном, каким в дружеской компании излагают план увеселительной поездки, Кроне сообщил Отто, что тому нужно побывать в Лугано для встречи с несколькими усташами террористической организации Анте Павелича, которых итальянская овра отобрала для исполнения очень важного поручения: должен быть уничтожен югославский король Александр, проводящий политику сближения с Францией. Король Александр задумал и другое: войти в сношения с Советской Россией! На этом пути он нашел себе наставника в лице французского министра иностранных дел Барту.

— Этот проклятый француз, — голос Кроне стал жестким, — заслуживает того, чтобы...

«Боже правый! — подумал Отто. — Если так говорить имеет право Кроне, то что же может Гиммлер?!»

— Когда нужно выехать? — покорно спросил он.

— Завтра подайте рапорт о болезни.

— Что я должен делать в Лугано?

— Остановиться в отеле «Цюрхерхоф» и ждать моих распоряжений. Я приеду туда.

— О-о! — воскликнул Отто и с угодливой улыбкой, за которою постарался скрыть разочарование, добавил: — Значит, мне не будет скучно!

— Там мы с вами незнакомы.

С этими словами Кроне поднялся.

## 15

В то лето тучи висели не только над Берлином. Холодный туман, гонимый на Европу от британских берегов, сменялся дыханием жаркого африканского ветра. Эти резкие смены погоды раздражали нервы людей, и без того взвинченные политической обстановкой. Непрекращающиеся правительственные кризисы во Франции привлекали к себе не меньшее внимание мировой общественности, чем маневры фашистской банды, пришедшей к власти в Германии.

Министерская карусель, порождаемая интригами правых, продолжалась бесконечно. Фактически в Третьей республике хозяйничали авантюристы и казнокрады. Это были одни и те же захватанные карты одной и той же крапленой колоды, которую без конца перетасовывали руки «двухсот семейств». Всякие лавали, шотаны, думерги, тардье и фландены сменяли друг друга. На их лопатках светились сквозь фраки бубновые

тузы потенциальных каторжников, и если бы к власти пришел народ, немногие из этих политических шулеров избежали бы переселения в Кайенну. Шпионаж в пользу Германии и профашистская политика ради выгодных биржевых спекуляций — по системе Боннэ; шпионская деятельность в пользу фашистской Италии и соучастие в подделке облигаций — в духе Кьяппа; убийства политических противников — в стиле де ла Рокка; шантаж по системе Морраса — одной десятой всего этого было бы достаточно, чтобы скомпрометировать любую буржуазную партию, любое правительство. Но пресса, субсидируемая самими же преступниками, распоряжавшимися во французском казначействе, как в собственном кармане, покупаемая оптом и в розницу банкирами и промышленниками, подкупаемая немецкой гестапо и итальянской овра, — продажная пресса извергала потоки лжи с целью обелить преступников и потопить в грязи их разоблачителей.

И все же в этой тяжелой обстановке, несмотря на все усилия реакции, на шантаж и угрозы, невзирая на открытые вооруженные выступления фашистских ифашиствующих лиг, всяких «Боевых крестов», «Аксьон франсэз», «Солидаритэ франсэз», «национальных корпоративных партий» и т.п., — несмотря на откровенное покровительство властей рыцарям ножа и кастета, — французский народ без страха вышел на улицу. Его возмущало бесконечное повторение в «новых» кабинетах затрепанных имен старых политических жуликов. Народ оскорбляли нескончаемые аферы всяких стависских, которые грабили страну среди бела дня и прятались за спины своих соучастников из кабинета министров. Все это оскорбляло простых людей Франции, только и слышавших песенку о необходимости повысить налоги и понизить заработную плату. В фев-

рале, в мае и в июле сотни тысяч людей вышли на демонстрации. Величественный и грозный поток возмущенных парижан, во главе которых шли руководители коммунистической партии, привел в трепет обитателей отелей миллионеров, беспардонных крикунов Бурбонского дворца и пешку-президента, сидящего в Елисейском дворце под охраной ажанов. Всем стало ясно, что следующая волна народного гнева уже не будет носить формы мирной демонстрации.

И вот «хозяева Франции» выдвинули фигуры, которые казались им подходящими для такой ситуации. На сцену вылез член семьи банкиров и коммерсантов, тонкий знаток изысканной литературы и собиратель редкостей, обладатель дисканта, кастрат, пресловутый «вождь» социалистов, матерый предатель Леон Блюм. За ним появился выбившийся из мелких булочников в крупного парижского биржевика «вождь» радикал-социалистов, сторожевой пес биржи Эдуард Даладье. Эти два испытанных интригана пошли навстречу народным колоннам «с протянутою для пожатия рукою», намереваясь помешать идущим во главе народного движения коммунистам занять в нем ведущее положение.

Этот маневр не помог: когда в феврале 1934 года де ла Рокк и Поццо ди Борго вывели на улицу банды своих фашистов, они встретили жестокий отпор.

Вовлекая все более широкие слои трудящегося люда Франции, лавина народного движения продолжала мощно катиться вперед. 27 июля, в день двадцатой годовщины смерти Жана Жореса, несколько сотен тысяч парижан продефилировали перед Пантеоном, чтобы отметить первую победу — договор между коммунистами и социалистами о совместных действиях. Леон Блюм был против единства действий с комму-

нистами, но массы заставили его подписать договор. Это был крепкий удар по социал-предателям и по фашизму. В лагере реакции началось смятение: вырисовывалась перспектива поражения правых партий на предстоящих выборах. Но «двести семейств» не желали сдаваться или хотя бы отступать. По их приказу открылись шлюзы клеветы. Дело поручили «Боевым крестам» и «Аксьон франсэз». Грязные фашистские листки «Фламбо» и «Гренгуар» затеяли травлю лидеров левых партий. Префект парижской полиции, пресловутый Жан Кьяпп, обладавший «секретными досье», способными наповал уложить любого бывшего, нынешнего и будущего министра, пригрозил членам кабинета и палаты, что пустит эти досье в ход против всякого, кто вздумает заступиться за жертв «Гренгуара» и «Фламбо».

— А если и этого окажется мало, — крикнул Кьяпп председателю палаты депутатов Эррио, — я явлюсь сюда с автоматическим пистолетом и буду стрелять!

— В кого? — спросил потрясенный Эррио.

— В кого попало!..

Кьяппа поддержал Ибарнегарэ — друг и соратник де ла Рокка.

— Если легальных возможностей у нас не будет (стрельбу в палате он считал, по-видимому, легальной), мы прибегнем к другим средствам!

Атмосфера накалялась. «Кампания» правых, накачиваемая деньгами из сейфов «двухсот», получала все больший размах. Нажимали и фашисты из-за рубежа. Дорио на деньги немецкой гестапо купил провокационный бульварный листок «Либертэ». Де ла Рокк за одиннадцать миллионов франков, неизвестно откуда взявшихся у него, приобрел большую газету «Пти журналы».

«Кампания» развивалась. В «черном списке» де ла Рокка после консультации с Берлином появились крестики против имен намеченных жертв.

Над Парижем висела серая сетка дождя. Под ногами хлюпала слякоть. Годар и Анри теперь выходили из метро у палаты депутатов и встречались только в подъезде Второго бюро.

Это было влиянием их службы, или, вернее говоря, их нынешней профессии. Вместо сближения, которое было бы верным результатом их долгой совместной службы в других условиях, скажем в армии, эта служба способствовала тому, что с каждым днем они отходили друг от друга все дальше и дальше. Изо дня в день каждый из них обнаруживал в другом все новые отрицательные черты, которых не замечал ранее. С каждым днем ощутимее становилось желание не только подмечать для себя недостатки другого, но рука как бы сама собой тянулась к перу, чтобы занести эти наблюдения в личное досье друга.

Так постепенно из друзей они превратились сначала в равнодушных, а потом и в придирчивых наблюдателей, не прощающих друг другу ни недостатков, ни ошибок.

Пропало желание выйти на станцию раньше, чтобы пройти несколько кварталов с приятелем. Годару казалось даже, что исчезла необходимость посидеть на скамье под каштанами. Словно и энфизема не была больше энфиземой, раз не с кем стало о ней говорить, и сердце не билось день ото дня все с большей натугой.

Одним словом, майор Годар и капитан Анри иногда сходились теперь в подъезде бюро и тогда обменивались равнодушным кивком. А чаще и входили они туда

в разное время. Разницы в две-три минуты было достаточно, чтобы не столкнуться в подъезде...

В тот день, о котором идет речь, генерал Леганье вызвал к себе Анри. Тот увидел в его кабинете Годара. Годар принес известие, что через редакцию «Салона» от Роу в Лондон прошло интересное сообщение: на днях в Швейцарию, на Луганское озеро, собираются приехать немцы. Их поездка находилась в какой-то связи с намерениями югославского короля Александра.

Генерал вопросительно уставился на Анри.

— Не кажется ли вам, капитан, что если это сообщение имеет какое бы то ни было отношение к нам, то я должен был бы услышать об этой поездке не от Годара, а от вас?

— У меня нет данных о том, что поездка имеет отношение к нам.

— Неужели я должен вам объяснять, что все относящееся к королю Александру интересует Францию? — генерал разгладил какие-то ему одному видимые складки несуществующей скатерти. — Если Роу обеспокоен, значит, дело идет не о простом слухе!

Генерал быстро и точно водрузил пенсне на место и скользнул по обоим офицерам быстрым взглядом.

— Я пришел в бюро не для того, чтобы присутствовать на похоронах французской секретной службы. Я хочу знать то же, что знают другие — англичане, итальянцы, поляки. Хотя бы столько же!

— Не так уж мало, мой генерал, — усмехнулся Годар.

— Но и не так много, как можно было требовать от этого же бюро несколько лет тому назад! — Леганье сделал короткую паузу. — Если вы устали, Годар, поезжайте отдохнуть.

— Но, мой генерал...

— Сегодня же вам будут изготовлены надлежащие документы. А вы, Анри, как лучший друг майора...

Анри поднял взгляд на генерала.

— Разве я дал повод, мой генерал?

— ...Вы, как друг Годара, можете сопровождать его. И вам будут сегодня же изготовлены необходимые документы. Поедете в Лугано. И если я по вашем приезде туда не буду знать, что общего между этим визитом бошей и королем Александром, ваш отдых будет продлен на неопределенно долгое время. Но не думаю, чтобы мне удалось выхлопотать прибавку к пенсии, полагающейся вам по чину...

Через три дня явно преуспевающий коммерсант — капитан Анри — и усатый парижский рантье — майор Годар — порознь вышли из подъезда вокзала в Лугано. Капитан Анри бросил элегантный чемодан в маленький голубой автобус аристократического пансиона «Вилла Моника». Годар, захлебываясь кашлем и будто бы не глядя, кому отдает свой потрепанный саквояж, сунул его в руку комиссионера скромного «Отель-дез'Альп».

Французские офицеры прибыли в Лугано раньше Отто и Кроне. Те появились только через три дня и тоже порознь.

В потоке туристов французам было нелегко обнаружить немцев. Анри заметно нервничал и уже вторично во время якобы случайной встречи с Годаром в кафе настаивал на том, что поиски нужно бросить: они обречены на неудачу. Поездка бездарно организована: у Второго бюро нет здесь своей агентуры, и он не видит возможности выполнить поручение генерала.

— Можешь ехать, — пробормотал Годар. — И доложи генералу, что уходишь в отставку.

— А ты?

— Дай мне подышать чистым воздухом... У меня здесь почти пропал кашель.

— Тебя посылали не за этим! Ты поедешь со мной! — настойчиво проговорил Анри.

— Какое тебе дело до меня?

— Я вовсе не желаю, чтобы генерал считал дураком одного меня.

— Конечно, вдвоем веселее быть дураками... Тем не менее я остаюсь тут.

Годар, кряхтя, поднялся и пошел прочь. Новый костюм сидел на нем так же мешком, как и тот, в котором он обычно являлся в бюро. И плечи его так же были осыпаны перхотью. Он даже тем же самым движением забросил за спину руки.

Анри с ненавистью глядел ему вслед. Не мог он уехать один. Не мог!.. Но как уговорить майора покинуть Лугано?

Неподалеку от набережной Годар опустился на скамью. Аллея была обсажена кустами роз. Господи боже, как хороша могла бы быть жизнь, если бы на свете не существовало эмфиземы! Эмфиземы и Второго бюро. Но разве забудешь о них даже среди этих роз?

Годар полез в карман за платком, и его рука наткнулась на жесткий конверт письма, полученного сегодня «до востребования». Уезжая из Парижа, он приказал своему помощнику уведомлять его обо всем, что будет поступать в «Салон». И вот сегодня есть новость: Роу писал своим шефам в Лондон, что направил в Лугано, «где собралось довольно изысканное общество, свою корреспондентку, которая будет держать редакцию в известности обо всем, что может произойти там интересного». Получив это письмо, Годар повеселел было и сделал попытку через портье установить, нет ли в отеле какой-нибудь

иностранной журналистки, но таковой не оказалось. По-видимому, корреспондентка Роу остановилась в другой гостинице.

Годар рассеянно следил за гуляющими. Сколько беззаботной молодежи! Погодите, и у вас, мои дорогие, будет какая-нибудь дрянь вроде эмфиземы, а может быть, и что-нибудь похуже!.. Он смеялся в душе над бодрящимися старичками. Пусть вот этот геморроидальный драбант не делает вида, будто его больше всего на свете занимает та блондинка. Впрочем, блондинка действительно прелестна. И сам Годар непременно приволокнулся бы за нею... лет двадцать назад.

И вдруг эта самая блондинка остановилась против Годара:

— Простите, мсье, где здесь почта?

Годар собрался было ответить, но вспомнил, что и ему самому нужно на почту: из Парижа могли прийти новые известия.

Он задыхался, с трудом поспевая за бойко постукивающей каблуками блондинкой. Было стыдно признаться, что такой аллюр ему не под силу.

Тому, что он отправился с нею на почту, блондинка, по-видимому, придала совсем иной смысл, чем необходимость справиться о письмах. Но что ему за дело до ее мыслей? Не станет же он за нею волочиться!

И тут внезапно все его праздные мысли исчезли, словно выбитые из головы одним ударом: конторщик за решеткой спросил блондинку:

— Я правильно читаю: рю Ларрей?

— Да.

Чувствуя, как под ним колышется земля, Годар впился взглядом в узкий конверт, поданный блондинкой конторщику: «Ларрей, 7, редакция “Салон”».

Годар вышел на улицу, купил несколько роз и, прислонившись к стене, так как кашель совершенно обессилил его, стал ждать блондинку.

Заметив его одышку, она сама предложила на обратном пути посидеть на бульваре. Она надавала ему кучу рецептов домашних средств от кашля, которые применял ее папа.

Отдохнув, они пошли дальше. Не доходя до отеля, блондинка протянула Годару руку.

За пять франков портье охотно сообщил, что даму зовут Сюзанн Лаказ.

Годар долго ворочался в постели: следует ли поделиться открытием с Анри?

Какие основания могли быть у Годара не доверить капитану Анри хоть что-нибудь из того, что знал он сам? А между тем порой ему чудилось в Анри что-то, что не нравилось старому разведчику.

«Кто знает, — думал Годар, — может быть, это и есть та самая интуиция, без которой грош цена работнику разведки? Мало ли какие случаи знает наша практика!..»

Однако рано или поздно ему придется привлечь к работе Анри или вызвать помощь из Парижа. Одному тут не справиться. Да, так и придется сделать: послать телеграмму генералу с просьбой о подмоге. И не позже, чем завтра.

С этим решением Годар повернулся на бок и натянул на ухо пикейное одеяло.

В это самое время Отто Шверер и Кроне встретились в небольшом пригородном местечке Кассарато, в пятнадцати минутах езды на восток от Лугано. Отто отпустил свой таксомотор и пересел к Кроне. Когда машина тронулась, Кроне сказал Отто:

— Познакомьтесь, капитан Пиччини.

Сидевший за рулем итальянец, не оборачиваясь, через плечо подал Отто руку и, дурно выговаривая немецкие слова, сказал:

— Очень рад.

— Мы едем в Кастаньолу, — пояснил Кроне Шверру. — Там вы увидите остальных.

Отто понял, что Пиччини офицер овра, итальянской разведки.

Пятнадцать минут пути все молчали.

В Кастаньоле они остановились у калитки, на которой Отто заметил дощечку с надписью: «Вилла Давеско». Они миновали большой сад и вошли в неуютно обставленный дом. У дверей веранды их встретил человек среднего роста.

Представляя его немцам, Пиччини сказал:

— Анте Павелич.

Отто посмотрел на него с интересом: этот бывший офицер австрийской службы, а ныне вожак усташской организации профессиональных убийц имел ничем не примечательную наружность. Бросались в глаза только очень густые и очень черные брови, под которыми прятались маленькие глаза пьяницы, с белками, изборожденными красными прожилками.

Все поднялись во второй этаж. В просторной комнате сидело трое черноволосых людей. Они громко спорили о чем-то на незнакомом Отто языке. Павелич представил одного из них:

— Радованович Марко.

Поднялся огромный курчавый детина крепкого сложения с загорелым звероподобным лицом и пожал гостям руки, сжимая их, как тисками.

— Первоклассный пулеметчик, — пояснил Павелич. — Может стрелять с руки.

Павелич показал на следующего — маленького, сухого, с длинными, зачесанными назад волосами и с рассеченным пониже переносицы носом. Он был без пиджака, и под шелковой рубашкой угадывалась твердая округлость мускулов.

— Хрстыч Петар, гранатометчик. Бросает на семьдесят метров с ходу.

Хрстыч поклонился, как цирковой артист. Руки не подал.

Следующий, Вучич Иован, молодой, с бледным лицом и блудливыми глазами, оказался стрелком из пистолета, за которого Павелич ручался, как за чемпиона.

Кроне изучал усташей взглядом опытного барышника. Отто заметил, что он остался доволен осмотром. Однако при дальнейших словах Павелича лицо Кроне омрачилось. Выяснилось, что король Александр отменил предполагавшуюся поездку на швейцарские озера, где было бы удобней всего разделаться с ним. Король решил совершить поездку по Франции.

Покушение на короля следовало организовать по дороге из Белграда в Париж.

— Лучше всего во Франции, — сказал Кроне. — Может быть, удастся ликвидировать сразу обоих — Александра и Барту. Мы организуем дело так, чтобы полиция Кьяпа не чинила препятствий вашему въезду во Францию. Убийство короля на французской земле скомпрометирует Францию.

Отто перехватил взгляд Кроне и прочел в нем то, чего не могли увидеть другие, знавшие Кроне хуже. «А потом, — говорил этот взгляд, — мы поймаем убийц Александра и отдадим их на растерзание югославам».

Усташи сидели молча и внимательно слушали. Только изредка, когда дело касалось каких-нибудь деталей технического свойства, они вставляли свои замечания.

Когда совещание было закончено, Пиччини сообщил, что в Лугано явились офицеры французского Второго бюро. Один из них, майор Годар, уже держит в руках нить заговора. Если его не убрать, он может провалить дело.

Кроне злобно поглядел на Пиччини: проклятый итальянец раззадорил их разговорами о деталях плана и только после этого преподнес свое сообщение, которое ставило весь план под угрозу отмены.

— Один из ваших людей, — властно сказал Кроне Павеличу и повел глазами в сторону Вучича, — должен убрать этого Годара теперь же.

Павелич отрицательно мотнул головой:

— Я не могу рисковать своими людьми ради какого-то паршивого майора!

— Да, да, — спохватился и Пиччини, — это отборные люди. Специально для короля!

Ни с кем не простившись, Кроне вышел, сопровождаемый Отто. У ворот он без церемонии сел за руль автомобиля Пиччини.

— Вам, мой милый Шверер, придется заняться этим Годаром, — сказал он по дороге.

— Но позвольте, — вспыхнул Отто. — Я не простой убийца, который...

Кроне перебил:

— Вы всегда тот, кого я хочу в вас видеть. Запомните это, Шверер! В деле с королем мы обойдемся и без вас.

Отто молчал. Попасть в руки швейцарской полиции?.. Где гарантия, что Отто удастся удрать раньше, чем поднимется шум?

Кроне неожиданно затормозил. Не говоря ни слова, он развернулся и поехал обратно к «Вилле Давеско».

У калитки они увидели растерянного Пиччини.

— Мой автомобиль!.. — крикнул было итальянец, но Кроне не дал ему говорить.

— Нужно сделать так, чтобы в определенное время Годар был там, где мы можем... им заняться.

— О, тут я не могу вам помочь! — сказал итальянец.

— Я выбью из вас душу, — грубо сказал Кроне, — если вы этого не сможете.

Отто впервые видел Кроне таким.

— Когда и где вы хотите его видеть? — смиренно спросил итальянец.

— Через час на станции Паццалло фуникулера Сан-Сальвадор. Там, где кафе! — приказал Кроне и уехал на автомобиле Пиччини, не обращая внимания на протесты итальянца.

## 16

Годар очнулся от тяжелого сна. Одеяло сползло ему на лицо. Нечем было дышать. Он вылез из постели, чтобы принять порошок веронала. Но потом передумал: решил не откладывать до завтра отправку телеграммы. Присел к столу и быстро зашифровал депешу кодом, который был ему дан генералом для этой поездки. Годар просил прислать сюда своего помощника с одним-двумя надежными людьми.

Сунув написанное в карман, Годар отправился на улицу Кановы. Сдал депешу на телеграф и не спеша побрел домой.

В звездном сиянии безлунной ночи внизу темнело озеро. Где-то очень далеко, у поворота за Монте-Больо, как брошенная на воду горсть светляков, переливался огоньками пароход. Годар остановился и следил за ним, пока пароход не скрылся за выступом горы.

С набережной доносились приглушенные звуки струнного оркестра. Вправо, за Парадизом, подобно увешанному лампочками воздушному шару, высоко в небе сверкал огнями ресторан на вершине горы Сан-Сальвадор. Его как бы удерживала от полета в черную бездну неба тоненькая цепочка огней, тянувшихся вдоль линии фуникулера.

Вдыхая приторный аромат розовых кустов, перемешанный с запахом раскрывшегося табака, Годар медленнее, чем обычно, приближался к своему пансиону. Улица была пустынной.

Вдруг он остановился. Навстречу ему послышались торопливые шаги. Как это иногда бывает с нервными людьми, Годар угадал, что это шаги человека, ищущего именно его. Здесь можно было ждать чего угодно, и рука Годара сама собою опустилась в карман, где лежал браунинг. К своему удивлению, он узнал в поспешно приближающемся пешеходе капитана Анри.

— Что-нибудь случилось?

— Ничего... решительно ничего...

— Ты был у меня?

— Мне стало невыносимо скучно... Живем, словно монахи... Давай поднимемся на Сан-Сальвадор, посмотрим на город с высоты.

— Что же, — без особой охоты, но и без сопротивления ответил Годар.

У подножья величественной громады Сан-Сальвадора было пустынно.

Вагончик фуникулера медленно потащился по крутому склону. Открылся безграничный вид на Луганское озеро и на горы чуть не до итальянской границы.

Оживление Анри внезапно прошло. Он сидел молчаливый, как будто чем-то подавленный.

Вагончик, громыхая, миновал мост над пропастью.

— Паццалло! — крикнул кондуктор. — Пересадка в другой вагон.

— Почему пересадка? — удивился Годар, с неохотой вылезая из вагона.

— Подъем будет вдвое круче, — сказал Анри. — Нет смысла ехать дальше. Останемся здесь. Тут нам дадут вина.

Не ожидая ответа, Анри направился к веранде маленького ресторана.

Годар лениво тянул кисловатое вино. Анри пил жадно. Он приказал подать вторую бутылку.

Годар поглядывал на приятеля, пытаясь угадать, зачем тому понадобилось тащить его сюда среди ночи. Он был уверен, что это неспроста. Анри не принадлежал к числу людей, поддающихся безотчетным порывам. Каждый его шаг был обдуман и рассчитан. Незаметно для себя Годар закурил предложенную Анри сигарету, хотя со дня приезда в Лугано дал себе слово не курить. Анри предложил вторую.

— Странный вкус у твоих сигарет, — сказал Годар. Он уже не мог удержаться и, как прежде, прикуривал от еще не потухшего окурка.

Минут через двадцать Анри поднялся.

— Я сейчас вернусь, и мы поедем домой.

— Да, мне что-то захотелось спать от твоих дрянных папирос.

Годар заплатил за вино и, подойдя к перилам, еще раз полюбовался панорамой. Появился ущербный месяц. В его неуверенном свете озеро серебрилось широкой дорогой, и горы казались выше и чернее. Темнота казалась таинственной, и Годар подумал, что именно там-то, за этой непроницаемой завесой, и находится то, чего он искал всю жизнь, — счастье. Быть может, именно теперь, когда за его плечами были двадцать лет

опыта, какого не дает никакая другая профессия, он и не сумел бы ясно ответить на вопрос, что он разумеет под словом «счастье». Но ведь были и в его жизни времена, когда это понятие представлялось конкретным до осязаемости, когда общечеловеческое понятие счастья не носило на себе отвратительных следов нечистых человеческих судеб, прошедших сквозь его мозг и душу. Было же, черт возьми, время, когда все на свете еще не было обезображено всепроникающим светом его службы, под ядовитыми лучами которого, как под эманацией радия, мясо отваливается от костей и самый скелет разваливается, не сдерживаемый распавшейся тканью сухожилий. От человеческого богоподобия остается лишь куча смрадной слизи. По крайней мере, последние десять лет своей жизни Годар шагал по такой слизи...

Он отвернулся от озера, тяжело вздохнул и вернулся к столику. Лакей убирал стаканы.

— Мой спутник не возвращался?

— Он сел в фуникулер.

— Вы путаете: он не мог уехать без меня.

— Я отлично видел: он поехал вниз.

Сторож на платформе фуникулера ничего не мог сказать. Он ничего не помнил — ему хотелось спать.

Годар стоял и машинально прислушивался к тому, как вода с шумом вливалась в резервуар под вагончиком. Он так задумался над странною выходкой Анри, что не заметил, когда кондуктор перекрыл воду и занял место у тормоза.

— Вы поедете? — крикнул он Годару.

Годар вошел в темный, пустой вагон. Кроме него, не было ни одного пассажира. Чувство привычной настороженности заставило Годара переложить браунинг из заднего кармана в карман пиджака и отодвинуть

предохранитель. Он с трудом боролся с одолевавшей его сонливостью.

Глухо лязгала шестерня по зубьям рельса и трещала собачка тормоза, когда кондуктор сдерживал разбег вагона.

Показался черный провал пропасти. Под вагоном басисто загудел металл моста, словно катили железную бочку.

Когда вагончик остановился в нижнем павильоне фуникулера, кондуктор поспешно сошел с площадки и открыл заслонку водяного балласта. Это был последний рейс...

К вечеру следующего дня капитан Анри сделал полиции заявление об исчезновении Годара. Ему предложили осмотреть труп, найденный утром на дне пропасти, под мостом фуникулера Сан-Сальвадор. Голова трупа была в таком виде, что никто не взялся бы признать в нем майора Годара. Но на левой стороне нижней губы виднелось что-то белое. Анри узнал прилипший окурок своей сигареты и вздохнул с облегчением.

В тот же вечер Анри уехал из Лугано.

Капитан французской службы Анри и майор вермахта Отто фон Шверер почти одновременно вышли из вагонов. Первый — в Париже, второй — в Берлине.

Капитан Анри сделал доклад начальнику бюро.

— Сто против одного: немцы никогда сюда не сунутся. Они передоверили дело овра, чтобы остаться в стороне. А овра, в свою очередь, использует мадьяр или усташей, — уверенно сказал Анри.

— Все хотят выйти сухими из воды... — недовольно проговорил генерал Леганье. — Нужно принять меры к тому, чтобы ни один из усташей не мог проникнуть во Францию. Позор падет на наши головы, если мы не

сумеем оградить жизнь короля Александра на Французской земле. За Барту я спокоен. Его мы не дадим в обиду. Нужно сейчас же дать знать на Кэ д'Орсэ, чтобы там не вздумали выдать визы этим разбойникам. Вы знаете их имена, Анри?

— Так точно, мой генерал, — и Анри перечислил имена трех хорватов из шайки Павелича.

— Действуйте...

Через час капитан Анри был опять у генерала: оказалось, что отдел виз министерства иностранных дел уже имел указание кабинета премьера о предоставлении въездных виз Павеличу, Радовановичу, Хрстычу и Вучичу.

Генерал позвонил министру иностранных дел. Трубку снял сам Барту. Леганье приказал вести запись разговора и включил усилитель, чтобы капитан Анри мог слышать, что отвечая Барту.

Генерал: Через вашу голову даются распоряжения отделу виз?

Барту: Что вы хотите, генерал? Приказ канцелярии премьера!

Генерал: Я решительно протестую против въезда этих лиц!

Барту: Премьер передал мне это как личную просьбу маршала.

Генерал: Поймите же, господин министр: впуская этих убийц, вы ставите под угрозу жизнь короля Александра!

Барту: Господин Кьяпп обещал мне принять меры.

Генерал: А для вашей личной безопасности он тоже примет меры?

Барту: Что вы имеете в виду?

При этих словах Барту рассмеялся. Генерал сердито проговорил в трубку:

— Я хотел бы так же смеяться, как вы, господин министр, но, к сожалению, у меня нет для этого оснований. В последний раз предупреждаю вас: въезд подобной компании во Францию — игра с огнем. Внешние союзы, ограждающие Францию, могут оказаться разорванными одним выстрелом!

Барту: Слишком много для кучки гангстеров.

Генерал: Вспомните один выстрел в Сараево, дорогой министр! А Гитлеру и Муссолини больше ничего и не нужно... Вы разрешите мне переговорить с маршалом?

Петэн, в свою очередь, сослался на то, что его просил о визах для усташей полковник де ла Рокк, он хлопотал за них как за политических эмигрантов, просивших у Франции убежища...

Старый предатель со знаками «маршала Франции» не собирался посвящать генерала Леганье в то, что уничтожение Барту входило в план подавления в Третьей республике всего, что еще было способно сопротивляться наступлению немецкого гитлеризма и своего собственного, французского, фашизма, тайным главою которого и был сам дряхлеющий маршал-изменник.

Наступил октябрь. В Берлине все еще шел дождь, но в Париже светило солнце. Это нельзя было назвать жарким сиянием июльского солнца, но все же дни стояли ясные и теплые.

В один из таких дней генерал Леганье, получивший новые сведения о подготовке покушения на короля Александра, решил еще раз позвонить Барту. Разговор опять был записан слово в слово. Начальник Второго бюро официально просил министра изменить церемониал встречи короля — не ездить в Марсель. Но Барту

в двух словах доказал генералу, что это абсолютно невозможно.

— Тогда прошу вас, господин министр, — заявил Леганье, — переменить пункт встречи. Что хотите, только не Марсель!

— Поздно, поздно, мой генерал, — с обычной для него веселостью ответил Барту. — Все ваши страхи навеяны дурным сном, а дурной сон — результат плохого пищеварения, — и старик рассмеялся. — Смотрите на меня, дорогой генерал: никогда никаких кошмаров. Желудок действует прекрасно. В мои-то годы!

А Леганье на основании агентурных данных мог с уверенностью сказать не только то, что охрана Барту поставлена из рук вон плохо, но... да, да, он знал: все, что случится в Марселе, произойдет с ведома сюрте, с ведома Кьяппа.

— В таком случае, господин министр, — заявил Леганье, — прошу вас взять с собой двух-трех офицеров моей службы.

Барту опять ответил, смеясь:

— Два-три от вас, два-три от Кьяппа... У меня не Ноев ковчег, а всего лишь дрянной старый вагон, в котором, вероятно, ездил еще Адам. Только для того, чтобы не обидеть вас, возьму одного офицера. И баста, мой генерал, баста!

Положив трубку, Леганье приказал позвать к себе капитана Анри.

— Вы будете сопровождать господина Барту в Марсель. Это необходимо.

Через день, в субботу 8 октября, капитан Анри с несессером в руке подошел к вагону Барту, прицепленному к составу курьерского поезда Париж — Марсель. Из окна купе Анри с интересом наблюдал за неугомонным старцем, весело пожимавшим руки провожающим.

Трудно было поверить, что человек может сохранить такую бодрость, пропустив через свои руки восемнадцать министерских портфелей. Заседать в восемнадцати кабинетах, восемнадцать раз быть свидетелем свержения правительства и сохранить способность смеяться, когда тебя уже предупредили о том, что путь к девятнадцатому портфелю тебе, вероятно, преградит бомба или пуля, — это не укладывалось в сознании Анри.

Поезд был уже далеко от Парижа, когда Анри пригласили в салон министра. Старик оглядел его, словно оценивая достоинства представителя Второго бюро.

— Прошу знакомиться, господа, — скороговоркой бросил министр и пробормотал что-то неразборчивое.

Из сидевших вокруг стола Анри знал в лицо только Леже — начальника кабинета министров, человека, пережившего на своем посту многих шефов и составлявшего гордость министерства, так как служил «самому» Бриану. Сцепив пальцы на столе перед собою, Леже смотрел в стоявшую перед ним чашку кофе и, казалось, не слушал того, что говорил Барту. Лица остальных были обращены к министру.

— Уверяю вас, господа, — с живостью говорил Барту, — мои выводы основаны на трезвом анализе обстановки и опыта истории. Жюль Камбон говорил: «Я не хочу иметь ничего общего с Советами. Я доволен тем, что мой возраст избавляет меня от необходимости жать руки их представителям. Но если бы я был у власти, то сделал бы все, что могу, для сближения Франции с Россией. Франция нуждается в помощи России, чтобы защитить себя от Германии. Без такой помощи она не выдержит». Это печально, но это так, господа, — произнес Барту и, обхватив двумя руками чашку, в которой поблескивала мутная смесь молока с эмсом, отпил несколько глотков. — Камбон говорил: «В 1914-м рус-

ские солдаты в Мазурских болотах выиграли битву на Марне». — И, быстрым взглядом обежав лица слушателей, Барту добавил: — Это факт, господа. Русские любят говорить, что факты упрямы. А я не люблю спорить с упрямцами, когда вижу, что спор кончается не в мою пользу. — И он покачал головой. — А вы, Леже, что вы думаете обо всем этом?

Леже поднял взгляд от своей чашки, посмотрел на министра и ничего не ответил. Взгляд его выражал согласие.

Чем больше Анри слушал министра, тем больше ему казалось, что утвердившаяся за ним репутация величайшего хитреца и притворщика не соответствует действительности. Анри знал, что о Барту говорили: «Иметь его в кабинете рискованно, но иметь его вне кабинета опасно». Говорили об его оппортунизме, о способности предавать друзей, на ходу изменять свое мнение по нескольку раз. И все это казалось Анри несовместимым с тем образом добродушного, прямого весельчака, какой предстал ему теперь. Журналисты в разговорах между собою тоже всегда хорошо отзывались о Барту: он никогда ничего не скрывал от них. Только предупреждал, что ничего из сказанного не должно появиться в печати. И если журналист обманывал его доверие, он навсегда исключал его из числа своих доверенных собеседников.

Судя по списку, лежавшему в кармане Анри, и сейчас за столом должно было сидеть несколько представителей прессы. Министр с откровенностью рассказывал о последней поездке по Европе, когда он вел «битву за восточное Локарно». В этой комбинации он видел противовес милитаризирующейся Германии и, следовательно, спасение Франции. Анри с удивлением услышал:

— Если мне не удастся осуществить этот план, — а мне кажется, что это уже не удастся, — война неизбежна. Война породит у нас большие, очень большие социальные перемены. — Барту насмешливо посмотрел на молчаливого Леже. — Не знаю, что сделал бы на моем месте Бриан... Если бы я мог это знать, то сделал бы то же самое.

Барту продолжал беседу с такой легкостью, словно и не говорил уже полчаса безумолку, и таким тоном, будто перед ним сидели не несколько журналистов и случайных спутников, а, по крайней мере, весь кабинет или палата.

Анри захотелось курить. Он покосился на соседей: курил ли кто-нибудь в присутствии Барту? Папирос ни у кого во рту не было, но на одной из пепельниц дымилась едва начатая сигара. Анри закурил с такой поспешностью, словно боялся, что кто-нибудь его остановит.

Сквозь облачко дыма он посмотрел на Барту. Ему казалось, что это облако служит прикрытием его любопытному вниманию. Лицо министра, его быстрая речь, воодушевление не давали повода подозревать какое-либо беспокойство за самого себя. Барту был занят совсем другими мыслями. Он вовсе не обольщался насчет личных качеств короля Александра Карагеоргиевича и его режима. Но он был убежден, что Югославия и союз с нею необходимы Франции. А раз Франция нуждается в Югославии, старик готов был разыгрывать друга короля, поскольку тот держал в руках власть. Он знал, что Александр сидел у себя в канаке, трясясь от страха перед тысячью всяких опасностей, которые видел со всех сторон. Барту был уверен, что рано или поздно Александра убьют. Он знал, что король Александр боится македонцев, боится своих собственных

офицеров: если они смогли с легкой совестью зарезать короля Александра Обреновича и его жену, королеву Драгу, чтобы посадить на престол отца Александра — Петра Карагеоргиевича, то почему бы им не зарезать самого Александра?.. Александр боится своего брата, Георгия Карагеоргиевича, которого сумел посадить в сумасшедший дом, но не решается убить. Барту знает, сколько усилий король тратит на то, чтобы оградить себя от возможного появления на воле принца Георгия. И Барту было досадно, что приходится строить свою политику на дрожащем от страха югославском короле.

Всего этого старик не сказал своим собеседникам. Речь шла о другом.

— Франко-русский пакт должен быть коллективным. Он должен быть согласован с договорами, по которым Франция имеет обязательства. Этот пакт должен быть открыт для всех: для Германии, равно как для России. Россия должна быть втянута в европейскую систему, иначе этой системе — конец.

Министр говорил, все больше оживляясь, словно возбуждаемый проектом, казавшимся ему единственным выходом из политического тупика, в который зашла Европа, а может быть, и весь мир:

— Восточное Локарно, господа! Воодушевляемый идеей спасения Европы от новой войны, надвигающейся еще прежде, чем заглохло эхо выстрелов прошлой, я не испугался холодного душа, которым меня облили англичане, как только я сунул нос в Лондон. Но и там нашелся человек, достаточно разумный, чтобы понять: без кардинального решения вопроса безопасности на востоке Европы — конец. Конец существующему порядку и — да здравствует социальный катаклизм! А за этим — хаос!.. Кстати говоря, — весело заметил министр и, оторвав руку от чашки с молоком, о которую

грел ладони, показал на Леже: — вот истинный автор проекта... Господин Леже, я говорю о вас!

Начальник кабинета кивнул головой.

— Должен сказать, господа, что все шло бы прекрасно, если бы этот долговязый тупица Риббентроп, едва появившись в Париже, сразу не заявил в ответ на предложение Леже: «Никогда!» Чисто прусский ответ, — с усмешкой сказал Барту. — Прусская система мышления... Леже, расскажите же, что было дальше!

Леже, не поднимая головы, проговорил:

— «Отказ от пакта будет серьезным шагом, — сказал я Риббентропу. — Не хотите же вы сказать, что отказываетесь включиться в какую бы то ни было систему безопасности?» — Начальник кабинета посмотрел на кого-то из сидевших напротив него и так же безучастно продолжал: — Господин Риббентроп ответил мне: «Мы не примем участия в вашем восточном Локарно никогда!» При этом он громко зевнул и, вытянув ноги, скрестил их, по-видимому полагая, что хорошо усвоил себе манеры британских дипломатов.

— Представляете себе, господа, эту фигуру? — подхватил Барту. — Немногим лучше этого господина оказался Бек. По-видимому, он забыл, что его попросили о выезде из Парижа потому, что поймали с поличным на шпионской работе, еще когда он был тут военным атташе. Не чем другим, как только хорошо оплачиваемой Гитлером приверженностью к фашизму, нельзя объяснить позицию этого человека. Но это было бы еще полбеды, если бы и сам Пилсудский не оставил во мне убеждения, что варшавские круги, безусловно, предпочитают немцев русским. Увы, господа, они сами не понимают, что лезут в петлю. Рано или поздно она затянется на их шее. Единственная, кто мог бы обеспечить безопасность Польши, — Россия... — Барту не-

которое время молчал, что-то вспоминая. — Как жаль, что с нами нет нашей милой мадам Табуи! Она могла бы вам рассказать, какое впечатление на нас произвел прием в Варшаве... да и в Кракове тоже. Полный отрыв от века. Судьба этой страны будет тяжела, если ее правители не одумаются...

— Или если она не найдет себе других правителей, — сказал кто-то из журналистов.

Барту посмотрел на него, как на ребенка.

— К сожалению, мосье, вы не знаете, что такое фашизм. Это не та болячка, которую легко сколупнуть. Может произойти большое, очень большое кровотечение...

Разговор сразу увял. Барту подлил в свое остывшее молоко еще немного эмса и сделал несколько глотков. Затем поднялся и молчаливым поклоном отпустил собравшихся.

В Марселе тоже не было дождя. В четверг, 6 октября, на освещенную солнцем площадь перед вокзалом вышли четверо приезжих. Плащи были перекинуты у них через руку. Им нечего было бояться промокнуть, как и вообще не нужно было ничего бояться. Они находились под тайной охраной «Боевых крестов» полковника де ла Рокка и всесильного префекта парижской полиции Кьяппа.

Кроне вполне доверял этой охране и счел излишним посылать в Марсель своих людей. Отто мог спокойно исполнять свои адъютантские обязанности у генерала Гаусса.

Вечером 8 октября Отто доложил генералу о приходе офицера разведки с секретным досье.

Гаусс с интересом прочел очередную стенограмму разговора, состоявшегося вчера, 7 октября, в Париже

между французским министром иностранных дел Барту и госпожой Женевьевой Табуи и втайне от них записанного на пленку службой Александера.

«Табуи: Вы, господин министр, возлагаете, по-видимому, большие надежды на свидание с югославским королем?

Барту: Да, теперь я действительно сделаю кое-что для моей страны. Не хотите ли сопровождать меня в Марсель для встречи с королем Александром?

Табуи: Благодарю, я предпочитаю подождать в Париже.

Барту: А, так вы боитесь, что на меня будут снова покушаться?

Табуи: Что заставляет вас думать, что будет покушение?

Барту: Кажется, в Марселе открыт заговор...»

Гаусс вызвал полковника Александера:

— Если о заговоре знает Барту, значит, заговор открыт?

Александер улыбнулся:

— Французы не обращают внимания даже на открытые предупреждения прессы. Это свидетельствует о том, что нам не хотят противодействовать.

На следующий день, в воскресенье, 9 октября, Отто собирался поехать вечером с Сюзанн в варьете и решил отдохнуть после обеда. Но едва он успел улечься, как радиоприемник сообщил последнюю новость: в Марселе убиты югославский король Александр и французский министр иностранных дел Барту.

Отто с досадой щелкнул пальцами: награда прошла мимо него! Впрочем, он имеет тут свою долю. Разве дело на фуникулере Сан-Сальвадор не помогло осу-

ществлению операции? Он получит свое с Кроне! Сегодня есть за что выпить с Сюзанн!

Отто выпил бы, пожалуй, и двойную порцию, если бы знал, что этот вечер явится его последним свободным вечером на целые полгода вперед. Со следующего дня во всех военных учреждениях и штабах Третьего рейха началась лихорадочная работа, какой офицеры не помнили со времен мировой войны.

Для Германии путь к разрыву военных статей Версальского договора можно было считать открытым. Еще несколько выстрелов в разных концах Европы — и заготовленный текст закона о всеобщей воинской повинности можно будет опубликовать. В могилу сошел едва ли не единственный министр Франции, видевший далеко вперед. Несмотря на нависшую над ним опасность третьего покушения, — после неудавшихся первых двух, — Барту пытался протянуть руку на восток: за Одер, за Вислу, за Днепр. Очередь из немецкого пулемета, направленная рукою усташского наемника, купленного итальянскою овра, пресекла эту попытку.

В тот же вечер, 9 октября 1934 года, генерал Гаусс прямо из штаба приехал в любимый ресторан «Хорхер». За своим столиком, в четвертой нише слева, он поднял рюмку «Сан-Рафаэля» и сказал сидевшему напротив Прусту:

— За возрождение германской армии!

— Хох! — ответил Пруст. Он пил шампанское. Он не боялся алкоголя. От него только делался лучше цвет его и без того румяного лица.

В нескольких шагах от «Хорхера», на той же Люттерштрассе, в своем корреспондентском бюро Роу с досадой скомкал листы вечерних газет и бросил их в

корзину для мусора. Он принялся приготовлять коктейль. Это было его обычное питье такой крепости, что у секретаря бюро Джонни от первого же глотка глаза вылезали на лоб. Роу сам придумал коктейлю название «Устрица пустыни», нравившееся ему своей нелепостью.

— К дьяволу! — вдруг проворчал Роу после второй рюмки.

Джонни не понял:

— О ком вы, патрон?

— Дай вам бог никогда не дожить до сознания, что все, что бы вы ни делали, делается впустую.

— Приятный тост, — рассмеялся Джонни. — Однако я все же надеюсь, что со временем мир поумнеет.

— Мир — может быть, но Уайтхолл едва ли. Так и не сделали ничего, чтобы заставить немцев заплатить подороже за успех в Марселе... Эдак они вовсе перестанут слушаться...

— Так мы возьмем их в работу! — сказал Джонни.

— Кто это — «мы»?

— «Сыновья святого Георга»!

— Разве «Сыновья» еще не слились с лигой Мосли?

— Формально — да, но мы не дадим себя слопать никому. Мосли мягкотел. Нужно более решительно перенимать здешние методы.

— Они вам больше нравятся?

— В этом смысле мы должны признать преимущество немцев.

Роу приготовил себе новую рюмку коктейля, удвоив дозу виски.

— А мне кажется, малыш, что англичанину не следует перенимать ничего, что идет с континента. У нас свой путь, своя жизнь: англичанин, дитя мое, никогда не может стать европейским патриотом. Мы сами по

себе; мы островитяне, жители шестой части света. Вот что должны понять на Даунинг-стрит.

Джонни расхохотался:

— Первый раз вижу вас таким непоследовательным, патрон! Вы же только что топтали сообщение об убийстве Барту. Значит, оно вас трогает?

— В той мере, в какой развязывает руки Герингу. Когда он построит свою воздушную армаду, островное положение нашего королевства станет фикцией.

— О-о! К тому времени мы окончательно договоримся с Гитлером!

— Вот тут-то вы и ошибаетесь, сынок. Ни с тем, ни с другим нельзя договориться. Ни одному из них так же нельзя верить ни в полуслове, как нам самим, — заявил Роу. — Мы не должны зависеть ни от Гитлера, ни от Муссолини. Только тогда мы сможем не дать втянуть себя в кавардак, к которому идет Европа.

— Если мы с ними не объединимся, то никогда не сможем переломить хребет коммунизму.

Роу отбросил корку лимона, которую с гримасой обсасывал.

— Вы не слишком сообразительны, дитя мое. — Он обмакнул в сахар новый ломтик лимона. — Один умный англичанин сказал: «Мы являемся первым народом на земле. Чем большая часть мира принадлежит нам, тем лучше для человечества». Правда, это чертовски смахивает на болтовню «фюрера», но тем не менее верно, потому что касается именно нас. И именно потому, что это верно, нужно вспомнить то, что сказал другой англичанин, тоже не дурак: «Большую часть тех сражений, которыми мы завоевали Индию, вели наши войска, составленные из индусов; почти все войны за покорение для нас Африки вели для нас черные».

— Все это не так уж ново, — зевнув, заметил Джонни.

— Не перебивайте старших! Горе в том, что мы теряем старые преимущества. Мы слишком далеко пошли навстречу Гитлеру. Это может плохо кончиться.

— Мы должны были протянуть ему руку, если нам по пути.

— В том-то и заключается парадокс: нам слишком по пути, чтобы идти вместе. Дорожка слишком узка. Один непременно должен с нее сойти. А рядом с дорожкой — болото или даже пропасть. Вопрос — кто кого туда столкнет. Вопрос простой, но, увы, неясный!..

А в вилле Берхтесгаден, заканчивая этот же вечер в тесном кругу, Гитлер поднял бокал, наполненный лимонадом, и провозгласил короткий тост:

— За конец наших неприятностей с Францией!

Геринг и Гесс тоже подняли бокалы.

— И за нашего друга Лаваля! — сказал Гитлер.

— Эта скотина стоит нам слишком дорого, чтобы еще пить за него, — возразил Геринг.

Гитлер посмотрел на часы и сказал:

— Да, теперь он уже принял портфель министра иностранных дел Французской республики. За Лаваля, за Лаваля! — Гитлер отстукал ногами под столом чечетку.

Гесс подергал себя за мохнатую бровь.

— Я думаю, — сказал он, — что благодаря последним событиям вопрос о Франции можно считать решенным.

— Да, можете считать его решенным, — проговорил Гитлер. И все поняли, что ему хотелось добавить: «благодаря мне», но вместо того он крикнул Геббельсу: — Ты с ума сошел, Юпп! — Геббельс с недоумением оглянулся на Гитлера. — Не торчи у клетки, ты

разбудил Сисси. — Гитлер подошел к клетке с канарейкой и, сложив губы трубочкой, почмокал: — Тю, тю, тю... Сисси, нужно спать. — И совершенно тем же тоном, словно продолжая беседу с канарейкой, продолжил: — Рудольф, передай Риббентропу, что я должен сделать заявление о нашей дружбе в отношении Польши... В Варшаве мечтают о свободе от французских объятий. Теперь самое подходящее время заменить эти объятия нашими. А вам, Геринг, хорошо бы поскорее воспользоваться приглашением польского президента и поохотиться в Беловежской пуще... Говорят, там прекрасная охота. — Он снова сделал губы трубочкой: — Ну, ну, Сисси, не волнуйся, спи. Эти противные люди мешают Сисси спать!.. Так мы их сейчас прогоним...

На другом конце Германии, в расположенном над Рейном дворце, носившем скромное название «Вилла Хюгель» и принадлежавшем семейству Крупп фон Болен унд Гальбах, этот день не был отмечен никакими торжествами, хотя к семейству Крупп события последних дней имели самое прямое отношение.

Причиной спокойствия, царившего в «Вилле Хюгель», было то, что именно там, больше чем где-либо в другом месте, знали обо всем, что должно было произойти, и о том, что еще не произошло, но случится в ближайшие дни. Хотя старый Густав Крупп был не потомственным промышленником и коммерсантом, а всего лишь дипломатом средней руки и даже вовсе не был Круппом, а стал им лишь в силу специального «высочайшего» акта Вильгельма II, когда женился на Берте Крупп, но за тридцать лет хозяйничанья в величайшем европейском предприятии средств уничтожения он не только впитал опыт своих предшественников, но и приобрел все качества скупца. Он не привык бросать деньги на ветер.

В свое время фельдмаршалы, кронпринцы и даже кайзеры гогенцоллерновской Германии, турецкие паши и султаны, болгарские и румынские монархи состояли на откупе фирмы Круппа, чтобы раздувать военные бюджеты вооружения и увеличивать армии. За сходные проценты они готовы были перекачивать народные деньги в кассу Круппа в обмен на пушки, на броню, на военные материалы и металл, предназначенные к уничтожению в беспощадном горниле войны.

У старого Густава не было никаких оснований считать, что паршивый ефрейторишка, которого они, магнаты Рура, сделали главою германского государства, и авиационный капитан Геринг, которого Крупп одел, обул и вылечил от безумия на свои деньги, имеют право быть менее старательными, чем кайзеры и султаны. Круппу было необходимо воссоздание немецкой армии, ему было нужно вооружение Германии. Тайное или явное — безразлично. Он больше не боялся огласки своей деятельности после того, как американцы влили свои миллиарды в тяжелую промышленность Германии. Доллары Моргана смешались с марками Круппа в единый поток, оплодотворяющий ниву германской индустрии вооружений. Как в Рейне не отделишь воду Мозеля от воды Неккара, так не отделишь теперь марки от долларов, прибыли Моргана от прибылей Круппа. Теперь у Круппа достаточно надежные соучастники в деле вооружения Европы. Эти сумеют заткнуть рот всякому, кто покусится на их прибыли. Значит, дело пойдет. Вооружение Германии неизбежно вызовет вооружение Франции и Англии. Шнейдер и Виккерс были связаны тайными отношениями с Круппом. Через них французские налогоплательщики пошлют в Эссен свои франки, предназначенные на пушки для уничтожения немецких солдат; англичане дадут свои фунты, не по-

дозревая о том, что и они в конце концов притекут в карман Круппа и послужат для изготовления пушек, которые будут стрелять в английских солдат.

В свою очередь, вооружение Германии, с одной стороны, и Англии и Франции — с другой, вызовет вооружение их сателлитов. Анкара, София, Белград, Бухарест, Прага — все начнут скрести в карманах, чтобы что-нибудь послать Круппу, Виккерсу, Шнейдеру. А Крупп, Шнейдер и Виккерс отдадут долю Моргану. Морган же пошлет деньги в Германию. Кровообращение бога войны возобновится...

В тот вечер в курительной комнате «Виллы Хюгель» сидели трое: сам старый Густав Крупп, его второй сын, Альфред, и шурин Тило фон Вильмовский. Старик зябко ежился в глубоком кресле напротив камина и щурился на огонь. Кокс горел так ярко, что даже сквозь экран тепло приятно обвевало больные колени старика.

Альфред и Тило сидели по сторонам курительного столика. Все трое молчали, переваривая недавний обед.

Тишину нарушил Густав. Негромко, так, словно ему было лень говорить, пробормотал:

— Кажется, Гитлер оправдает наши надежды, а?

— Такого расторопного малого у нас давно не было, — ответил Альфред.

— Толковый парень, — согласился Тило.

— Можно сказать, что мы довольны... я доволен, — проскрипел Густав. И после некоторого колебания прибавил: — Надо сделать ему подарок.

— Я дам приказ открыть ему счет под каким-нибудь условным именем, — предложил Тило.

— Только, пожалуйста, не в Берлине, — встрепенулся Альфред. — Там кишит всякая дрянь, сующая нос в наши дела.

— Гитлер отучит их от любопытства, — злорадно проговорил Тило.

Но Густав перебил:

— Альфред прав: ты, Тило, можешь сделать подарок через твой Лендербанк.

— Да, венцам до этого нет дела, — подтвердил Тило. — Но было бы ошибкой ограничиться подарком фюреру. Наци заслужили свое, вся компания.

— Разумеется, — не с очень большим воодушевлением ответил Густав. — Но я вовсе не намерен отдуваться один. Пусть Пеноген и Пфердменгес примут участие. Эти в первую очередь. А вот химиков хорошо бы выбросить из игры. Пусть Гитлер останется без подарка от «ИГФИ», а?

— Постараюсь, папа, — неуверенно ответил Альфред. — Боюсь, однако, что Бош уже сунул ему что-нибудь.

— Так сунь вдвое! Машина должна вертеться на нашей смазке, — сонно вымолвил старик.

Он концом ботинка отодвинул каминный экран так, что яркий отблеск пылающего кокса упал ему на лицо. Старик блаженно зажмурился и откинул голову на спинку кресла. Альфред и Тило еще некоторое время молча сидели на своих местах. Потом тихонько поднялись и, ступая на цыпочках, покинули курительную. Густав не шевельнулся. Он спал. В шестьдесят лет пищеварение требовало покоя.

## 17

Если не считать вступления СССР в Лигу Наций, все остальные политические события зимы 1934—1935 годов не имели первостепенной важности и по-

тому обращали на себя сравнительно мало внимания европейского общества.

В самом деле, какому французу могло тогда прийти в голову, что поездка Лаваля в Рим, по частному приглашению Муссолини, будет иметь неизмеримо большее значение, чем то, что Стависский подделал на тринадцать миллионов франков облигаций Байонского ломбарда?! Тринадцать миллионов франков — сумма, способная привлечь к себе внимание не одних только мелких буржуа. Особенно, когда пошли скандальные слухи о том, что в дележе добычи принимали участие довольно высокопоставленные лица и почти открыто называлось имя все того же префекта парижской полиции Кьяппа. Одно это легко могло затмить римскую встречу Лаваля с Муссолини, тем более что ни тот, ни другой не старались рекламировать истинную суть своих переговоров. Поэтому мало кто обратил должное внимание на то, что в январе 1935 года в обмен на мелкие и весьма условные уступки Муссолини получил от Лаваля не только гарантию невмешательства Франции в африканские планы Италии, но даже кусочек африканского побережья, необходимый «дуче» для подготовки вторжения в Абиссинию.

Мало кто знал, как беспокоило Муссолини отношение к этому вопросу «африканской державы» Англии и как «дуче» приплясывал от радости, когда разведка доставила ему копию секретного доклада так называемой комиссии Мэрфи, решительно заявившей своему правительству, что Англия не заинтересована в Эфиопии и что для нее было бы даже выгодно появление там итальянцев.

Никто, кроме самого «дуче» и его посла в Лондоне, не мог бы сказать, во что обошлось итальянской каз-

не такое странное заявление англичан, противоречащее здравому смыслу и очевидным интересам Англии.

Впрочем, покладистостью Лондона и Парижа мог похвастаться не один Муссолини. Гитлеру тоже удалось заручиться заверениями англичан, что вопрос о Саарской области признается «чисто немецким». Поэтому ему ничего и не стоило, присоединив к своим пропагандистским плакатам дубинки штурмовиков, выколотить из саарцев нужный гитлеровцам результат плебисцита 13 января. Саар был включен в рейх.

Этой же зимой приступил к своей деятельности скромный молодой человек по фамилии Отто Абец, приехавший во Францию в качестве частного эмиссара Риббентропа. Лишь очень немногие знали, что он появился в Париже вовсе не для того, чтобы организовать сближение между интеллигентной молодежью Франции и Германии, а для того, чтобы растлить французов разных возрастов и положений и помочь фашистскому отребью Франции и ее политиканам-предателям бросить их отечество в пасть нацизма.

Примерно в то же время в обратном направлении переехал германскую границу посланец «доброй воли» британских профашистов лорд Аллен Гартвуд. Все, что сказал ему Гитлер об отсутствии у Германии агрессивных планов, этот лорд цитировал потом в Англии как страницы Евангелия.

Предостережения Советского правительства об опасности отказа от принципов коллективной безопасности преступно игнорировались правителями Европы. Словно в ответ на советскую ноту от 20 февраля английское правительство 21-го официально уведомило немцев о готовности начать двусторонние переговоры о вооружении.

Далеко не все в Европе оценивали истинное значение этого события, но в Берлине знали ему цену и 1 марта 1935 года отпраздновали его торжественным парадом бомбардировочной эскадрильи — первого официального детища Геринга.

Расследование дела об убийстве Барту правительством дряхлого Думерга поручено сенатору Андре Лемери. Вильгельм фон Кроне мог спать спокойно: Лемери был активным членом «Боевых крестов». Убийцы французского министра и югославского короля продолжали оставаться под защитою господина Кьяппа и де ла Рокка.

— Вы видите, — сказал Кроне Отто Швереру, — все устраивается как нельзя лучше в этом лучшем из миров!

На этот раз их свидание не носило делового характера. Они встретились в кондитерской за чашкою кофе. Это было их первое свидание вне служебной обстановки. Кроне держался как хороший знакомый. Он отбросил газеты, в просмотр которых был углублен.

— День, который вам стоит отметить в памяти, — сказал он и постучал пальцем по столбцу газетного листа. — Лаваль — талантливый негодяй.

— Не имею чести знать.

— Вы с вашей трусостью и пристрастием к бабам никогда не подниметесь настолько, чтобы войти в круг деятелей такого полета!

— Чем он привел вас в такой восторг?

Кроне снова, словно для убедительности, постучал по газете:

— Выступление господина министра иностранных дел в Совете Лиги Наций! Лаваль доложил Совету Лиги, что убийц Барту следует искать. — Кроне засмеялся. — Ну же, догадайтесь, где?..

— Он, наверное, решил свалить все на итальянцев.

— В Будапеште, мой друг, он увел следы в Будапешт! У Лаваля есть хватка. Он переносит практику своей профессии трактирщика в политику. Недаром говорят, что белый галстук — единственное светлое место в его личности.

— И ваш Лаваль ничего не смог бы сделать, если бы хоть один из усташей попал в руки французской полиции.

— Как бы не так! Во-первых, Кьяпп поклялся, что ни одного из убийц не возьмет живьем. А трупы, как известно, молчат.

Отто свистнул:

— Клятва Кьяппа!

— За нее было достаточно хорошо заплачено, чтобы она заслуживала доверия даже в устах господина парижского префекта. А кроме того, на всякий случай в кармане каждого усташа лежал билет коммуниста. Билет был, конечно, поддельным, но, честное слово, удайся Кьяппу предъявить прессе хотя бы один труп коммуниста, история получила бы не худший резонанс, чем фокус с рейхстагом! С тою разницей, что тут невозможны были бы никакие разоблачения Димитрова... По-видимому, мы совершили и тут ошибку. — Он грустно покачал головою: — Вот если бы вам хоть немножко ума, Шверер.

— Ну, вы уж очень... — обиделся Отто.

Кроне поднял рюмку и чокнулся с Отто.

— Вы трус. Из-за этого вы недавно лишились интересной работы.

Отто настороженно поднял голову.

— Нам нужен был свой человек около вашего отца, генерала Шверера, — пояснил Кроне. — Кто знает, что может прийти в голову этому старому сумасброду.

— Кроне!

— Ну, ну! Не делайте вида, будто понимаете, что такое сыновнее чувство.

Кроне отхлебнул коньяк, запил его глотком кофе и пересчитал блюдечки из-под рюмок, стоявшие у его прибора.

— Вы, Шверер, даже не способны пить как мужчина. А ведь сегодня стоило бы выпить! Право, Саарский плебисцит — детская игра по сравнению с тем, что мы переживаем сегодня. Кстати, как поживает ваш Гаусс? Все еще ворчит?

— Ну, что вы!

— Нужно изучать своих начальников, мой милый, — наставительно произнес Кроне. — Начинается большая игра. Мы должны знать каждый шаг этого старого фазана. Ясно? Завтра мы должны с вами повидаться. Речь пойдет о вашем старике.

— Об отце?

— Не валяйте дурака. Ведь пьян я, а не вы. Я говорю о Гауссе. Я назову вам лиц из его окружения, которые нас интересуют. Тут каждое слово будет играть роль, понимаете?

— Понимаю, — ответил Отто. Он снова почувствовал себя мельчайшим винтиком в сыскной машине — и только. Никаких перспектив, о господи!..

Отто поднялся:

— Мне пора.

— Идите, мой маленький трусишка, — пьяноласково проговорил Кроне. — И по случаю праздника поцелуйте Гаусса в его синий зад от меня, от Вильгельма фон Кроне. Ясно? Эй, обер, почему у вас нет музыки? Нет, к черту патефон! Вы разве не понимаете, что в такой день во всяком приличном доме должно быть включено радио? Я хочу слышать голоса моих вождей, хочу слышать марши, топот ног солдат!.. Пст! Живо!

Испуганный кельнер бросился к приемнику и повернул выключатель. Лакированный ящик угрожающе загудел...

## 18

Приемник в гостиной Винеров перестал гудеть. Послышался марш. Оркестр гремел медью труб и литавр. Пронзительно заливались флейты.

— Что ни говори, а мы, немцы, мастера на марши! — проговорил Винер. — Трум-ту-тум, трум-ту-тум! Под этакую музыку замаршируют и покойники. Послушай-ка, Труда!

Фрау Гертруда вместо ответа подошла к приемнику и с раздражением повернула рычаг. Из ящика хлынула барабанная дробь и свист военных дудок. Еще поворот — хриплые выкрики, похожие на лай простуженного дога. И снова барабаны, оркестр, истерический лай ораторов.

Национал-социалистская Германия праздновала «исторический» день. Это происходило 16 марта 1935 года, когда был назначен первый призыв новобранцев.

— Прекрати же этот шум, Вольф! — рассердилась фрау Гертруда.

А Винер пристукивал носком ноги:

— Трум-ту-ру-тум!.. Вот и господин Фельдман скажет, что это не так уж плохо. Ведь вы старый вояка, господин Фельдман?

Портной сидел на корточках у ног Винера и отмечал мелком неверный шов на штанине.

— При этих звуках, господин доктор, я испытываю то же, что должен чувствовать бывший каторжник, когда слышит звон наручников.

— Весьма патриотические образы.

— Я бывший старший ефрейтор... Как пиджачок?

— Вам не кажется, что проймы немного тянут? Видите, какая складка идет от них по спине?

— Ничего не стоит сделать так, чтобы они не тянули, — услужливо сказал Фельдман, снова вооружаясь мелом. — Но я вам скажу: теперь, когда я встречаю на улице офицера, то сразу начинаю хромать на обе ноги. Точно мне на старые мозоли надели новые ботинки... Вам нравится такой лацкан? Фрау доктор, взгляните только, какой замечательный лацкан!

— Я вам говорю о проймах, господин Фельдман, а не о лацкане, — раздраженно сказал Винер. — Теперь вы, пожалуй, напрасно стали бы беспокоить рейхсвер, даже если бы загорелись желанием сделать военную карьеру!

— Скажите мне на милость, чем такой немец, как я, отличается от всякого другого? Мой дед и дед моего деда выросли здесь. Дедушка получил свою военную медаль под Седаном за то же, за что я свой Железный крест у Дуомона: за несколько стаканов своей крови. При всякой переписи мы писали в рубрике национальности «немец». Так почему же теперь я должен писать «иудей»?

— А вам это не нравится?

— Это уже стоило жизни моему мальчику... — Портной отвернулся. — Когда я вспоминаю, что с ним сделали на пароходе его же товарищи, такие же немецкие мальчики, как и он...

— Не совсем... не совсем такие же, господин Фельдман.

— Не бойтесь говорить со мною откровенно, господин доктор, как-никак мы с вами бывшие партийные коллеги.

Несколько мгновений Винер смотрел на портного, удивленно моргая, потом спросил с некоторым испугом:

— Что вы имеете в виду?

— Разве мы оба не старые социал-демократы?

Винер рассмеялся — громко и заливисто, схватившись руками за трясущийся живот.

— Ну и чудак же вы, Фельдман! — задыхаясь от смеха, проговорил он. — Можно подумать, что вы проспали несколько лет. «Мы с вами старые социал-демократы!» — и Винер снова рассмеялся.

— Разве я сказал что-то несуразное? — спросил портной.

— Продолжив свою мысль, вы, чего доброго, еще назовете себя ближайшим родственником фюрера, поскольку «вы оба» происходите от Адама.

— Нет, господин доктор, этого родства я не ищу.

— Ага, вот тут-то и зарыта собака! Вы не ищете, а я был бы не прочь его найти.

— Я боюсь верить своим ушам! — воскликнул Фельдман.

— Так прочистите их хорошенько, и я вам повторю: с тех пор как Социал-демократическая партия Германии самораспустилась...

— Мы не самораспускались, доктор, мы рядовые члены. Это вы объявили нас распущенными, вы, руководство.

— К счастью, руководство действительно принадлежало нам, разумным людям, а не таким, как вы, милейший, — людям без прошлого и будущего, с одним сегодняшним днем.

— Я вас с трудом понимаю.

— А между тем это так просто: к власти пришли социалисты...

— Национал-социалисты!.. У вас поворачивается язык называть так этих разбойников?

— На вашем месте я не болтал бы лишнего. В случае чего вас не спасет ваш старый железный крестик.

— Я знаю, они с удовольствием водрузили бы надо мною большой деревянный.

— Потому что вы ничего не понимаете в истории.

— Такую «историю» я отказываюсь понимать. Это плохая история, доктор.

— А мы считали тогда и считаем сейчас, что, уступив свое место национал-социалистам, поступили именно так, как требовали интересы немцев.

— Разумеется, — иронически произнес портной, — тех немцев, которые сидят в собственных виллах, немцев, которые, как вы, владеют заводами или универсальными магазинами, копями или пароходствами, — таких немцев!

— В вас говорит нехорошая зависть, Фельдман, зависть к вашим более удачливым и счастливым соотечественникам. — Винер подумал и напыщенно добавил: — Германский народ одобрил наши действия.

— Народ? — при этом вопросе Фельдман смешно сморщил лицо и покачал головой. — Наши социал-демократические бонзы всегда смешивали эти два понятия — народ и обыватель.

— Не будем заниматься столь глубоким анализом, дражайший, — проворчал Винер, — сейчас не время!..

— Анализ? Какой уж тут нужен анализ!.. Разве это не ясно само собой: не будь я евреем и не откройся у меня глаза на правду только из-за того, что с меня хотят содрать шкуру, наши социал-демократические вожди, болячка их задави, и меня самого тоже передали бы нацистам по списку вместе с живым и мертвым инвентарем своей, извините за выражение, «партии».

— И это было бы куда полезнее для вас, чем противостоять теперь народу!

— Германский народ! Соотечественники! А два миллиона немцев, что сидят в концентрационных лагерях, — это не соотечественники? Четыре миллиона безработных, которые слоняются по очереди за плошкой супа, — это не такие же труженики, как мы все? Нет, господин доктор, наци — это совсем особая порода! Их нельзя мерить вот этим простым немецким метром...

— Вам следовало стать столь же необходимым государству, как, скажем, мой коллега, доктор Хейнкель. Он уже почетный ариец!

— Самолетный фабрикант и портной — это же разница, — вздохнул Фельдман. — Я тоже по-своему хотел стать необходимым. Для портных господа военные никогда не были выгодными заказчиками, — им всегда нужен кредит. Вы знаете старый стишок:

Ofizier, Herr Ofizier!
Goldene Tressen. —
Nichts zum fressen! [1]

И все-таки я взял двух военных клиентов. Один из них, генерал Гаусс, получил повышение и перешел к Бенедикту. Только потому, что тот берет двести марок за то, что у меня стоит двадцать. А второй, фон Шверер, довольствовался чаще переделками, а теперь взял да и уехал. И, говорят, надолго. Чуть ли не в Китай.

— Вот как! — заинтересовался Винер и протянул Фельдману сигару. — Кто вам говорил про Китай?

[1] Офицер, господин офицер! Галуны золотые, а жрать нечего!

— Кто говорит с портным в генеральском доме, господин доктор? Конечно, прислуга.

Винер покровительственно похлопал портного по спине:

— Когда вам будет нужно что-нибудь от генерала Шверера, приходите ко мне.

Попыхивая сигарой, он снисходительно смотрел, как Фельдман завертывает костюм в кусок черного коленкора. Может быть, сто и двести лет тому назад такие же маленькие сгорбленные предки Фельдмана так же бережно завертывали в потрепанный черный платок камзолы предков Вольфганга Винера. В общем, все казалось ему довольно устойчивым на этом свете. В каждую историческую эпоху существовали люди, норовившие надеть на евреев желтый колпак. Большой беды, по мнению Винера, в этом не было.

Винер стоял перед портным — большой, крепкий, на толстых ногах, обтянутых голубым шелком кальсон. Тщательно подвитые волны холеной бороды закрывали галстук. Увидев себя в зеркале, Винер подумал, что в одной этой бороде отражено больше благополучия, чем во всей фигуре Фельдмана. Он с наслаждением приподнял тыльной стороной ладони шелковистый клин бороды и подержал его, точно взвешивая.

— С такою бородой можно чувствовать себя человеком, а? — с усмешкой бросил он с высоты и, величественно подняв голубую ногу, сунул ее в штанину, поддерживаемую портным. Застегивая помочи, он поворачивался перед зеркалом. — Небо и земля — эти старые брюки и те, что вы принесли сегодня! А ведь и те другие — ваша работа. — Он дрыгнул толстою ляжкой. — Это же штанина!

— Кто однажды сделал хорошо, может сделать хорошо еще раз, — заискивающе проговорил Фельдман.

Потерять клиента? Этого еще не хватало! Проклятые наци так издергали нервы, что иголка валится из рук!

— Еврею становится трудно работать, господин доктор.

Сказать до конца то, что он думает о наци, Фельдман больше не посмел. За последнее время доктор Винер изменился. Вероятно, это происходило из-за того, что его военные заводы получали все новые и новые заказы от наци. Этого не знали только те, кто не хотел знать.

Портной так и ушел, ничего больше не сказав.

— Трудхен! — крикнул Винер в соседнюю комнату. — Ты не находишь, что пора прекратить пользоваться услугами этого еврея?

— Только потому, что он еврей?

— М-м... Он утратил чувство линии!

— А ты всегда хочешь покупать марку за пфенниг?

— Трудхен, ты имела достаточно времени, чтобы понять: твой муж может купить марку и за грош, но только не в том случае, если она фальшивая. А портной из евреев в наши дни выглядит именно так!

Она решила переменить разговор.

— Ты не забыл, что мы завтра у Швереров?

— Если правда, что он уехал в Китай, с визитом можно и подождать... Пошли Эмме ее любимые хризантемы.

— Должна тебе сказать, что с некоторых пор Эмма принимает меня довольно холодно.

— Пустяки, Трудхен, — ласково сказал Винер жене, — все должно выясниться в ближайшие дни. Если дела пойдут так, как логически должны идти после сегодняшнего шага фюрера, мы снова встанем на ноги и Эмма станет любезнее, чем прежде.

— Мне нужно поговорить с тобою очень серьезно, — начала было фрау Гертруда, но в это время во-

шла Аста, а именно о ней-то мать и собиралась говорить: между Астой и младшим Шверером, Эрнстом, началось что-то вроде флирта.

Винер воспользовался первым попавшимся предлогом, чтобы улизнуть из дому. В такие весенние дни его всегда неудержимо тянуло на улицу. Он даже не вызвал Лемке, а, смешавшись с толпою, пошел пешком.

Он шел, делая в уме кое-какие расчеты и нет-нет поглядывая на встречных женщин.

Да, лед уже тронулся: первые военные заказы поступили еще раньше, чем стало известно, что правительство решило не считаться больше ни с какими ограничениями вооружений. Но это далеко не все, на что рассчитывал Винер, в особенности после сегодняшнего события: всеобщую воинскую повинность восстанавливают не для того, чтобы делать парады и выводить на них юношей с лопатами!..

При приближении к Виттенбергплатц Винера отвлекли от размышления звуки военной музыки. Молодые люди с повязками, на которых чернела свастика, четко отбивали шаг. Они были в штатском. От этого их шагающие по-гусиному ноги и руки, напряженно выгнутые в локтях с будто прилипшими к бедрам ладонями, вздернутые подбородки и истуканоподобная неподвижность лиц — все казалось неестественным, неправдоподобным, как видение похороненной кайзеровской Германии. Но это были живые новобранцы первого гитлеровского призыва. Ведь сегодня был первый день существования новой, массовой германской армии, пришедшей на смену профессиональному рейхсверу.

И вдруг все замерло. Застыла колонна новобранцев. Умолк оркестр. Повернулись лицом к площади прохожие: шуцман поднял жезл!

Навстречу колонне из улицы Клейста выехало несколько военных автомобилей. Флажок трепетал на сером крыле передней машины. В ней, откинувшись на спинку, сидел генерал Гаусс. Рядом с шофером, вытянувшись и не глядя по сторонам, словно у него болела шея, восседал Отто.

Пруст сидел в следующем автомобиле вместе с еще каким-то генералом. И в остальных автомобилях сидели офицеры.

При виде колонны новобранцев шофер Гаусса замедлил ход, давая им время перестроиться, чтобы пропустить генеральский поезд.

Отрывистая команда, быстрое построение. Новобранцы подняли руки. Гаусс нехотя притронулся двумя пальцами к козырьку. Черт бы их драл с их дурацким воспитанием! Они будут поднимать свои лапы на праздниках и в пивных, где им угодно, но не в строю!..

Когда автомобиль Гаусса поравнялся с головою колонны, грянул оркестр. Морщины на лбу Гаусса разгладились. В конце концов, эти молодые дураки — все-таки немцы. Из них сделают настоящих солдат. Он выпрямил длинную спину и снова приложил пальцы к фуражке, на этот раз с выражением удовольствия.

Вырвавшись из скопления людей, автомобили понеслись дальше. В заднем лежал венок из живых роз. Этот венок Гаусс возложит на могилу Шарнгорста от имени армии и своего собственного. Кто он сам, генерал-полковник Гаусс, как не новый Шарнгорст новой Германии!

Венок был возложен на могилу. Были сказаны речи. Гаусс брезгливо отмахнулся от фотографов и, предоставив другим генералам позировать для вечерних газет, уехал.

Итак, шестнадцать корпусов и тысяча самолетов первой очереди — только начало. Гитлер лично приказал держаться в официальных выступлениях самого миролюбивого тона. А ведь Гитлер теперь «верховный главнокомандующий» вооруженными силами! Вислозадый сфрейтор добился-таки этого звания назло всем генералам! Конечно, это простая формальность. Кто же поверит тому, что генералы дадут ему долго распоряжаться! Еще несколько актов, подобных сегодняшнему, — ремилитаризация Рейнской зоны, ликвидация Польского коридора, возвращение Мемеля, аншлюсс Австрии, присоединение Судет, возвращение кое-каких колоний, — и господина «национального барабанщика» можно будет сдать в архив.

«Одним словом, — подумал Гаусс, — как только мавр сделает свое дело... Но пока еще хайль мавр!»

## 19

Сэр Монтегю Грили всегда останавливался в «Кайзерхоф». Поэтому его неприятно удивило, что портье подсунул ему длинную анкету, словно видел его впервые. Идиотские вопросы анкеты свидетельствовали о том, что кого-то интересуют обстоятельства совершенно частной жизни сэра Монтегю. О таких вещах в Англии не посмел бы расспрашивать даже духовник. Немцы, никогда не отличавшиеся особой тонкостью, как видно, окончательно потеряли чувство меры!

Монтэгю отослал анкету незаполненной и приказал слуге больше не беспокоить его по пустякам. В самом деле, он прибыл сюда не для заполнения анкет! Политический термометр Европы лез вверх непропорционально быстро по сравнению с тем, как весеннее солнце нагревало воздух. Дела с Рейнской зоной шли к оче-

видному и близкому концу. Для Монти это не могло быть тайной. Не напрасно же он имел честь заседать в секретном комитете по изучению рейнской проблемы! Формула Саймона о равенстве в вооружении давно сменила тезис Болдуина о том, что граница Англии проходит по Рейну.

Шум, поднимаемый британскою прессой вокруг немецких угроз, не больше, чем дымовая завеса для сокрытия от общественного мнения истинного смысла событий.

Для Монти события эти имели двоякий смысл. Во-первых, правительство его величества отказалось от точки зрения на коричневую шайку как на неких выскочек, с которыми можно иметь дело только негласно. Во-вторых, после занятия Гитлером Рейнской демилитаризованной зоны не придется уже сомневаться в дальнейшем движении немцев к поставленной ими себе цели окончательного вооружения Германии. Последнее соображение и было причиной тому, что Монти предпринял поездку в Берлин. По некоторым данным в критическом положении находится дело известного знатока реактивной техники -- доктора Вольфганга Винера. Была возможность прекрасно устроить свои дела путем сделки с Винером.

Монти проконсультировался по этому вопросу с некоторыми отечественными специалистами и пришел к выводу, что если работы Винера увенчаются успехом, то в его руках окажется оружие, которому не будет цены. По мнению Монти, Винер находился в достаточно трудном положении, чтобы согласиться на пятьдесят пфеннигов за марку. Монти был окрылен самыми розовыми надеждами, когда посылал Винеру приглашение прибыть для переговоров. Однако он не учел ни упрямства и жадности Винера, ни новой ситуации

в Германии. Зачем Винеру было брать чужой миллион за свои два? Конечно, приятно было бы очутиться под защитой британского льва, но не в том случае, если за это нужно позволить льву откусить себе голову! Лучше подождать еще немного и взять свое с Геринга. А в том, что Геринг к нему придет, Винер был уверен.

Переговоры Монти закончились ничем, и он решил вернуться в Англию. У него не было желания задерживаться в Германии, так как он был убежден, что со дня на день должны были произойти крупные события.

Ожидания не обманывали Монти, так как только из скромности можно было назвать «предчувствием» точные данные, имевшиеся в его распоряжении благодаря деятельности капитана Роу и ему подобных.

Следуя по пятам за двигавшимися на запад немецкими войсками, Роу достиг границы демилитаризованной зоны. Несколько опередив затем остановившиеся на этой границе немецкие части, он въехал в зону и прибыл в Кобленц.

Шофер такси, везший Роу с вокзала в гостиницу, отвечал на вопросы односложно и неохотно. Любопытство Роу по поводу того, что думают в Кобленце о надвигающихся событиях, осталось неудовлетворенным. Это был, пожалуй, первый шофер, которого Роу не удалось расшевелить. Ну, нет так нет! Найдутся другие источники первой информации! Роу расплатился с сумрачным шофером и вошел в турникет отеля «Монополь».

Шофер, — это был Франц Лемке, — отъехал на угол и вынул газету. Он не раскрыл ее во весь лист и не повернул к свету, как обычно делают шоферы, ожидая седоков. Он сложил газету длинною полоской и загнул название так, чтобы его не было видно. Газета не принадлежала к числу тех, которые можно было здесь демонстрировать. Это издание «Роте фане» вы-

ходило за границей, в Чехии. Попав в Германию, она передавалась из рук в руки как величайшая ценность, опасная тем, что она представляла собою объект постоянных поисков полиции.

Необходимость то и дело поглядывать по сторонам, чтобы не быть застигнутым врасплох, разбивала внимание, тем не менее в передовой статье были слова, запоминающиеся навсегда, — так точно и всеобъемлюще они характеризовали политическую обстановку, живым и непосредственным свидетелем которой являлся сейчас и сам он — Лемке.

На некоторых абзацах статьи он останавливался, чтобы самому оглянуться на ту действительность, свидетелем которой он был здесь, на Рейне, теперь. Вот, например, что говорится в статье о том, как в Советском Союзе представляют себе военную угрозу со стороны гитлеризма: когда какое-либо государство хочет воевать с другим государством, то оно, даже не будучи соседом того, на кого желает напасть, находит границы, через которые может совершить нападение. Это делается либо при помощи силы, как было в 1914 году, при нападении Германии на Бельгию, либо необходимый рубеж берется «напрокат», как это сделала Германия в 1918 году, когда вторглась в Латвию, чтобы пробраться к советскому Ленинграду. Этот исторический опыт говорит о том, что если Гитлер пожелает напасть на СССР, то его не остановит отсутствие общих границ — они найдутся. Охотники «ссудить» Гитлеру ворота для нападения на Советскую страну есть...

Это было грустной, даже трагической правдой, но именно так: правдой, основанной на беспощадном опыте истории. В нынешнее время можно уже считать бесспорным, что агрессоры не объявляют войн, они начинают их без объявления, предательски нападая на тех,

кто не ожидает такого нападения. Чтобы обезоружить намеченный объект нападения, усыпить его бдительность, агрессор готов даже заключить с ним договор о ненападении, а то и просто о дружбе и даже о союзе...

«Да, тут ничего не возразишь, — думал Лемке, — основная причина современной военной опасности заключается в капитализме, в его империалистических, захватнических проявлениях. Пусть лучшие люди мира возвышают свой голос против войны, пусть простые люди всего земного шара жаждут мира, — для капитализма в его империалистической фазе война остается "законным" методом разрешения международных споров, и он всегда готов пустить ее в ход, не считаясь со страданиями, какие война несет человечеству...

К стоянке подъехал еще один таксомотор. Его шофер, весело свистнув, крикнул:

— Эй, Франц! Большое оживление на вокзале. Одни — туда, другие — обратно. Давно не было столько пассажиров. Постою здесь минут десять. Если не подвернется пассажир — опять на вокзал. Сегодня ужин из двух блюд!

Лемке спрятал газету и закурил. Он ничего не ответил.

— Так поехали? — через несколько минут спросил шофер.

— Постою тут, — ответил Лемке.

— Ты сегодня не в духе! — Шофер рассмеялся и уехал.

Лемке хотел было снова достать газету, но раздумал. У него были основания к дурному расположению духа. Поговаривали о предстоящем вступлении немецких войск в Рейнскую зону. Если прибавить к этим слухам бегство из зоны сепаратистов и антифашистов, — а на то Лемке и шофер, чтобы знать, кто приезжает и кто

уезжает, — то картина получалась довольно унылой. Теперь ему становилось ясно и то, что необычайный наплыв туристов из внутренней Германии вызван вовсе не красотами старой немецкой реки. Лемке готов был дать руку на отсечение, что в чемодане большинства приезжающих с той стороны туристов лежали коричневая рубашка и стальная палка штурмовика. Плохо, черт возьми, совсем плохо! Значит, и Рейнланд, куда ему пришлось уехать, почти бежать после неудачной расклейки избирательных лозунгов, перестал быть надежным убежищем. Однако именно теперь, когда партия загнана в подполье, когда тысячи коммунистов брошены в концентрационные лагеря, когда партия нуждается в каждом человеке, находящемся на свободе, Лемке не может думать о бегстве из Германии.

Если бы знать наверняка, придут ли сюда коричневые дьяволы! Может быть, уже наступило время пустить в ход заготовленную несколько месяцев тому назад, на всякий случай, шоферскую книжку на имя Бодо Курца? Да, решено, сегодня он перестает быть Францем Лемке!..

...И опять шофер! И не только шофер. По указанию партии, полученному еще при бегстве из Берлина, перемена имени означает и конец «отпуска» с того берега. Если Франц Лемке должен был бежать из Берлина во избежание провала, то у Бодо Курда чистый кильватер, ему нечего бояться, и он должен вернуться туда, на боевой пост коммуниста-подпольщика... Да, много легче было бы стоять, как бывало, над вращающимся патроном станка, не знать, что на тебе лежит ответственность за это большое и такое трудное в нынешней Германии звание — коммунист!.. Ну хорошо, Лемке, а если тебе сейчас же, тут же предложат именно это: вот тебе станок, вот десять марок ежедневного верного

заработка и к тому же безопасность, возможность вытащить сюда жену из ада ежечасной смертельной опасности? Решайся же, Франц Лемке!..

Он рассмеялся, сунул руку за пазуху и нащупал в кармане обложку новой книжки на имя Бодо Курца. Не просто нащупал, а крепко и ласково сжал ее в пальцах: эта книжка — залог того, что завтра он сможет закончить свой вынужденный «отпуск» из самого пекла гитлеровской Германии; залог того, что он снова может стать полноправным солдатом и полноценным бойцом антигитлеровской армии коммунистического подполья...

Лемке решил не ехать к вокзалу. Маркой больше или меньше — это ничего не изменит в судьбе отбывающего в неизвестность Франца Лемке. Нужно ехать домой, в Лютцель. Заодно он предупредит и Руппа, чтобы тот тоже принял меры предосторожности. Вот не везет парню: который раз уходит от коричневой банды, а она, как злой рок, преследует его по пятам.

Поднявшись до Рейнплатц и обогнув памятник Гебену, Лемке направился к набережной Мозеля, где в конторе «Рейнский транспорт» служил Руппи Вирт. Тот как раз кончил работу и снимал комбинезон.

Лемке крикнул в окно:

— Здорово, Руппи! Поедем-ка ужинать.

Руппи не каждый день ездил ужинать в автомобиле и с удовольствием уселся рядом с Лемке. Но в тот момент, когда Лемке уже тронул машину, из дверей конторы выбежал хозяин и позвал Руппа обратно: нужно было получить на вокзале экстренный груз — несколько ящиков, прибывших в адрес каких-то приезжих из Берлина.

Хозяин обрадовался, что под рукою оказался таксомотор Лемке. Он уселся в машину и вместе с Руппом поехал на вокзал.

Через четверть часа все трое стояли перед багажной кассой. Кладовщик показал на три длинных ящика с бросающейся в глаза надписью: «Осторожно! Астрономические приборы». Под этой надписью Рупп увидел и другую, заставившую его замереть с протянутыми было к ящику руками: «Получатель г-н Эрнст фон Шверер». Эрнст Шверер! Рупп схватил за рукав Лемке, уже взявшегося было за поклажу.

— Мы должны знать, что в этих ящиках! — взволнованно проговорил Рупп.

— Какое тебе дело до этих приборов? — удивился Лемке.

Рупп показал на имя адресата. Лемке протяжно свистнул.

— Я знал одного Шверера. Только того звали не Эрнст, а Эгон. Может быть, тут просто путаница в именах, а?

— Помнишь мою историю на рейнском пароходе?

— Так это он и есть? Все ясно. — Лемке покачал головой. — Если рейнцы недостаточно восторженно встретят Гитлера, у них в тылу окажутся молодчики с револьверами и дубинками.

— Мы должны посмотреть, что в этом ящике! — повторил Рупп.

— Урони такой ящик с плеча ребром о мостовую — и он сам разинет пасть, — сказал Лемке. — Тогда покажем всем, что скрыто в его ящиках. Идет?

Навстречу им, от автомобиля, шел рассерженный задержкой хозяин конторы. Он сам подхватил третий ящик, и через пять минут автомобиль тронулся.

— Сдашь прямо в руки адресату, Рупп! — крикнул им вслед хозяин. — За срочную доставку на такси дополучишь, сколько будет на счетчике.

— Все ясно, хозяин!

— Куда ехать? — спросил Лемке.

— «Монополь», — ответил Рупп. — Негодяи, останавливаются в лучших отелях!..

Было решено, что если Эрнст Шверер окажется тем самым, кого имел в виду Рупп, они уронят ящик на мостовую...

Портье тотчас вызвал Шверера по телефону:

— Для вас груз — астрономические приборы.

— Пусть принесут ящики! — приказал Эрнст.

У Руппа от волнения дрожали руки. Разбить багаж клиента! Он понимал, что это значило для его хозяина, которому придется отвечать за убытки, если в ящике действительно вдруг окажутся хрупкие приборы. Но они с Лемке должны осуществить задуманное! Они должны узнать, что в ящиках. Если там находится тайно провозимое в Рейнланд оружие, об этом немедленно будет знать весь Кобленц: на улице достаточно прохожих.

Лемке вытащил из автомобиля первый ящик.

Рупп насмешливо сказал:

— Не забыть бы предъявить Швереру счет на такси. Генеральский сынок может заплатить!

Ни тот, ни другой не заметили, что при этих словах в двух шагах от них остановился собиравшийся было войти в турникет молодой коренастый человек. Оглянись Рупп на него, он узнал бы Пауля Штризе.

Штризе наблюдал за тем, как Рупп взвалил ящик на плечо и как, споткнувшись о край тротуара, уронил его на асфальт. Ящик ударился углом. Крышка раскололась, и содержимое ящика высыпалось на тротуар. Разве только слепой не понял бы, что представляют собой обернутые в промасленную бумагу металлические части! Это был разобранный пулемет.

Вокруг Руппа тотчас собралась толпа. Раздались возмущенные возгласы. Штризе бросился к Руппу с поднятыми кулаками.

Но собравшаяся толпа была явно на стороне шофера. Лемке успел крикнуть что-то о коричневых молодчиках Гитлера. Штризе пронзительно свистнул, вызывая из отеля своих.

Однако прежде чем к нацистам пришла подмога, Руппу удалось пробиться к автомобилю. Лемке вскочил за руль. Когда толпа повернулась в сторону высыпавших из подъезда «Монополя» соратников Штризе и Эрнста, такси полным ходом мчалось прочь. Лемке уже не интересовал исход стычки. Он слышал, как зазвенело стекло огромной витрины, слышал громкий крик: «Долой Гитлера!», пронзительные свистки...

Перед отелем происходила свалка. Возле забытого всеми разбитого ящика сидел на корточках Роу и с интересом разглядывал части пулемета.

А Лемке нажимал на акселератор, спеша перебраться на другую сторону Мозеля, чтобы немедленно покончить с официальным существованием Франца Лемке.

— А что мы будем делать с оставшимися у нас ящиками? — спросил Рупп.

На той стороне Мозеля, в пустынном месте набережной, Лемке остановил автомобиль и бросил ящики в реку. Рупп с сожалением смотрел вслед ценному грузу.

А Лемке, видя огорчение Руппа, сказал:

— Еще не время, мальчуган!

## 20

Собравшиеся в зале заседаний долго ожидали появления Гитлера, заканчивавшего в своем кабинете происходивший весь день прием иностранных гостей.

Хотя содержание беседы с каждым из этих гостей было почти одно и то же, Гитлер принимал их поодиночке и старался при этом сделать так, чтобы один не знал о визите другого. Гости эти были разных национальностей. Последними оказались французский журналист и два лорда, приехавшие из Англии специально ради этого свидания.

Французскому журналисту Гитлер дал понять, что германское правительство в целом и он, Гитлер, в частности, считали бы его своим лучшим другом, если бы он взял на себя миссию уверить французских читателей в том, что Гитлер оскорблен в самых лучших, самых миролюбивых чувствах к Франции «позорным» пактом, заключенным ею с Советским Союзом. Гитлер готов предложить Франции любой договор о ненападении, о дружбе и даже о союзе, если она согласится порвать только что заключенный франко-советский пакт. У Гитлера никогда не будет никаких претензий ни на один метр французской территории, к которой он относит и Эльзас, и Лотарингию, и любой другой клочок земли, который Франция считает своим.

— Каждый француз должен это понять, — сказал Гитлер. — Только уверенность в том, что наша западная граница в безопасности и что никакие узы не связывают вас с Советской Россией, может дать мне возможность исполнить мою историческую миссию уничтожения коммунизма на востоке Европы.

Этот довод, а особенно обещание не постоять перед расходами на пропаганду и на вознаграждение самого журналиста оказались убедительными. Он покинул кабинет канцлера, готовый стать глашатаем планов Гитлера.

Побывавшие у фюрера английские лорды уехали, тоже обещав безусловную и твердую поддержку «луч-

шего» общества Англии всем его взглядам и намерениям. В дополнение к доводу о необходимости иметь свободные руки на востоке лордам не понадобилось даже платить. Они были согласны поддержать любое начинание фашистов в любой части света, если его целью являлась борьба с коммунизмом.

Покончив с этими визитами, Гитлер вышел наконец в зал, где ожидали генералы.

Собравшиеся были предупреждены о том, что предстоит обсуждение плана ремилитаризации Рейнской зоны, составленного год тому назад и зашифрованного под названием «Шулунг». В первом параграфе приказа Гитлера, изданного в 1935 году, после утверждения им плана операции «Шулунг» говорилось: «Операция после передачи слов "выполнять Шулунг" должна быть проведена неожиданным ударом с молниеносной быстротой. Строжайшая секретность необходима в подготовке, и только минимальное число офицеров должно быть осведомлено и использовано». Далее было сказано: «Нет времени для мобилизации вооруженных сил. Вооруженные силы будут использованы в составе мирного времени и со снаряжением мирного времени. Подготовка к операции будет произведена независимо от существующего неудовлетворительного состояния нашего вооружения...»

Присутствующие на совещании генералы отлично знали, что с тех пор дела с вооружением подвинулись вовсе не настолько, чтобы можно было теперь говорить о какой-то серьезной «молниеносной» операции. В лучшем случае это могло бы оказаться «молниеносным блефом», как думал Гаусс, подобно всякому другому блефу, обреченным на провал, если он натолкнется на сколько-нибудь серьезное сопротивление сколько-нибудь осведомленного противника.

Гаусс заранее и очень тщательно разработал свои соображения по поводу плана «Шулунг» и, согласовав с начальником генерального штаба генерал-полковником Беком, намерен был открыто высказать их сегодня Гитлеру. Его не смутили гримасы, которые строил фюрер, слушая пространный и основательно аргументированный доклад Бека, доказывавшего, что план «Шулунг» как был, так и остался авантюрой, чреватой большими политическими неприятностями для Германии. Когда в заключение Бек решительно заявил, что генеральный штаб снимает с себя ответственность за проведение подобной операции в текущем году, Гитлер зевнул и отвернулся. Но Гаусс решил, что даже если этот «вислозадый коротышка» (как мысленно называл сейчас Гитлера Гаусс) попробует его открыто остановить, он выскажет все, что думает, хотя бы ему после этого пришлось тут же подать рапорт об отставке. Судьба Германии и, главное, армии казалась ему важнее всех других соображений. Но стоило Гауссу заговорить, как он почувствовал, что любой вид открытой оппозиции Гитлера был бы легче того тупого равнодушия, какое было написано на его лице. Он имел скучающий и даже полусонный вид. Сказав меньше половины того, что собирался сказать, Гаусс понял, что здесь это совершенно бессмысленно, скомкал конец своей речи и, тоже подчеркнуто оборвав ее почти на полуслове, демонстративно захлопнул папку.

Гитлер с подчеркнутым невниманием выслушал мнение и других генералов. Он нетерпеливо стучал по столу концом карандаша, делал пометки в блокноте, подзывал адъютантов и что-то шептал им на ухо. Всем было ясно, что вопрос, «предлагавшийся обсуждению господ», предрешен. Поэтому даже те, кто прежде собирался высказаться так, чтобы не отвечать ни за ка-

кое решение, принялись в самых восторженных выражениях восхвалять план вторжения. Но, к удивлению, Гитлер и им уделил не больше внимания, чем своим оппонентам.

У большинства присутствующих возник вопрос: зачем же он собирал совет, зачем делал из них дураков?

Только один полковник-лейтенант, бледный, с тыквообразной головой и оттопыренными ушами, сидевший немного поодаль, за спиною Гитлера, не принимавший участия в прениях, знал, зачем здесь собраны генералы.

План действий, которые должны были начаться, принадлежал ему — подручному фюрера. Этого офицера, долго остававшегося тайным сообщником и военным советчиком безграмотного «главнокомандующего», звали Йодлем. Он заранее знал, что сегодня скажет Гитлер. Поэтому он был совершенно спокоен.

Впрочем, сторонний наблюдатель, который попробовал бы по внешнему виду остальных присутствующих определить степень их взволнованности тем, что произошло, и тем неизвестным, чему предстояло произойти на свете, тоже не угадал бы ничего. Лица генералов были бесстрастны.

Гитлер несколько раз обводил взглядом эти холодные маски, и карандаш его все нетерпеливее постукивал по блокноту. Наконец ему, по-видимому, стало не под силу сдерживать рвавшийся наружу поток слов. Он прервал очередного оратора на полуслове ударом ладони по столу.

— Господин Йодль! — бросил он, не оборачиваясь. — Сообщите господам...

Йодль поднялся, щелкнул шпорами и быстро прочел:

«Совершенно секретно. Приказ верховного главнокомандующего. Главнокомандующему армией, главно-

командующему флотом и главнокомандующему воздушными силами. Первое: фюрер и имперский канцлер принял следующее решение: ввиду франко-русского союза обязательства, принятые Германией, согласно Локарнскому договору, поскольку они касаются статей 42 и 43 Версальского договора о милитаризованной зоне, должны считаться устаревшими...»

Не останавливаясь на знаках препинания, словно боясь, что кто-нибудь из генералов прервет его, не даст договорить, Йодль прочел весь приказ и, еще раз щелкнув шпорами, опустился в свое кресло.

Тогда, ни на кого не глядя, заговорил Гитлер:

— Итак, господа, мы должны считаться с тем, что приказ о вступлении моих войск в Рейнскую область подписан мною. — Голос Гитлера звучал еще более хрипло, чем обычно. — В приказе я сказал: «При малейшем сопротивлении союзников наступлению моих солдат открывать огонь из всех имеющихся средств!..»

Он умолк и сделал паузу, чтобы еще раз обвести взглядом лица генералов.

Гауссу хотелось сказать Гитлеру, что подобный приказ равносилен смертному приговору армии и, может быть, Германии. Но Гаусс молчал. Гитлер не прочел на его лице ничего.

Голос Гитлера повысился. Он крикнул громче:

— Однако я должен предупредить: если хотя бы один мой солдат сделает выстрел по французским войскам, то генерал, которому этот солдат окажется подчиненным, будет в тот же день расстрелян как изменник!

Взгляд Гитлера, остановившийся на лице Гаусса, и на этот раз не прочел ничего, кроме холодной корректности.

Тогда Гитлер, как трагик на сцене, продолжал:

— Я приказываю: если в зоне будут войска, готовые оказать моим солдатам сопротивление, — остановиться!.. Отступить!..

Подобная непоследовательность озадачила Гаусса, но зато он мог считать себя удовлетворенным: Гитлер испугался!

Однако даже и теперь Гитлер не заметил бы на лице Гаусса ни малейшего признака торжества.

— Господа! — Гитлер оперся рукой о край стола и рывком поднялся с кресла. Его неуклюжее тело подалось вперед, глаза выкатились из орбит. Он крикнул, судорожно выбрасывая руку в сторону генералов, словно пытаясь хоть чем-нибудь заставить их ожить. — По моим данным, приказ уже известен кабинетам Лондона, Парижа, Рима...

«Ага, полный отбой!» — злорадно подумал Гаусс.

И, словно откликаясь на его мысль, Гитлер сердито посмотрел в его сторону. Игра, казалось ему, делалась все более напряженной. Кто знает, на какое число у Гаусса замышлено убийство фюрера?..

Возможного заговорщика Гитлер видел теперь едва ли не в каждом генерале...

При этой мысли, преследовавшей его постоянно и всюду, Гитлер забыл все, что собирался еще сказать генералам, и выкрикнул:

— Я убежден, что войска французов покинули Рейнскую зону окончательно!

Впервые за все заседание генеральские монокли слегка изменили угол относительно председательского места. Словно легкий ветер пробежал по лицам генералов и заставил их одновременно повернуться. Но все генералы продолжали хранить холодное молчание.

Послышался негромкий голос министра иностранных дел барона фон Нейрата:

— Мой фюрер... Вы, очевидно, упустили из виду, что в этом сложном деле мнение Америки не менее важно, нежели поведение французов и англичан. Наше вступление в область Рура может вывести американцев из состояния сторонних наблюдателей.

— Я ничего не упустил из виду. Даже того, что, по-видимому, забыли вы! — вцепившись в край стола, словно хотел его сдвинуть, ответил Гитлер. — Кто, по-вашему, как не бывший американский президент, заявил, что целью его жизни является уничтожение Советской России? Преемники Гувера будут со мной, как только поймут, что я — и никто другой! — избавлю их от кошмара, надвигающегося с востока. А могу ли я это сделать, пока не получу Рура?..

И тут снова, как по команде, все генеральские монокли повернулись к Нейрату.

Гитлер заметил это и испугался. Он думал, что они ждут заранее условленных возражений старого дипломата и что эти возражения послужат сигналом к общему наступлению против него, Гитлера.

Он закрыл глаза и упал в кресло. Но тотчас же вскочил и выбежал из зала.

Он бежал тем поспешнее, чем острее чувствовал на своей спине взгляды оставшихся в зале генералов. Он панически боялся этих взглядов, искал от них спасения.

Он пробежал весь кабинет и влетел в уборную. Ударом ноги с треском захлопнул за собой дверь и поспешно опустил защелку замка. Прислушался, словно боялся погони. Несколько минут стоял, прислонившись к стене и тяжело дыша. Расслабленными шагами подошел к умывальнику и подставил лицо под струю воды.

Генералы покидали зал.

— Великолепно разыгранный блеф! — тихо сказал Пруст.

Гаусс с неприязнью посмотрел на вздыбившуюся щетку его белобрысых усов и сухо произнес:

— Успех блефа чаще всего зависит от глупости противника. — Он щелчком сбросил с рукава упавший на него пепел. — На месте англичан и французов я расстрелял бы кое-кого из их министров. А заодно и некоторых генералов. — И, подумав, добавил: — На наше счастье, они этого не делают...

— И все-таки это здорово! — с восхищением отрезал Пруст.

## 21

С каждым годом, с каждым месяцем становилось яснее, что Европа живет на пороховой бочке, к которой все быстрее приближается фитиль, зажженный на Дальнем Востоке японцами с молчаливого попустительства Англии и Соединенных Штатов Америки.

С каждым годом, с каждым месяцем становились убедительнее доводы, приводимые Советским Союзом в пользу необходимости самых решительных и притом неотложных мер к укреплению мира и безопасности народов.

Первым призывом СССР был призыв к разоружению. Дальновидным советским политикам было ясно, что оружие, которого не хотят выпускать из рук империалисты Франции, Англии и Италии, оружие, которое тайно готовили для себя гитлеровцы и так же тайно продавали им французские и английские фирмы, не могло долго оставаться мертвым грузом на складах. Оголтелые поборники вооруженного способа решения международных проблем должны были пустить в ход свои арсеналы хотя бы ради того, чтобы приняться за их возобновление и вновь стричь купоны акций военной промышленности.

Советское правительство отлично сознавало бессилие пресловутой Лиги Наций как инструмента мира. И все же оно вступило в нее, готовое сделать все, чтобы укрепить всеобщий мир, так же как оно уже много лет настойчиво и последовательно оберегало народы Советского Союза от угрозы войны.

Начиная с сентября 1934 года, когда Советский Союз согласился войти в Лигу Наций, его делегаты неустанно боролись против опасности агрессии. Они вносили убедительные, неотразимо документированные предложения на многочисленных международных конференциях.

В сентябре и ноябре 1934 года, в апреле, октябре, ноябре 1935 года, семь раз в течение 1936 года Советское правительство ставило вопрос о полном или частичном разоружении. Его представители выступали в Женеве, Лондоне, Лозанне: «Разоружение — вот первое, что следует сделать для обеспечения мира!» Но делегаты других стран извивались ужами, чтобы, «сохранив лицо» перед общественным мнением, избавить своих хозяев от необходимости бросить в мартен хотя бы один заржавевший штык. Советское правительство заключало договоры о ненападении со всеми государствами, соглашавшимися их подписать. Но его дипломатические противники делали все возможное, чтобы заранее обречь эти договоры на бездействие.

Однако чем отчаяннее делались попытки капиталистов «спасти войну», тем яснее становилось народам Европы, куда тянут их правительства. Все с большею надеждою народы Франции, Англии и других стран обращали взоры в сторону СССР. Чем яснее мир простых людей видел, что государство рабочих и крестьян является великим поборником мира, тем с большим доверием приглядывались они к коммунистам в своих

собственных странах, тянулись к ним, доверяли им. Назревали новые битвы демократии против поджигателей войны.

В те дни, когда британский и французский кабинеты собрались для обсуждения вопроса о нарушении Германией Локарнских соглашений, не было предпринято ничего, что могло бы внушить немцам опасение.

Позже собрались вместе британские, французские, бельгийские и итальянские министры, но и они не захотели договориться об оказании сопротивления Гитлеру. Каждый здравомыслящий француз видел, какую смертельную опасность для Франции представлял ставший на ноги германский милитаризм. И каждый здравомыслящий англичанин так же ясно понимал, какую опасность это составляет и для Англии. Увы, к мнению этих трезво рассуждающих французов и англичан не прислушивались при решении жизненно важных вопросов. Эти вопросы решала кучка темных политических дельцов, хотя они и составляли неоспоримое меньшинство.

Именно из этих дельцов и состояло «большинство» в Лондонском зале, где 17 марта 1936 года на заседании Совета Лиги Наций выступил советский делегат. Устами советского делегата заговорили простые люди обоих полушарий, желавшие разогнать дымовую завесу дипломатических интриг. За этой завесой скрывались маневры, направленные к развязыванию войны на востоке против Советского Союза.

К словам советского делегата жадно прислушивались простые люди в Европе и Азии, в Америке, в Африке, в Австралии — всюду, где опасная игра правителей и безответственных парламентских болтунов с огнем войны вызывала тревогу и гнев народов.

Советский делегат говорил:

— Не стану отнимать ваше время соответствующими цитатами из германской периодической печати, из германских учебников, германских научных трудов, германских песенников, — я позволю себе только напомнить вам политическое завещание нынешнего правителя Германии, которое вы найдете на 754-й странице второго тома мюнхенского немецкого издания 1934 года книги «Моя борьба»: «Политическое завещание немецкой нации в сфере ее внешней деятельности будет и должно навсегда гласить: не допускайте никогда возникновения двух континентальных держав в Европе. В каждой попытке организации на германских границах второй военной державы, будь то хотя бы в форме образования, способного стать военной державой государства, — вы должны видеть нападение на Германию и считать не только своим правом, но и своей обязанностью воспрепятствовать возникновению такого государства всеми средствами, вплоть до употребления силы оружия, а если такое государство уже возникло, то снова его разбить». Вот, господа, для каких целей Германии требуется ремилитаризация примыкающей к Франции Рейнской зоны. Речь идет о создании гегемонии Германии на всем европейском континенте, и я спрашиваю: должна ли и будет ли Лига Наций потворствовать осуществлению этой задачи? Я вам читал не случайную статью в газетах, а документ, который автор сам характеризует как политическое завещание нынешнего правителя Германии, который дает квинтэссенцию всей его внешней политики. Какое значение имеют наряду с этим документом отдельные политические речи и заявления, произнесенные с политической целью в тот или иной момент, приспособленные к психологии части того или иного народа для достижения определенных временных целей? Такие речи и заявления находятся

в таком же отношении к прочитанному мною основному документу, как временное тактическое прекращение стрельбы на одном участке театра военных действий к основной стратегической цели всей кампании...

На следующий день после этой речи выступил в Совете Лиги британский делегат Антони Иден. По его мнению, вступление в Рейнскую зону не представляло опасности для Англии, а следовательно... и для мира. Итальянец Гранди одобрил акцию Гитлера. Призыв Советского Союза к объединению сил для борьбы против агрессии, нашедший горячий отклик в сердцах простых людей всего мира, встретил решительный отпор в зале Лиги Наций...

В гитлеровской Германии трубили фанфары.

Генерал-полковник Гаусс имел основания в дружеской беседе заявить своему бывшему однополчанину, а ныне министру иностранных дел барону Константину фон Нейрату:

— Мир становится на голову! Ефрейтор, которого я когда-то за одно слово возражения мог закатать в штрафную роту, высек меня, как мальчишку. Не очень-то легко с седою головой и с моими погонами чувствовать себя школьником!

— Я давно махнул рукою на самолюбие, — ответил Нейрат.

Гаусс небрежно перебирал разбросанные по столу газеты. Но вот его взгляд остановился на листе «Тан». Он прочел несколько строк под заголовком и ударил пальцем по листу:

— Именно об этом я и говорю!

— Что такое?

— Разговор Молотова с каким-то французом.

— Знаю...

— Все же послушай, — сказал Гаусс и прочел:

— «Шастенэ: Какова позиция Советского правительства в настоящем международном кризисе? Не считает ли оно, что военная реоккупация левого берега Рейна, позволяя Германии построить линии укрепления вдоль французской границы, имеет, прежде всего, целью предоставить Германии большую свободу для наступления на Востоке?

Молотов: Ремилитаризация Рейнской области, несомненно, усилила угрозу для стран, находящихся к востоку от Германии, и, в частности, для СССР. Не видеть этого было бы неправильно. Тем не менее ввод германских войск в Рейнскую область, пограничную с Францией и Бельгией, и создание укреплений вдоль франко-бельгийской границы, в нарушение известных международных договоров, означает угрозу, прежде всего, в отношении западных соседей, Франции и Бельгии. В связи с этим нам понятно особое беспокойство во Франции и Бельгии.

Шастенэ: Поскольку из этого ясно вытекает, что интересы Советского Союза и Франции в настоящем международном кризисе в известной степени одни и те же, возникает вопрос о том, как действовать перед лицом этого кризиса и какова по отношению к нему позиция Советского правительства? И еще: в случае, если бы Германия предпринимала нападение на западе, и в случае, если бы Польша осталась нейтральной, какую помощь мог бы СССР практически оказать Франции? Вопрос имеет немного стратегический характер. По-видимому, помощь со стороны СССР означала бы помощь через Румынию и Чехословакию. Нейтралитет Польши, однако, в значительной степени затруднил бы действия СССР. Как практически могла бы быть осуществлена советская помощь Франции?

Молотов: Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно было бы знать конкретную обстановку, в которой пришлось бы его решать. Вся помощь, необходимая Франции в связи с возможным нападением на нее европейского государства, поскольку она вытекает из франко-советского договора, который не содержит никаких ограничений в этом отношении, Франции была бы оказана со стороны Советского Союза. Помощь была бы оказана в соответствии с этим договором и политической обстановкой в целом».

Гаусс поверх газеты вопросительно посмотрел на Нейрата.

— Тебе не кажется, что именно там, в России, следует искать решения всей этой путаницы?

— Никакой путаницы нет, — отрезал Нейрат.

— Я говорю о том, что в этой игре нас может ожидать много неожиданного.

— Мы стараемся предусмотреть, что можно.

— И ты серьезно думаешь, что русского медведя можно обложить, не опасаясь получить от него смертельный удар?

— Фюрер и рейхсканцлер думает именно так.

— Меня до сих пор воротит, когда эти два слова произносят вместе, — с отвращением сказал Гаусс. — Я с молоком матери всосал уважение к званию канцлера Германской империи.

Нейрат с насмешливой миной развел руками:

— И тем не менее...

— «Фюрер, фюрер»! В конце концов, можешь ты хоть мне-то сказать твое собственное мнение?

Нейрат пожевал губами и, словно сожалея о чем-то, покачал головою.

— Послушайся совета старого друга...

— Ну-с!

— Постарайся ни от кого не добиваться «собственного мнения». Особенно от тех, к кому хорошо относишься. Тебе следует понять: только имея во главе Гитлера, мы добьемся того, чего хотим. Такова обстановка... Так думают и наши друзья, — Нейрат неопределенным взмахом указал куда-то в угол комнаты. — Там, за каналом, и еще дальше, за океаном.

— Первый раз в жизни я чувствую себя чем-то вроде лакея у торговца ножевыми изделиями.

— Англичане — люди воспитанные.

— Ты думаешь, они не дадут нам понять, что мы занимаем положение слуги?

— До тех пор, пока мы им нужны — нет.

— Все-таки может стошнить.

— Настоящая работа никогда не делается в белых перчатках. Во всяком случае, наши сомнения оказались напрасными: ефрейтор получил обратно Рейн. Завтра мы ставим вопрос о Мемеле и Данциге. А там вернем себе и колонии. — Нейрат помолчал. — Сказать тебе правду, я чувствую себя, как старый конь, отвыкший от хорошего ездока и вдруг снова почувствовавший твердую руку.

— Я всегда предпочитал быть ездоком, — сказал Гаусс.

— Если нельзя взять приз в седле, то нужно участвовать в скачке хотя бы под седлом. Правда, удила довольно противно режут рот. Зато я знаю, барьеры будут взяты. Croyez moi, ecuyer parviendra a son but![1]

— Если он свернет себе шею на банкете, я не заплачу. Но беда в том, что в таких случаях и лошадь ломает себе хребет. А в данном случае лошадь...

— Est ce moi?[2] — рассмеялся Нейрат.

---

[1] — Поверьте мне, наездник добьется своего!

[2] — Это я?

— Malheureusement l'Allemagne![1] — резко сказал Гаусс.

— Mai non! Il gagnera son jeu[2].

Гаусс засунул худой палец между дряблою шеей и воротником на том месте, где торчал конец ленты с большим крестом ордена. Он скорчил гримасу и потянул воротник так, словно он стал ему вдруг тесен.

— Если ты заедешь ко мне в министерство, я дам тебе прочесть один документ... — сказал Нейрат.

— Да!..

— На днях Гитлер беседовал в моем присутствии с Галифаксом. Лорд говорил от имени правительства.

— И что же?

— Деликатное прощупывание того, как бы мы отнеслись к широкой сделке с Англией и Францией.

— Ты не думаешь, что это вранье?

— Почему же? Консерваторы на этот счет довольно последовательны. Галифакс прямо сказал, что в известных кругах Англии фюреру отдают должное как человеку, уничтожившему коммунизм в Германии и преградившему ему путь на запад.

— Пожалуй, это единственное, что их устраивает.

— Ты поверхностно смотришь на вещи, — с укоризной сказал Нейрат. — Галифакс намекнул: изменение европейского порядка должно произойти и рано или поздно произойдет за счет Данцига, Австрии и Чехословакии.

— Он так и сказал: «Чехословакии»?

Нейрат приложил палец к губам:

— Беседа была строго доверительной!

— Значит, в Англии понимают, что без этого нельзя схватить за горло Россию?

---

[1] — К сожалению, Германия!

[2] — Нет, нет! Он выиграет игру.

— Когда фюрер сказал Галифаксу, что Европа должна быть организована без участия Советской России, Галифакс с ним вполне согласился.

Гаусс сделал несколько медленных движений кистями рук, словно намыливая их.

— Что же... дай бог... Значит, остается одна Америка... — проговорил он мечтательно.

На широком, с грубыми чертами лице Нейрата появилось выражение самодовольства. Он откинулся в кресле и сложил руки на животе, словно то, что он знал, позволяло ему раз и навсегда предаться полному покою.

— Ну, что ты еще знаешь? — нетерпеливо спросил Гаусс.

— Несколько дней тому назад у меня был Буллит. Он меня спросил... Заметь, — Нейрат поднял палец, — не я его спросил, а он меня: «Скоро ли будет покончено с Австрией?»

— Что это значит? — удивленно спросил Гаусс.

— Те, от чьего имени он говорит, хотят, чтобы мы стали там твердою ногой.

— Удивительно... просто удивительно!

— Ничего удивительного. «Альпине-Монтан» — это Тиссен, а Тиссен — это деньги Ванденгейма, и так далее...

— Да, да... И что же ты ему ответил?

— Что мы видим две существенные причины к тому, чтобы не очень спешить. Муссолини мобилизовал войска на австрийской границе...

— И Буллит?.. — с интересом спросил генерал.

— Заверил меня, что мы спокойно можем сбросить дуче со счетов!

— Он не знает, что Муссолини будет драться в случае нашего вторжения в Австрию.

— Если верить Буллиту, известные круги Америки не позволят господину макаронному диктатору и пальцем двинуть против нас!

— Дай бог!.. Дай бог!.. Ты меня очень обрадовал этим сообщением. По такому поводу мы с тобой можем даже выпить... Главное во всем этом: мы можем быть спокойны за позицию американцев.

— Если удастся выбить из игры Рузвельта.

— А это возможно? — с недоверием спросил Гаусс.

— В Штатах есть уже наши люди... Киллингер — надежный парень.

— Настоящий убийца!

— Такие там и нужны. Если бы репутация Папена не была так подмочена в глазах американцев из-за его собственной глупости, — вот человек, которого следовало бы опять послать в Штаты, — сказал Нейрат.

— Ф-фа! — пренебрежительно воскликнул Гаусс, выпуская облако дыма. — Я простил бы ему его глупость. Беда в другом...

Нейрат вопросительно посмотрел на умолкнувшего приятеля. После некоторого раздумья Гаусс продолжал:

— Беда в том, что мы больше не можем ему верить.

— С чего ты взял? — с опаской воскликнул Нейрат.

— Он уже дважды струсил. Тогда с этим фальшивым завещанием президента-фельдмаршала: нужно было быть мальчишкой или последним трусом, чтобы согласиться прочесть его с трибуны рейхстага, зная, что все это написано собственной рукой паршивого хромоножки! Это раз...

Гаусс был возбужден. Нейрат смотрел на него с иронической усмешкой на губах, но не перебивал его, и только когда Гаусс вдруг оборвал свою речь на полуслове, он тоном дружеской иронии поощрил:

— И два?..

— Самороспуск католического центра — это тоже дело Папена. Единственной партии, которая могла бы что-то сделать в новом рейхстаге!

Нейрат рассмеялся так, что этот смех можно было даже принять за искренний. Отмахиваясь обеими руками, словно смех мешал ему говорить, он наконец выдавил из себя:

— Я же говорю: вы, генералы, — форменные мальчики там, где дело касается политики. — И внезапно став серьезным, добавил: — Вспомни-ка: канцелярия папы немедленно одобрила этот шаг. Ватикан заявил, что рад отдалению немецких католиков от политики.

— Чушь!

Нейрат движением руки заставил его замолчать.

— Папа, вернее — его статс-секретарь, почтеннейший господин Пачелли, знал то, чего не знаешь ты, мой милый: самороспуск партии центра был условием для заключения конкордата, который Гитлер обещал Ватикану. И, как известно, обе стороны выполнили договор: папа прогнал немецких католиков из гитлеровского рейхстага, а Гитлер заключил с ним конкордат.

Некоторое время Гаусс в раздражении молча шагал по комнате. Он не очень-то любил бывать в дураках, а за последнее время все чаще случалось, что он убеждался в своей беспомощности там, где дело касалось политических комбинаций. «Мальчик»! Да, верно, именно мальчик. Хорошо еще, что Август удержал его от официального шага вместе с кардиналом Бертрамом, когда Гитлер для вида поприжал немного немецких епископов, чтобы выжать из Ватикана то, что ему было нужно. Хорошо, что в личном деле Гаусса нет еще и этого пункта: протест против политики «фюрера и канцлера» в области церковных дел... Интересно знать: какого черта эта лиса Папен не предупредил

его о двойной игре его партии?.. Впрочем, Папен, может быть, и прав: все знали, что Гаусс никогда не принимал сколько-нибудь близкого участия в делах партии центра... Да, так значит, «мальчик в коротких штанишках». Теперь это показалось ему смешным. Подойдя к Нейрату, он ударил его по плечу и рассмеялся.

— А все-таки у господина «фюрера» еще будут хлопоты с католиками. Когда подходишь к границе Австрии, нужно просить благословения папы или хотя бы кардинала Инитцера.

— Могу тебя уверить, — спокойно произнес Нейрат: — то и другое уже у нас в кармане.

Гаусс, опешив, медленно отвел руку от плеча Нейрата.

— В кармане?..

— Ты удивляешься нашей предусмотрительности или их сговорчивости?

— Я уже перестал понимать, чему следует удивляться.

— Важно то, что от Америки до Ватикана — все понимают: не покончив с Австрией, нельзя задушить чехов. А не выбив их из игры, мы не сможем вплотную подойти к вопросу о России.

— У меня свое мнение насчет очередности этих дел, — заявил Гаусс.

— Тут-то ефрейтор и понадобится больше, чем где-нибудь.

— Не знаю, право, не знаю! — помрачнев, сказал Гаусс. — Может быть, достаточно будет того, что он подведет нас к русским границам. Там начнется слишком серьезная работа, чтобы ее можно было доверить ораве дилетантов, которые вокруг него... Их торопливость и легкомыслие могут обойтись нам до-

рого. — И он снова, как прежде, потянул воротник мундира. Словно поймав себя на какой-то неловкости, поспешно сказал: — Бокал шампанского, старик, а?.. Не риббентроповской бурды, а честного французского вина!

На звонок Гаусса вошел денщик.

— Вели подать бутылку сухого... и мой «Рафаэль».

— Эх, ты, вегетарианец! — с дружеской фамильярностью сказал Нейрат и ударил генерала по твердой, как доска, спине.

— Мой милый, — ответил Гаусс, — я непременно хочу дожить до немецкой Европы. Ради этого стоит отказаться от стакана шампанского!

Вино уже было налито, и Нейрат сделал несколько глотков, когда Гаусс вдруг отставил рюмку со своим лечебным «Рафаэлем» и обеспокоенно спросил:

— Послушай, Константин, а ты не боишься, что в конце концов за помощь, которую мы получаем от американцев, они спустят с нас штаны?

Нейрат рассмеялся:

— Пей свое «вино для желудка» и ни о чем не думай... Ты не понимаешь игры, которую мы ведем.

— Не слишком ли хорошо я ее понимаю? — с горечью спросил Гаусс. — Мне не хотелось бы остаться нищим.

— Смысл игры и заключается в том, чтобы по всем векселям, которые мы выдаем и выдадим впредь под большую войну, с Америкой расплатились Англия и Франция и... может быть, еще кто-нибудь, с кого американцы сумеют получить. Только не мы!

— Мне думается... этот кредитор не простит и пфеннига...

— И дай ему бог здоровья, пусть снимает с англичан хоть последнюю рубашку.

— Но мы-то, мы?! — воскликнул Гаусс... — Мы тоже будем голы! И если Европа станет работать на американцев...

— Глупости, Вернер! На нашу долю останутся сотни миллионов покоренных людей. Они нас кое-как прокормят!

И, чокнувшись с Гауссом, Нейрат допил шампанское.

Гаусс с выражением недоумения смотрел на приятеля. Можно было подумать, будто его особенно интересует, как тот, не скрывая удовольствия, маленькими глотками цедит шампанское. Нейрат даже отвел бокал от губ и спросил:

— Ты так на меня смотришь, словно мы с тобою век не виделись.

Гаусс усмехнулся.

— Ты не ошибся, мой друг. Мне действительно кажется, что ты совсем не тот, кого я знал за Константина фон Нейрата. Еще немного — и я приду к выводу, что не сегодня-завтра ты станешь самым надежным, самым убежденным сторонником нового режима, — больше того, ты представляешься мне настоящим сообщником этого «богемского ефрейтора»...

— Тебе это кажется странным? — спросил Нейрат, отставляя опустошенный бокал.

— Согласись... — Гаусс не сразу нашел нужные слова: — Видишь ли, о тебе идет молва как о представителе старой дипломатической школы, как о человеке, мало подходящем нынешнему режиму, человеке, вовсе не смотрящем на свет глазами выскочки... Ты, Папен, Макензен — это же дипломаты совсем другого мира... чем какой-нибудь Риббентроп.

— Милый мой, — покровительственно проговорил Нейрат. — Только благодаря тому, что мир, свет ду-

маст о нас именно так, мы и имеем возможность приносить Германии ту пользу, которую приносим. В тот день, когда внешний мир перестанет считать нас, старых дипломатов, «безобидными старыми господами с Вильгельмштрассе, делающими все, что можно, чтобы помешать нацизму быть тем, что он есть», нас, и меня первым, можно будет выбросить в мусорную корзину. Сами мы никогда не могли бы изобрести для себя лучшей маски, чем выдумали наши дипломатические противники: «безобидные господа»! Что может быть удобней для дипломата?!

— И только?.. — разочарованно спросил Гаусс.

— И только!

Несколько минут в комнате не было слышно ничего, кроме ударов маятника больших часов в углу. Эти удары отдавались в деревянном футляре громким гудением.

Собеседники молча курили. Гаусс поднялся и, пройдясь по комнате, остановился перед Нейратом. Негромко спросил:

— Честно, как старый приятель: ты не боишься России?

Нейрат пожал плечами и опустил взгляд на свои скрещенные пальцы.

— Странный вопрос, — проговорил он наконец. — А разве ты...

Гаусс молча кивнул, и его длинная фигура снова замаячила по кабинету.

## Часть вторая

# «НО ПАСАРАН!»

Сравнить предателя не с кем и не с чем. Я думаю, что даже тифозную вошь сравнение с предателем оскорбило бы.

*М. Горький*

### 1

По соображениям конспирации Роу никогда не делал тайны из своей жизни в Берлине. Он не снимал, подобно многим журналистам, частных квартир и не жил в пансионах. Жизнь в отеле его вполне устраивала. Там каждый иностранец находился как бы под стеклянным колпаком, окруженный соглядатаями тайной немецкой полиции. Именно это, как справедливо казалось Роу, и должно было отводить от него излишнее внимание немецкой секретной службы и позволяло ему дезориентировать ее агентов.

Все же жизнь в больших отелях на континенте изрядно надоела Роу. Поэтому в Лондоне, во время своих

не слишком частых наездов туда, он раз навсегда избрал один из небольших частных отелей на Блумсбери-сквер.

Роу взглянул на часы и с удовольствием потянулся в низком кресле, где он просидел, отдыхая, без малого половину дня. Вставать и одеваться не хотелось. Однако если не отменять назначенное свидание, то пора было собираться.

Роу был уже одет, оставалось выбрать булавку для галстука, когда доложили о посетителе, не пожелавшем назвать себя.

Гость, показавшийся в дверях, заставил Роу смутиться. Но смущение было столь кратким, что вошедший едва ли мог его заметить. В следующее мгновение Роу непринужденно воскликнул:

— Реджи! Входи.

— Ты один? — спросил Реджи.

Роу сделал вид, будто несложный процесс втыкания булавки в галстук поглощает все его внимание. Но в глубине его души копошилось подозрение, что притворство напрасно: только обстоятельства исключительной важности могли заставить секретную службу послать своего человека к нему в отель. Роу уже составил в уме фразу, которой должен будет по телефону отменить обед с одной из своих приятельниц.

Его опасения почти тотчас же оправдались.

— Шеф велел раздобыть тебя немедленно, — сказал Реджи.

Шефом на жаргоне сотрудников Интеллидженс сервис назывался помощник начальника секретной службы — джентльмен, известный весьма ограниченному кругу лиц.

Свидание с шефом — случай нечастый. Роу гадал: нагоняй за какую-нибудь грубую ошибку?.. Он быстро

перебрал в памяти события последних недель. Ошибок как будто не было. Тогда, вероятно, новое задание, достаточно срочное, чтобы послать к нему Реджи, и слишком секретное, чтобы передать что-нибудь через него?

Спустя несколько минут Роу мрачно восседал в автомобиле. Он так и не поймал свою приятельницу по телефону и размышлял о том, как дать ей знать, что обед отменяется.

Автомобиль некоторое время кружил вокруг Блумсбери, затем выехал на Оксфорд-стрит и по Бейсуотер помчался мимо Кенсингтонских садов. На недозволенной скорости пересек Темзу и остановился в одной из полутемных аллей Ричмонда.

Оставив Роу в автомобиле наедине с догадками, Реджи нырнул в калитку. Через несколько минут из нее вышел шеф. Он был один.

— Реджи не поедет, — сказал он. — Довезете? — Заметив поспешность, с которой Роу перебрался за руль, шеф пробормотал: — Не торопитесь. Нам понадобится время, чтобы поговорить.

И уселся на заднее место.

Когда Роу тронул машину, шеф, по-видимому, наклонился вперед, потому что Роу почувствовал за спиною его острые локти возле своих плечей.

Автомобиль медленно катился по плохо освещенной улице.

— А знаете, старина, ваши сведения о Канарисе подтвердились, — недовольно, как показалось Роу, проговорил шеф.

— Очень рад, — тоже без удовольствия ответил Роу.

— Вы будете и впредь пользоваться тем же источником?

— Да.

— Хорошо. Это даст нам возможность держать немцев под двойным прожектором.

Роу молча кивнул. Говорить не было смысла. Он достаточно знал шефа, чтобы догадаться: тот вызвал его на свидание не для этой болтовни. О том, что Александер — агент британской секретной службы, Роу знал и без сообщения шефа: он был одним из тех троих, кто знал эту тайну начальника немецкой разведки.

Несколько минут ехали молча. Потом Роу снова услышал голос шефа:

— Есть очень важное задание. Службе предложено осуществить его как можно точнее и без шума. Дело очень деликатное... Придется прервать ваш отдых... Нет, нет, пока еще не возвращение в Берлин! Германия — котел, где копится пар для взрыва, но разводить огонь нужно не в котле, а вокруг него.

— Вполне справедливо, — неопределенно пробормотал Роу, не понимая, к чему клонит шеф.

— Нам нужен жаркий огонь, настоящий костер, а стоит подбросить несколько поленьев, и вместо пламени они испускают только вонючий дым. Находится миллион добровольных пожарных, готовых заливать пламя под котлом войны, которая, как припарка, нужна Европе на востоке.

— Кажется, я улавливаю, сэр: чтобы пар из немецкого котла ударил на восток, огонь нужно разводить на западе.

Шеф утвердительно кивнул головой.

— Рождение Народного фронта во Франции, победа республики в Испании, рабочие волнения в Италии, нескончаемые забастовки у нас — это уже не сырость, мешающая гореть костру, а океан, грозящий затопить и нас самих. — Шеф проговорил с ударением: — Нужны неотложные и самые энергичные меры. Наши дру-

зья во Франции бессильны. Сколько ни трать на создание кабинетов, они разваливаются, как карточные домики. Все они — от Тардье до Блюма — одинаковы: как огня, боятся улицы.

— Может, Блюм надежнее других. Хотя бы потому, что он изворотливее, — заметил Роу.

— Такой же трус, как остальные! — презрительно ответил шеф. — Петэн или Вейган — вот кто мог бы навести во Франции порядок, который нам нужен.

— Значит, вы хотите, чтобы я побывал во Франции?

Шеф заставил ждать с ответом.

— Нет!.. — сказал он наконец. — Мы не должны прямо лезть в эту кашу! В Европу следует войти с черного хода... Вы поедете в Испанию.

— В июле?!

— Понимаю: жара, но придется потерпеть, старина! — с шутливым сочувствием сказал шеф. — Это дело нельзя больше откладывать. Там, за Пиренеями, начинается нечто совсем неподходящее. Еще немного, и, мне кажется, испанская колесница покатится налево так, что ее уже не остановишь. Если этого поворота не сделает теперь же само правительство, народ его заставит. Он просыпается, старина. Глядя на него, и французы поймут, что Народный фронт — это всерьез. Тогда тут заварится нечто посерьезнее дела с Барту. Одним-двумя выстрелами не обойдешься.

— У вас дурное настроение, сэр!

— Нет, кроме шуток: если мы не покончим с Испанской республикой — крышка многим нашим комбинациям на континенте. Одним словом: пора туда. Потом мы дадим вам возможность отдохнуть от жары. А теперь напишите-ка кому-нибудь из ваших берлинских друзей поболтливей: пусть там думают, что ваш отпуск продолжается. Завтра утром вы вылетите на Канар-

ские острова. Кто может помешать вам провести там остаток отпуска?

— Пожалуй...

— Утренний самолет унесет бездельника, которому пришла идея погреться на пляже Лас-Пальмас. Было бы, конечно, совсем хорошо, если бы вы нашли себе спутницу. Но боюсь, не успеете это устроить, а?.. Впрочем... — Шеф сделал паузу. — Кажется, вы дружны с дамой, которая ждет вас сегодня к обеду?.. Если хотите, можете не отвечать.

Роу рассмеялся. Он отлично понимал, что шеф не нуждается в его справках. Рассмеялся и шеф.

— Вы не должны на меня сердиться, — сказал он добродушно. — Потому я и спешил повидаться с вами, прежде чем вы поедете в Палас.

Вместо ответа Роу поднял к его лицу руку с часами.

— Что ж, поторопимся, — сказал шеф. — После того, как отвезете ее домой собираться в дорогу, увидимся еще раз: получите деньги, инструкции и явки... Вы ведь знаете Зауэрмана?

— Разве вы не получили моего донесения о том, что он резидент абвера на Канарах?

— Я знаю, что говорю, дружище.

Как и все остальное, шеф произнес это спокойным тоном немного скучающего человека. Но Роу понял, что не должен был упоминать о своем донесении: если шеф назвал Зауэрмана, зная, что тот состоит на жалованье в гитлеровской разведке, — значит, так нужно; если старик попросту забыл об этом обстоятельстве, то тем более не следовало ему напоминать о подобном упущении. Кому-кому, а уж Роу-то пора бы знать, что ни «мистер Икс» — глава секретной службы, ни его помощник «Шеф» — не ошибаются. Таков один из параграфов символа веры этой службы.

Да, черт возьми, видно, только к седым волосам научишься быть таким сфинксом, как этот старый сухарь!..

— Разрешите ехать по Пикадилли? — спросил Роу.

— Через Фульхем, — недовольно проворчал шеф. — Высадите меня где-нибудь возле госпиталя. Впрочем, я забыл: мы же без шофера... Значит, сойдете вы. А я доберусь сам на этой колымаге.

По дороге шеф еще сказал:

— Знаете что?.. Зачем вам связываться с рейсовыми самолетами? Пришлось бы в пути пересаживаться на аппарат иностранной компании. Лучше этого избежать... — Он потер лоб. — Да, лучше устроить так: в Кройдоне вас будет ждать наша машина. Каждый джентльмен имеет право заказать специальный рейс, чтобы его дама не попадалась на глаза кому не следует. Лишь бы у джентльмена были деньги и полиция не заподозрила, что он их украл и бежит за границу. Этого, надеюсь, не случится... Не обращайте внимания на то, что на самолете будут не британские знаки... Эй-эй! Вы проехали госпиталь, старина!..

Роу остановил автомобиль и сошел. Шеф уселся за руль, и машина исчезла в потоке автомобилей, стремившихся к Пикадилли.

## 2

На следующий день, 10 июля 1936 года, самолет с опознавательными знаками немецкой гражданской авиации приближался к острову Гран-Канария, в группе принадлежащих Испанской республике Канарских островов.

Солнце уже перевалило за полдень. Летчик опустил зеленую шторку на переднем стекле пилотского

фонаря, чтобы рассмотреть береговую полосу северо-восточного конца острова. Поскольку он вел сухопутную машину, то и подошел к острову не со стороны открытого океана, а с северо-востока.

Сделав круг над Лас-Пальмас, самолет сел. Из него вышел Роу с дамой и зарегистрировался у жандарма как турист, прилетевший лечить чахоточную жену.

Жандарм пожелал сеньоре скорейшего выздоровления и заверил, что лучшего места для чахоточных нет на свете. Он тут же вручил Роу карточку отеля, где рекомендовал остановиться. Роу не стал спорить и отблагодарил его несколькими песетами. Жандарм поймал щедрую подачку с ловкостью официанта и проводил гостей до автомобиля.

В отеле было пусто и скучно. Время тянулось необычайно медленно — особенное, тягучее испанско-африканское время.

Роу вышел в сад. Лениво прохаживаясь под шелестящею листвою лавров, он перебирал в памяти наставления шефа. Ему нравилось то, что начальник сказал ему на прощанье:

— Можете не церемониться — испанец получает деньги и должен исполнять то, что ему прикажут.

— Но деньги-то он получает от немцев, — заметил Роу.

Шеф со вздохом ответил:

— Увы, даже пройдя через немецкие руки, фунты остаются английскими... Одним словом — он именно тот, кто нам нужен. Нам уже некогда искать другую Madchen fur alles, как говорят наши друзья немцы... С коммунистами пора кончать!

— Не сомневаюсь, сэр.

— Вот и желаю вам удачи.

Роу был уверен в успехе. Он уже не в первый раз превращался из разведчика — собирателя секретов в активного политического диверсанта. Сознание этого льстило ему, — было только жаль, что не удалось перед отлетом из Лондона связаться с Монтегю, чтобы дать ему сигнал о необходимости обратить внимание на Испанию. Лондонская биржа должна будет реагировать на то, что произойдет в Испании после приезда его, Роу. Знать это заранее — значит неплохо заработать. Но доверить то, что он знает, нельзя даже телеграфу. Значит, материальный эффект этой поездки будет равен нулю. Если, конечно, потом не удастся примазаться к спекуляциям...

Под напором морского ветра упруго поскрипывали толстые листья бананов. Этот мерный звук, похожий на скрип корпуса парусного корабля ночью, когда ничто не заглушает голосов обшивки и набора, нагонял сон. Роу с усилием стряхнул с себя истому и поглядел на часы. Пора!..

Роу шел, не расспрашивая о дороге. Он полагался на память и на тщательно изученный план местности. Скоро он выбрался из квартала отелей. Асфальт кончился, — Роу почувствовал под ногами неровные камни разбитой мостовой. Дома сделались ниже. Тени деревьев резко ложились на их белые стены. Потянулись каменные изгороди виноградников. Сухие листья винограда казались высеребренными светом луны.

Роу отсчитал нужное число переулков и свернул в узкий проход между неприглядными хижинами. За оградой из плитняка несмело тявкнула собачонка. «Сейчас поднимется обычный в таких случаях концерт», — подумал Роу. Но все было тихо. Собака полаяла и умолкла.

Едва слышный шорох листвы смешивался с отдаленным рокотом прибоя, и трудно было разобрать, какой из этих шумов производят листья и какой вода. Роу выбрался на шоссе, тянувшееся параллельно берегу, перешел на сторону, укрытую тенью деревьев, и зашагал вдоль решеток садов. То был уже пригород — район роскошных вилл. Железные изгороди одних были увиты ползучими растениями и цветами, за другими смутно виднелись плотные стены подстриженного самшита и тамариска. Из-за решеток лилось то дыхание раскрывшегося табака, то аромат роз, то едва уловимый запах лимона.

Роу вглядывался в узорчатый чугун оград.

Наконец он увидел то, что ему было нужно: два мраморных грифа сидели на каменных столбах по бокам высокой глухой калитки. Сквозь решетку, густо оплетенную зеленью, не было видно дома. Едва Роу остановился, как за калиткой послышался лай. Это уже не было робкое тявканье, какое он слышал из-за жалкой стены придорожной хибарки. Свирепый басистый лай, по-видимому огромного пса, сопровождался рычаньем еще нескольких собак. Роу с невольной поспешностью отыскал розетку звонка и нажал ее условным образом. Прошло немало времени, пока послышался чей-то голос, успокаивавший собак. Калитка отворилась. Роу вошел без приглашения. Калитка захлопнулась, и яркий луч фонаря ударил Роу в лицо.

— Я привез партию рейнских вин, — по-немецки сказал Роу.

— Вот как!

— Полтора ящика старого «Иоганнисбергера».

Тот, кто, не опуская фонаря, освещал Роу, сказал в темноту:

— Подержи собак, Рейнц! — и пошел в глубину сада, светя под ноги.

Роу видел только маленькое пятно сверкающего, словно серебряного, песка и изредка мелькающий каблук немца. Так они дошли до ступенек дома.

— Подождите здесь, — сказал провожатый и скрылся за дверью.

Роу зажмурил глаза, чтобы дать им привыкнуть к темноте.

За своей спиной он чувствовал присутствие второго немца и слышал скулеж нескольких собак. Это заставило его стоять неподвижно.

Роу открыл глаза, почувствовав, что в лицо ему снова ударил свет. Дверь в дом была отворена и ярко освещена. Роу вошел. Перед ним стоял человек, в котором он по фотографии, показанной ему в Лондоне шефом, узнал Зауэрмана.

Немец вопросительно смотрел в лицо Роу. Тот, так же не стесняясь, еще раз мысленно проверил сходство оригинала с портретом. Только тогда назвал пароль. Зауэрман кивком головы пригласил Роу следовать за собою. Они вошли в большую столовую. За длиннейшим столом, в огромном, как трон, кресле с непомерно высокою спинкой сидел маленький человечек с очень темным лицом. Но это была не природная смуглость местного уроженца, а загар европейца, долго пробывшего на солнце. Иссиня-черные волосы, пронизанные редкими нитями седины, были обильно смазаны фиксатуаром и зачесаны на лысину. Темно-карие глаза навыкате, тяжелый крючковатый нос.

На человеке был китель испанского генерала.

При входе Роу генерал приподнялся, опершись о стол маленькими пухлыми ручками, еще более темными, чем его лицо. Не кланяясь, он молча уставился на Роу.

Зауэрман достал рюмку из такого же огромного и неуклюжего, как все в этой комнате, буфета и пододвинул англичанину поднос с бутылками.

Роу рассеянно кивнул. Зауэрман поймал его взгляд, настороженно ощупывавший углы комнаты.

— Тут можно говорить свободно, — сказал он.

Роу перевел взгляд на испанца.

— Генерал дон Франсиско Франко-и-Багамонде, — представил генерала Зауэрман.

Франко молча поклонился и сел.

Не считаясь с риском показаться невежливым, Роу внимательно оглядел испанца — он знал его только со слов шефа. Черт возьми, лошадка, на которую ставила Англия, не производила впечатления своими статями, но... Лондону видней! Что ж, присутствие Франко у Зауэрмана упрощало дело: для свидания именно с ним Роу и прилетел сюда. Поручение шефа будет выполнено на целые сутки раньше. Роу без предисловий сказал Франко, глядя на него холодными глазами:

— Вы больше не должны откладывать свое путешествие в Африку, генерал.

Франко быстро оглянулся на Зауэрмана, прислонившегося к буфету с рюмкой в руках. У немца был вид человека, совершенно не заинтересованного происходящим.

Франко перевел взгляд на Роу.

— Там еще не все готово...

— Поэтому вам и следует быть там! — жестко сказал Роу.

— Я вполне доверяю моим людям. Если они...

Роу перебил:

— Вы сами должны быть там. — Он перегнулся через стол. — Больше ждать нельзя!

На этот раз Франко повернулся к немцу всем корпусом и заговорил по-испански. Он выбрасывал слова раздраженно, с необыкновенною быстротой. Зауэрман слушал, не поднимая глаз. Можно было подумать, что и это его не касается. Впрочем, почти так оно и было. С тех пор как здесь появился представитель британской секретной службы, Зауэрман перестал чувствовать себя резидентом абвера: англичане платили Зауэрману больше, чем немцы. По логике людей, привыкших торговать собою, хозяином в этой комнате был сейчас англичанин — за него платила Англия.

Роу не знал испанского и без церемоний перебил Франко:

— Мой самолет ждет вас сегодня ночью. — И, видя, что Франко снова хочет заговорить, добавил: — Вы, Зауэрман, проводите генерала до Тетуана.

— А что делать в Тетуане? — спросил немец.

— Сдадите поручение коммерции советнику Лангенгейму.

Перед уходом Роу еще раз обернулся к Франко:

— Сегодня десятое июля?

Франко сердито молчал. Ответил Зауэрман:

— Десятое.

— Недели вполне достаточно, — сказал Роу таким тоном, будто сам сейчас принял такое решение, хотя именно этот срок был определен шефом. — Семнадцатого мы хотим услышать условный сигнал: «Над всей Испанией безоблачное небо».

Насупившийся Франко продолжал молчать, но, увидев, что Роу пошел к двери, не выдержал, протестующим жестом остановил Роу и истерически выкрикнул:

— Я не могу принять предложение!

Роу остановился и с насмешливым удивлением спросил:

— Какое... предложение?

— Ваше предложение.

Роу сделал паузу и веско проговорил:

— Это приказ, сеньор.

Роу видел, как под загаром, покрывающим кожу генерала, отливает кровь и лицо его делается светло-желтым, даже, как казалось Роу, зеленоватым.

— Но ведь по такому сигналу генерал Санхурхо вылетит из Португалии, — быстро проговорил Франко. — Он глава хунты. Он будет руководить движением. Есть благословение... святого отца.

— Мы хорошо знаем, что вы добрый католик, генерал, и поэтому заранее согласовали все. Его святейшество папа пришлет вам свое благословение позже.

— Вы не знаете Санхурхо!.. Я не ручаюсь за мою жизнь.

— За вашу жизнь?.. Единственный каудильо — вы! — Роу едва не улыбнулся, вспомнив слова шефа, и ободряюще сказал: — Есть старая испанская пословица, генерал: «Мир дрожит, когда шевелится Испания».

— О да, это сказал великий король Филипп II, — с гордостью проговорил Франко.

— Это можно и забыть. Гораздо важнее, что теперь это скажете вы.

Франко поднялся и, закинув голову, без тени иронии сказал:

— Я заставлю мир дрожать.

## 3

В Советском Союзе произошло событие, привлекшее к себе внимание народов всего мира. Все прогрессивное и передовое в рядах человечества напряженно следило за развитием этого исторического события.

Но были на Земле, — на пяти шестых ее поверхности, — и такие люди, которым хотелось закрыть глаза, заткнуть уши, спрятать голову под подушку и сделать вид, что в мире ничего не произошло.

Им хотелось так поступить, но они не решались.

Как бы ни пытались они убедить друг друга в обратном, но большинство из них вынуждено было себе сознаться, что событие, которое, по их мнению, не должно было иметь никакого влияния на ход истории западноевропейских стран, прежде всего потому, что оно произошло на востоке Европы, во-вторых, потому что оно имело, по их мнению, чисто внутренний характер, в-третьих, потому что во всем капиталистическом мире были приняты все допустимые и недопустимые меры, чтобы извратить истинный смысл этого события, — все же, вопреки всему, это событие оказывало непосредственное влияние на жизнь всей Европы и даже на жизнь всего мира. Людьми, не желавшими это признать публично, но с горечью признававшимися в этом самим себе, были правители и правые политические деятели большинства европейских стран.

Событием, о котором идет речь, было опубликование проекта новой Конституции СССР, великой хартии осуществленных прав трудящегося человека, хартии победы социализма в СССР. Это был еще только проект, он еще только обсуждался страной, но его революционизирующее действие уже сказывалось на жизни народов далеко за пределами Советского Союза.

В числе многих других стран, это событие было с энтузиазмом встречено и демократической общественностью Франции. Оно придало новые силы французскому пролетариату, ведомому Коммунистической партией Франции в активной и последовательной борьбе с реакцией. Движение, закончившееся оформлением

Народного фронта и образованием правительства Народного фронта, с наибольшей мощью проявило себя в традиционной демонстрации 14 июля, посвященной историческому дню взятия Бастилии в 1789 году.

Никогда еще на всем протяжении ее бурной истории французская столица не видела манифестации такой силы и такой сплоченности: миллионы парижан шагали по ее улицам и бульварам, митинговали на ее площадях и перед ее дворцами. И ни одна фашистская шавка не смела высунуть морду из подворотни. В этот день французский народ показал, что он стоит сплоченным фронтом, не уступит своих позиций и готов переломить хребет пробирающемуся во Францию фашизму. Почти миллион парижан принес в этот день клятву верности делу народа. Трудовая Франция все отчетливее понимала, что ее злейший враг — фашизм. Французы поняли, что в Германии и Италии фашизм мог прийти к власти только потому, что в результате подлой политики социал-демократов рабочий класс оказался политически расколотым и разоруженным в критический момент, требовавший его действий. Все меньше оставалось французов, которые не поняли бы, что фашизм — это бешеная реакция, что фашизм — это война. У всех перед глазами был урок Германии. Все видели, что германский фашизм является зачинщиком нового крестового похода против Советского Союза. Миллионные массы трудящихся всех стран все отчетливее сознавали, что «хозяева» буржуазных государств, все эти «тысячи», «сотни» и «десятки» «семейств» банкиров и промышленных королей, ненавидят СССР лютой ненавистью, потому что Советская страна — это светлое будущее всего человечества.

Борьба против антисоветских замыслов стала для каждого народа борьбой за свои собственные кровные

интересы. Простые люди всех стран все яснее сознавали свои силы и считали, что не за горами время, когда они приведут эти силы в действие. Тогда наступит конец всем тысячам, сотням и десяткам «династий» угольных, стальных, нефтяных и всяких иных «королей». Чем больше простые люди присматривались к происходящему в мире, тем яснее им становилось, что залог успеха борьбы — единство. Первое, что нужно было сделать, — создать единый фронт, установить единство действий рабочих на каждом предприятии, служащих — в каждом учреждении, всех вместе — в каждом районе, в каждой стране, во всем мире. Единство действий трудящихся в национальном и международном масштабе — вот могучее оружие, которое сделает трудовой люд способным не только к успешной обороне, но и к наступлению против фашизма, против войны!

Чем успешнее шло дело объединения народных масс вокруг лозунгов Народного фронта, тем многочисленнее становились аудитории, перед которыми выступали коммунисты. Народ хотел их слушать, народ тянулся к правде, которую они несли. Когда на митинге 14 июля Торез привел в своей речи слова Ленина, кто-то из толпы крикнул:

— Повторите!.. Мы должны это запомнить!

Торез громко и раздельно, чтобы было слышно самым дальним, повторил:

— Ленин говорит, что жизнь возьмет свое. Пусть буржуазия мечется, злобствует до умопомрачения, пересаливает, делает глупости, заранее мстит большевикам и старается перебить (в Индии, в Венгрии, в Германии и т.д.) лишние сотни, тысячи, сотни тысяч завтрашних или вчерашних большевиков: поступая так, буржуазия поступает, как поступали все осужденные историей на гибель классы. Коммунисты должны знать, что будущее

во всяком случае принадлежит им, и потому мы можем (и должны) соединять величайшую страстность в великой революционной борьбе с наиболее хладнокровным и трезвым учетом бешеных метаний буржуазии.

Сто тысяч рабочих, стоявших перед Торезом, вслушивались в каждый шорох усилителя...

Это происходило в Париже 14 июля 1936 года.

На рассвете 17 июля 1936 года радиостанция Мелильи в Испанском Марокко послала в эфир условный сигнал: «Над всей Испанией безоблачное небо».

Африканские владения Испании и протектораты Ифни, Рио де Оро и Фернандо-По, Канарские и Балеарские острова, за исключением Менорки, оказались в руках мавров и Иностранного легиона, поднятых генералами-предателями на бунт против правительства Испанской республики.

«Над всей Испанией безоблачное небо...»

Восемнадцатого сигнал был принят в Севилье, где военным губернатором был предатель, вечно пьяный генерал-«социалист» Кейпо де Льяно. Он вывел на улицу войска гарнизона и поднял мятеж. Он роздал оружие фалангистам, снова у всех на глазах напялившим зеленые шапки.

«Над всей Испанией безоблачное небо...» — повторяла Мелилья. Офицеры-изменники выводили на улицы свои банды в городах Южной Испании: в Кадиксе, Гренаде, Кордове.

На севере генерал Эмилио Мола возглавил мятеж в Бургосе, Памплоне, Сарагоссе, Саламанке.

Организованный британской секретной службой, с ведома французской разведки, на американские деньги, щедро раздаваемые руками немецких разведчиков, генеральский мятеж начался.

Заносчивые испанские гранды в генеральских мундирах и во фраках дипломатов превратились в простых агентов иностранных разведок. Этим изменникам, утратившим право называться испанцами, в качестве награды за победу над народом было обещано то, что и в прежние времена давалось шайкам наемников: города и села на поток и разграбление.

Совершенно так же, как в те «добрые» старые времена, отозвался на события и святейший отец из Рима. «Наместник Христа, преемник святого Петра», Пий XI прислал своей черной монашеской армии в Испании апостольское благословение на войну с народом. Священники пятидесяти тысяч католических церквей и монахи пяти тысяч католических монастырей Испании должны были шпионить, предавать, стрелять из-за угла в республиканцев, разлагать их тыл клеветой на республику, церковными карами для ее сторонников и индульгенциями для каждого, кто совершит любое преступление против народа.

Но, несмотря на все это, несмотря на широкую помощь международного капитала, несмотря на активную поддержку германо-итальянского фашизма, просчеты мятежников следовали один за другим, начиная с первого дня восстания. Гарнизоны многих городов остались верны республике; флот и авиация почти вовсе не откликнулись на изменнический призыв мятежных генералов. В крупных городах с сильною прослойкою рабочего населения мятеж был подавлен в первые же часы.

Одно из самых тяжелых сражений пришлось выдержать рабочим Мадрида у Инженерной казармы Ла Монтанья. В ней собралось большое число офицеров и несколько тысяч солдат. Уверяя солдат в том, что «красные» убивают всех военных, офицеры пытались повести их в бой. Однако вопреки реакционной во-

енной теории, говорившей, что почти невооруженные рабочие, наспех организованные в военные дружины, ничего не смогут поделать с отлично оснащенными войсками, засевшими на возвышенности за толстыми стенами, вопреки буржуазному «здравому смыслу», казармы были взяты народом.

Севильские рабочие, у которых не было никакого оружия, четыре дня боролись с наступавшими мятежниками, отстаивая квартал за кварталом, пуская в ход свое единственное средство защиты — ножи и горячее масло. Женщины кипятили масло и под градом пуль несли его в кувшинах своим мужьям и братьям, забаррикадировавшимся в домах. В Барселоне рабочие разгромили мятежников и перебили их вожаков. Так было и в Малаге, в Картахене, Бильбао, Валенсии, Аликанте.

Испанский народ давал своему демократическому правительству время понять, насколько правы были коммунисты, когда предсказывали мятеж и требовали вооружения народа. Мятеж генералов, рассчитанный на быстрый «переворот», провалился, превратившись в затяжную войну генералов с народом. Это требовало серьезных выводов правительства. Народ ждал их.

В Испании началась первая общеевропейская битва Второй мировой войны, затевавшейся мировой реакцией.

И едва ли не с первых же дней этой битвы народные массы многих европейских стран, разбуженные призывами, доносившимися из Москвы, поняли, что их правительства, вплоть до так называемых «социалистических кабинетов», идут на помощь не жертве восстания — законному правительству Испанской республики, а мятежникам. Фашистские правительства

Германии и Италии старались замаскировать свою военную помощь мятежникам, которые после первых неудач оказались в критическом положении. Но Гитлер и Муссолини были с такою наглядностью разоблачены Советским Союзом, что всему миру стало ясно: происходит не что иное, как самая наглая, самая циничная военная интервенция с целью установить фашистский режим на Пиренейском полуострове.

Как только это обнаружилось, международная солидарность трудового народа привела в движение огромные людские массы во всех странах мира. Всюду — от Китая до Мексики, от Болгарии до Канады — началось движение солидарности с испанским народом. Сотни и тысячи антифашистов стремились в ряды армии Испанской республики. Через десятки границ пробирались они на помощь своим испанским братьям. Бойцы, из которых потом был сформирован целый польский батальон Домбровского, сумели поодиночке и небольшими группами вырваться из фашизированной Польши, проехать через враждебную фашистскую Германию, через Францию, правительство которой уже выступило в роли организатора «невмешательства». Простые люди десятков национальностей, — рабочие и интеллигенция, — шли исполнить свой долг.

Началось великое сражение демократии с фашизмом.

## 4

Зинна угнетало вынужденное безделье.

В Севилье бои, баррикады в Барселоне, огонь в Мадриде, а он в безопасности, в Москве? На помощь республиканцам идут добровольцы со всех концов мира, а он здесь? Ездит по клубам и поет!.. Рукоплескания, которыми москвичи встречали «Болотных солдат» и

«Красный Веддинг», доставлявшие ему прежде столько творческой радости, перестали удовлетворять.

События уже показали всем, что мятеж Франко и Мола — не простой офицерский бунт кучки заговорщиков, а тщательно подготовленный поход международного фашизма на демократию. Мятеж вызвал в Испании гражданскую войну, грозившую затянуться. Место Зинна было там, на полях сражений Андалузии и Каталонии, на боевых рубежах Кастилии, Наварры и Астурии! Все звало его туда. Неожиданная задержка с французской визой выводила его из себя.

Что же привлекало его в этот душный вечер в летний театр, да еще прямо ко второму акту?.. Только название пьесы «Салют, Испания!..»

Широкая дверь театрального фойе отворилась. В сад хлынула публика. Зинн не заметил, как к нему подошел небольшого роста крепыш с круглым добродушным лицом, словно освещенным сиянием веселых, немного лукавых глаз. Человек этот положил на плечо Зинну небольшую крепкую руку с короткими сильными пальцами. На хорошем немецком языке сказал:

— Товарищ Зинн грустит?

Это было сказано с тем особенным задорным добродушием, по которому Зинн сразу и безошибочно узнал Иштвана Бартока, старого знакомца, венгерского коммуниста, поселившегося после мировой войны в России и ставшего теперь популярным советским писателем.

— Я думал, тебя давно нет в Москве, — сказал Барток, подсаживаясь к Зинну.

Зинн с досадою рассказал о затруднениях с визами:

— Я мог ждать чего угодно, но не того, что встречу препятствия со стороны французского посольства.

— Чем французские правые социалисты лучше других? — с усмешкою спросил Барток.

Зинн сердито посмотрел на него.

— Я не хочу, чтобы сейчас меня лишали права драться за свободу испанских рабочих, как я дрался за свободу наших немецких рабочих, как готов драться на любых баррикадах, где будет идти бой с реакцией! Не хочу, чтобы мне мешал кто бы то ни было, во имя чего бы то ни было...

Барток взял Зинна под руку и повел в боковую аллею, где не было публики.

— Я тебя не только люблю, Гюнтер, но и знаю. Поэтому... поступай так, как тебе подсказывает совесть революционера. Иди туда, куда она тебя зовет. — Барток усмехнулся и заглянул ему в глаза. — Вот там-то мы с тобой и встретимся!

— Ты... ты шутишь?!

Вместо ответа Барток кивнул в сторону театра, откуда доносился звонок.

— Антракт окончен!

Они вошли в зал.

Взволнованный разговором с Бартоком, Зинн не очень внимательно следил за спектаклем. Ему не сразу удалось взять себя в руки.

Генерал на сцене отдал приказ:

«Выставить живую баррикаду!»

Фашисты схватили женщин и построили их в одну линию во главе с матерью молодой героини Люсии.

Фашистские солдаты стали за этой живой преградой.

Смолкли выстрелы республиканцев...

Тогда старая мать крикнула:

«Стреляйте, братья! За нами стоят фашисты. Я благословляю пулю, которая пронзит меня!.. Стреляйте...»

С этого момента Зинн уже не мог оторваться от сцены. Забыл все, кроме того, что видел перед собою: простой испанский народ, истекающий кровью, пылающий негодованием и беспощадной ненавистью к фашизму, благородный и свободолюбивый испанский народ...

Шествие с останками юной Люсии приближалось к рампе. Звуки траурного марша стихали.

Мать: «Прощай. Я уже все сказала, провожая тебя... Если бы я имела четвертую дочь, я сказала бы ей, как когда-то тебе, Люсия: теперь иди!»

Пассионария обнимает старую мать и восклицает:

«Я хотела бы быть твоей четвертой дочерью!»

Зинн вскочил. Он больше не мог сидеть; он хотел туда — на каменное плато Гвадаррамы!

Занавес опущен, но рукоплескания не умолкали. Сквозь них прорвался откуда-то из задних рядов крик:

— Салют, Испания!

И сквозь непрекращающийся плеск ладоней хор сотен голосов подхватил:

— Салют, Испания!

И вдруг крики смолкли. Пробежав между рядами, двумя большими прыжками миновав трап над оркестром, Зинн выбежал к рампе. Широкоплечий, крепкий, с мужественным лицом, с откинутыми назад русыми волосами, он стоял, подняв кулак приветствия Красного фронта. Это был крепкий, жилистый кулак рабочего.

Над залом пронесся хлещущий сталью гнева и боевого накала баритон Зинна:

Марш, фронт народный,
В бой за край свободный!
В наших рядах не дрогнет ни один...

Скрипка в оркестре неуверенно подхватила мотив. Потом флейта, рожок, фортепиано. Через минуту весь оркестр уверенно аккомпанировал певцу, все стоявшему со сжатым кулаком и посылавшему в зал слова страстного призыва.

Вместе с рабочим, крестьянин, шагай,
Вместе иди на врага,
Мы от фашистов очистим свой дом.
Церкви и замки на воздух взорвем...

Пели скрипки.

Все дружней и увереннее зал отзывался на клич певца:

Смело, товарищ, добудем в бою
Счастье свое и свободу свою...

Снова взвился занавес, и актеры — одни уже в пиджаках, другие еще в театральных костюмах, наполовину разгримированные, — построились за спиною Зинна, подхватили песню...

Когда Зинн сошел со сцены, Барток взял его за руку.

— Ты тот же, что и был. Ты настоящий парень!

Зинн отер вспотевшее лицо.

— Идем же, — сказал Барток, — выпьем, как старые солдаты, за то, чтобы ты и там пел так же!

— Там я буду драться!

Барток тряхнул головой:

— Хорошая песня стоит десятка винтовок!

— Винтовка, прежде всего винтовка, Иштван.

— Песня и винтовка. А вот я... я должен буду оставить перо тут. На войне нельзя быть и писателем, и

солдатом... Или можно?.. Писателем-солдатом... Я еще не знаю.

Зинн удивленно посмотрел на него.

— Куда ты меня тащишь?

— Я же сказал: по стакану вина.

— Сначала я должен послать телеграмму Руди Цихауэру. Ты его, кажется, не знаешь.

— Нет.

— Отличный малый. Он должен быть там же, где и мы.

— Смотри! Лишние люди...

— О, это настоящий человек. И какой художник! Смотри-ка: писатель, художник и певец!

— Писателя можешь вычеркнуть, он останется здесь.

— Так три солдата.

— Это пойдет!

И, усевшись за столик под открытым небом, подальше от веранды с оркестром, Барток приказал подать вина.

— Пью за тебя, — сказал он, поднимая стакан. — За настоящего немца и настоящего коммуниста.

— Здесь поднимают тосты? — послышалось вдруг рядом с их столиком.

Возле них стоял человек маленького роста, со впалой грудью. Зинн не отыскал в нем ни одной характерной, приметной черты, на которой можно было бы остановиться, чтобы описать его наружность. Разве только не по росту и не по лицу большой горбатый нос. Глаза воровато прятались за большими очками. Их-то, вероятно, и не мог бы не запомнить Зинн, не будь они спрятаны за стеклами, — столько в них было хитрости и самоуверенной наглости.

Не спрашивая разрешения и не представившись Зинну, человек подсел к столику. Он говорил много, громко

и быстро, не скрывая удовольствия, которое испытывал сам от того, что говорил. С Бартоком он обращался как старый приятель, но Зинну казалось, что только добродушие Иштвана заставляет его отвечать в том же тоне. Когда разговор коснулся Венгрии и Будапешта, человек в очках развязно и совсем некстати проскандировал:

— Вас ждет жемчужина Дуная! Столица красивых женщин! Лучшая в мире кухня! Город любви и цыганской музыки. Приезжайте к нам!

Барток опустил глаза, и лицо его потемнело. Зинн видел, что его другу неприятен этот разговор об его родной стране. Пусть это и правда, что Хорти и его компания готовы за несколько лишних долларов превратить Венгрию в публичный дом для всей Европы, но не следует задевать национальное чувство такого человека, как Иштван Барток. Внезапная неприязнь к незнакомцу взяла в Зинне верх над привычной вежливостью, и он без стеснения бросил Бартоку:

— Нам с тобой нужно поговорить с глазу на глаз.

Незнакомец поднялся и отошел.

— Кто это?

— Старый знакомый, журналист, — добродушно сказал Барток, словно хотел сгладить неприятное впечатление, произведенное его знакомым.

— Журналист он или нет — не знаю, — зло сказал Зинн, — но то, что он тебе не друг, скажу наверняка! Ты когда-нибудь заглядывал ему за очки?.. Как его зовут?

— Михаэль Кеш.

— Неужели венгр?

— Он с детства жил в Штатах. — И так, словно ему было стыдно за другого, Барток смущенно добавил: — Его отец троцкист.

— А-а... — протянул Зинн. — Тогда многое понятно. Но это не меняет дела.

— Каждый хороший человек — лишний боец в наших рядах.

— А с чего ты взял, что этот твой Кеш — хороший? Откуда ты знаешь, что и сам он не троцкист?

— Он давно признал свои ошибки.

— И не вернулся к ним?

— Я бы знал об этом.

— Черта с два! Тайный троцкист — такая гадина, что нужно очень тонкое чутье, чтобы его распознать.

— У него отобрали бы партийный билет.

— А ты думаешь, кое-кто из них не ходит еще с партийным билетом, сохраненным обманным путем, всякими лживыми покаяниями и очковтирательством? Нет, если бы ты сразу сказал мне, что Кеш из таких, да еще из Америки...

— Я вовсе не так прекраснодушен, как ты рисуешь, — с оттенком обиды произнес Барток.

— Честный человек и сын своей страны не мог бы говорить о ней так, как этот твой Кеш. Это импортный товар — презрение к стране отцов, к отчизне, давшей тебе свое имя. Это ничего общего не имеет с нашим интернационализмом, это самый отвратительный вид космополитизма, безродности, которую Троцкий пытался воспитать в дурачках и негодяях, каких ему удавалось поддеть своей враждебной брехней. Знаем мы эту «левизну», выгодную тем, кто ищет диверсионной агентуры в рядах всякой швали без рода и без племени, без огня любви к отечеству в груди!

— Это предатели до мозга костей!

— Но ты же не перестал быть венгром, ты не перестал с благоговением произносить имя твоей родины?

— Подумай, что ты говоришь, Гюнтер!

— Не мне тебя учить. Каждый из нас отвечает за своих друзей.

— Да, каждый из нас, Гюнтер. И с каждого из нас спросится за его друзей.

— Должно спроситься! Однако идем: нужно же телеграфировать Цихауэру. Итак, назначаю ему свидание в Париже.

Барток дружески взял Зинна под руку:

— На сборы тебе дается один день. И вот что: вместе с писателем Иштваном Бартоком здесь остается и его псевдоним. Он снова становится самим собою — Тибором Матраи! — Шагая по дорожке развалистой походкой старого кавалериста, он тихонько запел:

Мы мчались, мечтая
Постичь поскорей
Грамматику боя,
Язык батарей...

— О, Иштван! Русские, — какой это удивительный народ.

Барток, будто не слыша его, напевал:

Новые песни
Придумала жизнь...
Не надо, ребята,
О песнях тужить.

Не надо, не надо,
Не надо, друзья,
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!..»

Вдруг он остановился посреди аллеи и, схватив Зинна за плечи, сильно потряс:

— Viska la Rusia![1]
— Es lebe... Moskau![2] — ответил Зинн.

## 5

По мере того как выяснялись военные перспективы испанского предприятия Гитлера и Муссолини, настроение генерала Гаусса улучшалось. Ему нравилось, что эта операция, задуманная как чисто политическая авантюра, которая должна была бы завершиться в какую-нибудь неделю, разрасталась в настоящую войну с применением всех родов оружия. Испания обещала стать интересным полигоном для обучения немецких войск и для испытания в боевых условиях новых видов вооружения. Это было для армии куда интереснее Китая, где проходили боевую школу всего несколько десятков немецких офицеров под видом всякого рода инструкторов и наблюдателей. Пока еще Гаусс не спешил давать военно-политическую или оперативную оценку испанским планам, но в перспективе ему чудилось осуществление того, что не было предусмотрено немецкими штабами: Иберийский полуостров мог стать одним из плацдармов для борьбы с Францией и изменить всю европейскую игру Германии. В случае военной удачи и умения дипломатов ее использовать (во что Гаусс не очень верил) знаменитый план Шлиффена может превратиться лишь в половину самого себя — он станет северной клешней того охвата Франции, южную клешню которого придумает он, Гаусс... «План Гаусса»... Это будет звучать!.. Если, конечно, Франция и Англия вовремя не придут в себя и не поймут, чего им будет стоить их нынешняя «страусовая» политика.

---

[1] — Да здравствует Россия!
[2] — Да здравствует Москва!

Гаусс приходил к заключению, что, в конце концов, богемский ефрейтор и не так уж плох, как казалось. Маньяк-то он маньяк, но, признаться, маньяк на месте! Хотя, если подумать, то наглость, с которой были проведены крупнейшие мероприятия по возрождению армии (объявление всеобщей воинской повинности и восстановление военно-воздушного флота), нахальство, с каким произошло вторжение в Рейнскую область, с каким был захвачен Саар и с каким Гитлер готовился проглотить Мемель и Данциг, — все это становилось чересчур очевидным, грубым и шумным. К чему этот шум? Ведь никто же ему и так не мешает. Наоборот, все еще помогают с видом «добрых соседей». Пожалуй, это всеобщее потворство и ведет к беде: ефрейтор стал слишком много о себе воображать. Этак, чего доброго, на долю генералов ничего и не останется от славы, даже от ее военной половины.

В те все более редкие минуты, когда можно было по старинке вытянуться на диване с сигарою в зубах и когда никто не торчал перед глазами, Гаусс частенько возвращался мыслью к истории своих отношений с господином «национальным барабанщиком». Перебирая встречи с Гитлером и его приближенными, Гаусс вынужден был сознаться, что никаких существенных расхождений между ними не осталось. Может быть, Гаусс действительно преувеличивает, не будучи в состоянии отказаться от того, чтобы видеть в Гитлере мелкого шпика мюнхенской разведки рейхсвера? А ведь с тех пор кое-что переменилось!..

Он потянулся к пепельнице. Французский роман соскользнул с его живота на пол, но Гауссу было лень нагнуться за ним. Мысль вертелась все вокруг того же: спор с Гитлером о том, какое из направлений удара является первоочередным — восточное или западное,

вовсе не принципиален. Это расхождение — лишь результат различного понимания тактики предстоящей борьбы. Гаусс убежден, что склонность к решению военных задач в первую очередь на востоке, о чем снова твердит в последнее время Гитлер, — результат того, что у него нашелся дурной советник. Гаусс надеялся, что, отправив Шверера в Китай, он избавился от подозреваемого им военного помощника Гитлера по русским делам. Теперь нужно было постараться, пользуясь отсутствием Шверера, снова втолковать Гитлеру, что поход на Россию должен начинаться с нападения на Францию.

Гаусс сел на диван, далеко отставив руку с сигарой... А что, если поступиться самолюбием и поискать союзника в толстопузом Геринге? Они сумеют понять друг друга. Геринг принимает горячее участие в том, чтобы, как говаривал Бисмарк, «приставить горчичник к затылку Франции» со стороны Пиренейского полуострова. А кроме того, пузатый разбойник мечтает увидеть свою будущую воздушную армаду перелетающей Ла-Манш и ставящей на колени «этих» англичан...

Раздумывая над этим, Гаусс положил сигару на край пепельницы и повернулся на бок. Просунув руку между кожей диванной подушки и щекой, он блаженно закрыл глаза.

В кабинете было тихо. Денщик на цыпочках вошел и посмотрел на Гаусса. Глаза генерала были закрыты, и губы издавали тихое бульканье. Денщик поправил туфли у дивана и погасил верхний свет. Дверь кабинета снова тихонько затворилась.

Прошло с полчаса.

Гаусс проснулся и позвонил.

Когда денщик поднял шторы, генерал с удивлением увидел, что за окном еще солнце, день, жизнь.

А он спит!.. Разве ему осталось так много жить, чтобы с юношеской расточительностью терять свои часы? Спать, когда можно работать, работать, работать... Нет, это никуда не годится! Гауссу показалось, что с этого момента все должно измениться. Он больше не должен спать перед обедом. Пусть врачи говорят, что им угодно. Он полон сил и энергии!

Генерал выпростал ноги из-под пледа и увидел, что в этот прекрасный августовский день на нем теплые носки. Кто тут в доме вообразил, будто он настолько состарился? К черту!

Гаусс принялся медленно расхаживать по кабинету. Он не любил напоминаний о старости. Сегодня же мысль о ней была ему просто смешна.

Гаусс остановился перед столиком между окнами, занятым огромным военным атласом. Генерал наизусть знал номера листов, в которые чаще всего заглядывал, — Франции, Голландии, Бельгии, стран Восточной и Юго-Восточной Европы. Но сегодня пришлось провести пальцем по оглавлению: Пиренейский полуостров...

Щурясь от попадающего в глаза дыма сигары, Гаусс долго стоял над картой Испании. Картины операций, которые можно разыгрывать на просторах этого великолепного полигона, увлекли его воображение. Ему рисовались жирные стрелы обходов, охватов и атак; пунктиры маршей; флажки штабов и изогнутые гребенки обороны. Все роды войск, все виды нового вооружения могут быть испытаны на такой просторной, разнохарактерной местности. Огромные пространства долин и плоскогорий для столкновения войсковых соединений; широкие реки для упражнения понтонеров; заманчивые дефиле; отличные дороги для движения механизированных частей; гряды хребтов, где горные

дивизии испробуют пригодность людей и снаряжения к действию под огнем современной артиллерии, под ударами авиации...

Недаром старый приятель Нейрат сказал:

— Можешь спокойно заниматься в Испании любыми вивисекциями. Времени сколько хочешь. Поверь мне, ни англичане, ни французы и пальцем не двинут, чтобы помочь республике. Мы имеем основания быть спокойными за их политику. Они сами помогут нам завязать узел на шее испанцев, а следовательно, и своей собственной так, что потом уже никто не распутает.

— А русские? — спросил тогда Гаусс.

— Русские?.. — Нейрат подумал. — Сложный вопрос.

Если дело обстояло так, то Гаусса вполне устраивало неторопливое развитие операций в Испании. Он даже ничего не имел против того, чтобы итальянцы испытали на себе разок-другой, что такое настоящая война. Это посбавит спеси генералам дуче, уже вообразившим себя настоящими вояками. Пусть им немного помнут бока. На этот раз немцам некуда торопиться!

Выпуклый голубоватый ноготь Гаусса звонко щелкнул по карте в том месте, где кончик Пиренейского полуострова был окрашен в цвета британских владений. Гибралтар!.. Вот где немцы подберутся к самому горлу Британской империи.

Гаусс, как завороженный, глядел на эту оконечность Европы, и ему хотелось крикнуть, что господа островитяне уже сейчас могут выкинуть в помойное ведро свой ключ от путей в Индию и Австралию. Чемберлен, конечно, не помешает немцам забраться на Иберийский полуостров. А тогда уже немецкие батареи упрут свои дула в спину этой Гибралтарской «твердыни». Британские корабли будут проходить из Атлантики в

Средиземное море не иначе, как под дулами немецких дальнобойных пушек и под угрозой торпед немецких подлодок!.. С одной стороны Гибралтар, а с другой — Сеута. Вот они подлинные Геркулесовы столбы, которыми будет владеть Германия!

Но... молчок! Молчок, молчок! Пусть Нейрат и Риббентроп делают что хотят, но англичане и французы должны верить, будто немцы преследуют в Испании единственную цель — задушить «красных».

Гаусс с треском захлопнул атлас... От дуновения воздуха пепел сигары упал и рассыпался тонким серым налетом по зеленому переплету: «Атлас мира»... Золотые буквы. Золотое слово «Мир»... Мир... Весь мир! Германский!

Держа «сигару в вытянутых пальцах, словно это был светильник, которым он освещал себе путь в великий германский мир, Гаусс шел по квартире.

В зале, граничившем с кабинетом, стоял уже полумрак. Неверными силуэтами выделялись в простенках накрытые белыми чехлами стулья.

Гаусс прошел в зал, не поднимая головы, и остановился на пороге гостиной. В сумерках нельзя было разобрать ничего, кроме контура рояля, еще более черного, чем чернота темноты. По стенам темнели квадраты картин. При виде этих огромных четырехугольников волна любопытства, как при встрече с полузабытыми друзьями, поднялась в Гауссе. Он повернул выключатель и окинул взглядом стену — тут были его французы. Гаусс сунул сигару в рот, расставил ноги и, заложив руку за спину, тщательно вставил в глаз монокль.

Вот его последний фаворит Маркэ.

Да, черт возьми, если нюх ему не изменяет, он правильно вкладывал деньги! Тут уже собралось картин

на несколько сотен тысяч марок. И будь он проклят, если «лягушатники» не поплатятся за все неприятности, которые ему доставляют споры с Гитлером! Он и не подумает заплатить им хотя бы пфенниг за то, что возьмет когда-нибудь в Париже!..

Созерцание сокровищ было нарушено появлением денщика.

— Прикажете подавать?

Гаусс хмуро проследовал обратно по тем же комнатам, в которых солдат предупредительно зажигал свет, и вошел в столовую. Огромная комната с панелями мореного дуба, освещенная люстрой и несколькими канделябрами, все же производила впечатление темной. Длинный стол, за которым свободно можно было провести военную игру целого корпуса, казался бесконечным. На его черном просторе затерялись два прибора. У одного из них, положив руки на спинку стула, стоял Отто. Гаусс посмотрел на его постную физиономию и мысленно усмехнулся: «Ничего, пусть поскучает!» Гаусс не был намерен обрекать себя на обеды один на один с тарелкой. Не болтать же с денщиком! А именно за едой к нему нередко приходят лучшие мысли. Если бы Отто не был глуп, то записывал бы все, что слышит от патрона. Когда-нибудь это будет иметь цену! Но Отто, кажется, не из тех, кто способен ценить что бы то ни было, кроме девчонок.

Сегодня еда доставила Гауссу необычное удовольствие. Он с наслаждением обрывал мясистые лепестки артишока. Тщательно помакав их в соус, бережно выдавливал зубами мякоть. Отто исподтишка поглядывал на генерала, удивляясь, что тот дает ему спокойно есть, не требуя реплик. Ведь обычно, сидя над нетронутыми блюдами, Гаусс засыпал его брюзгливыми вопросами.

Только за кофе Гаусс наконец заговорил:

— Скоро в Париж?

— Если позволите, через неделю.

— Отец раскачался на покупку лошади?

Хотя скаковая лошадь и не была куплена отцом, а получена от Кроне в награду за секретные услуги, Отто ответил:

— Да.

— После Парижа побывай в Ницце. Если займешь там классное место, можешь рассчитывать на Англию.

Разговор о лошадях оживил Гаусса. Вспомнились времена, когда он сам был непременным участником офицерских скачек.

— Доволен лошадью? — спросил он.

— Еще не понял.

— А ты покажи ее мне! Разобраться в статях коня — не такое простое дело, — самодовольно сказал Гаусс. — Но уж я-то скажу тебе, чего он стоит!..

Он встал и, жестом разрешив Отто оставаться на месте, несколько раз прошелся по столовой. Ленточка сигарного дыма тянулась от его левой щеки. Гаусс ходил молча. В гулкой тишине комнаты было слышно только осторожное позвякивание серебра, убираемого лакеем. Отто незаметно катал хлебный шарик, — кадетская привычка, от которой не могли отучить нотации отца. Внезапно генерал остановился:

— Может быть, из Франции тебе придется проехать в Испанию.

Отто насторожился, но генерал умолк и вернулся в гостиную, к своим французам. Некоторое время он стоял у окна, докуривая сигару. Ему было видно, как на освещенный подъезд вышел Отто и спустился к ожидавшему его автомобилю. Из автомобиля высунулась женщина. В свете электричества генерал увидел лицо с сочными губами большого рта.

Дверца захлопнулась за Отто, и автомобиль уехал.

Гаусс поймал себя на том, что его лоб крепко прижат к стеклу. Не хотел ли он поближе рассмотреть женщину? Чего доброго, если бы не стекло, он бы и вовсе высунулся из окна!..

Он с удовольствием крякнул и громко щелкнул сухими пальцами.

## 6

На одной из тихих улиц Берлина, населенной чиновным людом средней руки и торговыми служащими, стоял большой дом, ничем не выделяющийся среди других доходных домов.

На третьем этаже этого дома была квартира с медною дощечкой на двери: «Доктор Зеегер. Нервные болезни». И под нею — другая, поменьше, но сразу заметная — черным по белой эмали: «Прием только по рекомендации».

Когда раздавался звонок, доктор Зеегер набрасывал халат и сам отворял дверь. У него были основания избегать «нерекомендованных» пациентов.

В это сентябрьское утро доктор Зеегер стоял на пороге балконной двери и курил. Опущенная над балконом маркиза оставляла в тени всю комнату и скрывала самого доктора от глаз тех, кто мог бы видеть его из окна на противоположной стороне улицы.

Наблюдая со своей позиции за улицей, доктор, не оборачиваясь, разговаривал с сидевшим в комнате полковником Александером.

— Вы дурно произносите русские имена, доктор, — сказал полковник, сидевший в глубине комнаты.

— Да, с русским у меня неважно, — сознался Зеегер.

— Нужно заняться... В ваше ведение я передаю троцкистское хозяйство и в России.

— О-о! — Зеегер оторвался от наблюдения за улицей. — Довольно беспокойное хозяйство!

— И вы говорите это, получая его готовым! Когда-нибудь исследователи отметят это дело Секта.

— Вас всегда интересует широкий план, — с чуть заметной насмешливостью проговорил Зеегер, — а я давно уже склонен к восприятию реальностей такими, каковы они сегодня.

— Если бы я поверил, что это так, то немедленно выкинул бы вас из игры, дорогой доктор, — внезапно нарушая дружеский тон, в котором велась беседа, резко проговорил Александер. — Работник вашего ранга должен понимать: наша служба вышла из фазы простого подбирания чужих секретов. Когда пятнадцать лет назад, с согласия Секта, я впервые передал Троцкому четверть миллиона марок, то я платил не за сведения о нескольких десятках устаревших самолетов Красной Армии. Мы хотели делать политику и делали ее для далекого будущего. И это, заметьте, при ограниченных возможностях того времени! Когда нам не хватало государственных ассигнований, мы искали средства в частных руках.

— Кажется, я...

— Знаю и ценю. Именно вам мы обязаны связью с Сименсом. Но тут вы получили свой куртаж.

— Упрек?..

— Только дружеское напоминание о том, что мы оплачиваем всякую услугу.

— Заметьте, полковник, — хвастливо произнес Зеегер, — как социал-демократ я рисковал больше других.

— Ну, положим! Риск не очень-то велик, когда чувствуешь за спиною нашу руку.

— А вы бы сами попробовали когда-нибудь пройтись на рабочее собрание под страхом разоблачения в любую минуту!

— Это ваша функция, а не моя. Ведется большая политическая работа, доктор, а вы живете масштабами какого-то собрания, которое может поместиться в этой комнате.

— Размер комнаты не определяет масштаба дел.

— Теперь нам больше, чем когда-либо, понадобятся социал-демократы. Все ваши друзья в Англии и Франции, в Испании и Китае. Все, что у вас еще осталось в России...

— Жалко смотреть!.. Какие-то «раскаявшиеся» подонки...

— Один шпион во вражеском тылу лучше, чем ни одного. Но вы-то и должны сделать так, чтобы их были тысячи.

— В России?!

— И в России.

Зеегер скептически пожал плечами:

— Что за фантазия!

— Если нужно будет, вы сами отправитесь туда, — неожиданно грубо отрезал Александер.

— В Россию?! — Зеегер испуганно обернулся.

— Да! — Полковник сделал паузу и со вкрадчивостью, от которой стало не по себе даже привыкшему ко многому Зеегеру, проговорил: — Вы обязаны понять: не может быть иных стремлений, кроме направленных на увеличение пирамиды, первый камень которой положен Сектом.

Он помолчал, ожидая реплики доктора, но тот тоже молчал.

— Троцкисты разлагают ряды французских революционеров; троцкисты отлично действуют в Испании,

где сейчас сосредоточено столько наших интересов, — продолжал полковник. — Вы имеете право рассматривать каждого троцкиста как своего человека.

— Да, я могу требовать от них всего, что вы сочтете нужным.

— Но события последних дней показывают, что состав нашего центра в Москве грозит стать текучим. На провал Зиновьева и Каменева нельзя смотреть как на случайный эпизод.

— У них там неладно с конспирацией.

— Этот вопрос вы должны тщательно изучить и как можно скорей, иначе мы рискуем растерять там все.

— До этого не дойдет.

— Что вы видите отсюда?! А если в той цепи есть негодные звенья?.. Если есть просто опасные люди?

— Кого вы имеете в виду?

— К сожалению, конкретно — еще никого. Но я убежден: в ваших русских кругах есть опасные элементы, неустойчивые люди...

Глаза Зеегера беспокойно забегали.

— Не скрывайте от меня...

Но Александер сказал сухо:

— Не мое дело — давать вам уроки. Но я вас предостерегаю: смотреть на троцкизм как на политическое движение — грубая ошибка.

— А что же это, по-вашему, коммерческое предприятие, что ли? — впервые теряя равновесие, сердито спросил Зеегер.

— В своем роде. Вглядитесь в деятельность троцкистов всюду, где они есть: в политике они выполняют лишь функции, поручаемые им иностранными разведками. При этом самыми различными, а не только нашей.

— Я... — Зеегер запнулся и не очень уверенно проговорил: — Я считаю себя политическим деятелем. Именно так.

Александер усмехнулся и пожал плечами.

— Если это вас утешит, готов выдать вам любой аттестат в этом смысле. Но ваши «дети» продают нас, где могут. Я могу вам доказать, что ряд ваших людей одновременно работает на британскую, французскую, американскую, японскую, даже на румынскую и польскую разведки. Иногда даже на несколько сразу.

Зеегер обиженно надулся.

— Такие вещи нужно уметь доказать, — сказал он.

Александер, прищурившись, оглядел собеседника.

— Мой милый старый друг, — сказал он тоном беззаботной шутки, — если бы у меня было время на развлечения, то не позже, чем через неделю, вы получили бы из Мексики приказ за подписью самого Троцкого обслуживать любую разведку мира. Мы должны быть трезвыми людьми, доктор. Когда подобная группа окончательно теряет местные корни, она вынуждена ориентироваться исключительно на иностранные службы, конечно, секретные. Рано или поздно эта группа из политической группировки перерождается в обыкновенную резидентуру.

— Вы говорите о мелюзге, а у нас на службе...

— Э, милый доктор, и троцкистские кандидаты в бонапарты, начиная с самого Леона первого, не составляют исключения! Правда, на этот раз они наши кандидаты.

— Пример деятельности Бернхэма... — начал было Зеегер, но Александер перебил:

— Бернхэм — не пример. У нас нет таких средств, какие американцы могут платить своей агентуре. В этом, кстати говоря, ваше счастье. Если бы мы

могли содержать берихэмов, вы сошли бы на вторые роли.

Заметив легкое движение Зеегера, полковник умолк, давая ему возможность высказаться. Но возражений не последовало. Александер продолжал:

— Из этого вам не следует делать вывод, будто не нужно поддерживать в ваших людях огонь политической, именно политической, борьбы! Если среди них есть еще идиоты, способные смотреть на себя как на политических деятелей, — тем лучше. Такие обходятся дешевле. Но их главари сами уже поняли, что превратились в шпионскую хунту, действующую по поручению тех, кто им за это платит.

— Вы... удивительный циник, полковник!

— Учитесь смотреть жизни в лицо, хотя бы когда находитесь наедине с собой... Я не в счет, я тень.

— Домой я не уношу отсюда ничего, даже мыслей.

— Если бы это не было связано с опасностью для государственной тайны, я потребовал бы, чтобы вы делились своими мыслями с женой, втолковывали свои взгляды детям вместо вечерней молитвы.

— Я не могу вас больше слушать! — И Зеегер с отвращением зажал уши ладонями.

— Однако время бежит, перейдем к делу. — Александер с минуту подумал. — Нам нужно произвести некоторое теоретическое вмешательство в дела троцкистов. Нужно оживить бухаринский тезис о мирном врастании капитализма в социализм. Если этого нельзя сделать в советской прессе, используем заграничную — на всех языках. Понадобятся деньги — дадим... Не очень много, конечно.

— Ах, бедные троцкисты в России! — сокрушенно проговорил Зеегер. — Они чувствуют, что под ними горит земля!

— Мне наплевать на их чувства, Зеегер! — Тон Александера снова стал резок. — Договор Троцкого с Гессом есть договор. Мы платим Троцкому и хотим, чтобы его шайка работала, а не рассказывала нам о своих чувствах. Для чувств существует театр и бордель.

— Ах, вы так резки, полковник, — Зеегер сделал гримасу.

— Они мои агенты. Прошу не путать понятий. Пусть эти ваши «философы» займутся той философией, за которую я им плачу.

— Лучше уж я сам... — уныло сказал Зеегер.

— Может быть, вы считаете, что мы должны вам заплатить за эту работу большой гонорар?

— Не нуждаюсь.

— Достанете сколько угодно денег и без меня? Даже за пределами Германии?

— Я не прибегал к таким источникам...

— Потому что боитесь. И вы правы: мы не пощадим. А ведь англичане охотно купили бы вас, а?.. — поддразнил Александер.

— Кажется, у вас нет оснований...

— Пока нет! Вы один из очень немногих, кто работает честно, но ведь вы делаете это только ради спасения своей головы. Именно поэтому я вам и верю: в игре со мною вы не станете рисковать такой ставкой. Подумав, Александер продолжал: — Газеты, пресса — этого мало. Внушайте своим людям: они должны лезть во все щели, какие только окажутся доступными. Пусть попробуют лишить людей веры в свое дело, в своих руководителей, во все самое ясное и светлое, что у них когда-нибудь было, в самих себя! Нужно постараться сделать так, чтобы люди там, в России, забыли свой род и племя. Нужно натравливать один народ на дру-

гой. Путайте все, все представления, все понятия... Что вы улыбаетесь?

— Вы, дорогой полковник, по-видимому, забыли, что наши кадры «философов» разгромлены.

— Кое-что осталось...

— Слишком мало для серьезной работы. У большевиков зоркие глаза.

— Пусть ваши люди закрывают их розовой вуалью. Пусть не боятся замазывать рты любым сиропом. Если это делать ловко, то русские далеко не сразу сумеют отличить нужный нам узкий национализм от патриотизма. Да, черт возьми, зачем я вас учу? Как будто вы и сами не знаете, как нужно без шума залезть в чужой дом!

— Мало — влезть, нужно еще суметь не вылететь с шумом... Увы, мы не успеем закончить этот интересный разговор, — проговорил Зеегер. — Он идет...

Полковник поднялся мягким движением и направился в соседнюю комнату.

— Имейте в виду, Зеегер, это один из самых продажных типов в вашей коллекции. Смотрите, чтобы его у вас не перекупили.

— У меня не перекупают — я перекупаю, когда хочу, — хвастливо ответил Зеегер и тщательно задернул портьеру за полковником.

Раздался звонок. Зеегер пошел отворять.

За дверью стоял Кеш.

— Вы хотели, чтобы я вновь показался перед отъездом в Париж...

## 7

Сун Хо-шин еще раз подышал на носки ботинок и бархаткой навел на них последний лоск. Поставив ботинки так, чтобы на них не падали горячие лучи

солнца, он прикрыл обувь от пыли и взялся за платье. Чистил его старательно, оглядывая каждый сантиметр ткани. Тряпочкой протер пуговицы, даже подул на вывернутые карманы.

Хотя Сун и числился слугою немецкого военного советника фон Шверера, на нем была простая белая куртка и такие же белые брюки — одежда обыкновенного боя.

В данный момент этот белый наряд Суна был прикрыт фартуком из голубой бязи. Сун снял его, покончив с чисткой генеральского костюма, стряхнул и, тщательно сложив, спрятал в шкафчик.

Все движения Суна были быстры и точны, как если бы он их заранее рассчитал или заучил. Впрочем, именно так оно и было. В школе разведки Квантунской армии в числе прочих уроков, пройденных поручиком Харадой, были и обязанности боя. Став в силу служебного долга китайским боем Сун Хо-шином, поручик японской императорской армии Харада точно воспроизводил все то, что усвоил в школе. Только таким образом можно было, по словам устава японской секретной службы, не сделать ошибки и соблюсти необходимую конспирацию, даже находясь в такой дали от своих начальников и делая вид, будто являешься патриотом ненавистного Китая, подчиняясь презираемым китайцам и чистя ботинки белому недочеловеку...

Закончив чистку платья, Харада-Сун тихонько, словно по воздуху, приблизился к двери генеральского кабинета и заглянул в замочную скважину: Шверер сидел за письменным столом.

Перо Шверера бегало по бумаге, выстраивая ряды высоких, прямых, тесно прижавшихся друг к другу готических букв. Перо бегало быстро, буквы теснились в выровненных, как по линейке, строчках.

«...несколько раз я пытался беседовать с Чан Кайши, но старый разбойник под всякими предлогами уклонялся от разговора. Он старая, неблагодарная лиса. После того как я сформировал ему пятнадцать дивизий по лучшему немецкому образцу — почти двадцать процентов всех войск, сформированных для него немецкими офицерами со времен миссии Секта, — этот плут сунул меня на "почетное место" главного советника к Янь Ши-фану. Вместо того чтобы получить оперативное влияние на все дела армии, я очутился на изолированном и притом самом тяжелом участке.

Генерал Янь оказался ленивым и хитрым. Он думает только о том, как бы выручить еще несколько долларов от продажи риса, предназначенного на прокормление его солдат. Если представляется такая возможность, он с легкостью отдает приказ об уменьшении рациона, выдумывая для этого всякие предлоги, вплоть до исторических примеров. Он, не стесняясь, клевещет на Сунцзи, который будто бы сказал, что побеждать легче с пустым желудком. Лишь узнав об этих операциях, я разгадал причину бережливости, с которой он относится к жизни своих солдат. Рис отпускается по числу живых. Говорить о том, чтобы пополнить убыль в людях мобилизацией на месте, не приходится, а центральное правительство не присылает ни одного солдата. Так что для Яня потеря каждого солдата — потеря пайка. Он пытался фальсифицировать списки, оставляя убитых и умерших в списках армии, но его разоблачил какой-то вышестоящий вор.

Я установил контакт с нашими офицерами, находящимися при японском штабе. Фактически мы проводим маневры, в которых офицеры наших двух групп — китайской и японской — соревнуются между собою. К сожалению, полковнику Люде, возглавляю-

щему японскую группу, приходится труднее моего. Он лишен возможности распоряжаться японскими войсками и изменять планы японского командования, как это делаю я с китайцами. Японцы не терпят вмешательства в свои дела и оставляют Люде роль наблюдателя. Нам с Люде пришлось договориться о том, чтобы время от времени обмениваться немецкими офицерами, чтобы все наши люди могли пройти через активную штабную работу на моей стороне и понаблюдать за приемами японцев. Там тоже есть кое-что поучительное. Особенно в части организации оккупационных войск и обращения с населением занятой страны. Это может пригодиться нашим офицерам.

Некоторое удовлетворение доставляет ему то, что на протяжении нескольких месяцев мне почти неизменно удается одерживать верх над японцами. Может быть, они благодаря этому поймут в конце концов, что им следует подпустить Люде к делам штаба. Я возлагал большую надежду на операцию у высоты 216. Ключевая позиция на перешейке между болотами давала мне возможность атаковать японцев прямо в лоб, отказавшись от нашего традиционного охвата. Эта операция нужна была мне как наглядный урок нашим офицерам, к каким потерям ведет лобовой удар даже при успешном конце. Проиграть бой я не мог и даже поспорил с Люде на дюжину шампанского, что выкину японцев с их позиции, не применяя обхода. Пострадать должен был один Янь — много пайков он терял безвозвратно... Кто мог думать, что проклятый Янь так перехитрит меня: мое имя скомпрометировано, карьера в Китае закончена. А на то, что позиция осталась в руках японцев, Яню наплевать!..»

Шверер оторвал взгляд от тетради и посмотрел на часы, висящие против стола. Подходило время завтрака.

Шверер дописал строку, запер тетрадь в стол и с биноклем подошел к окну. Взгляд его сквозь линзы бинокля пробежал над вытянувшимися вдаль полями. Они были вытоптаны, колосья поломаны людьми и лошадьми, вдавлены в землю колесами повозок. Полегшие хлеба темнели широкими полосами. В уцелевших рядах колосья стояли наклонившись, отягощенные вызревшим, никем не собираемым зерном. Дальше, где кончались хлеба, шли заросли гаоляна. Он был отравлен меньше хлебов. Его толстые высокие стебли стояли упрямо, распушив длинные листья. Сквозь их стену ничего не было видно.

Шверер с удовольствием отметил, что войска приучаются к маскировке, используя эти заросли. Вон только левее одинокой сопки видны желтые полоски свежеотрытых окопов.

Сопка! Швереру даже не удалось найти на карте ее отметку. И подумать только, что овладение кучей этой глины уже стоит Яню полутора тысяч пайков и обойдется еще во столько же, если Шверер не откажется от идеи лобового штурма. А он от нее не откажется, так как этот урок нужен его офицерам.

Размышления Шверера были прерваны докладом Суна о приходе неожиданного гостя:

— Вас желает видеть мистер Паркер.

— Журналист? Что ему нужно?

Шверер с неприязнью посмотрел на входящего американца.

Он хмуро слушал болтовню Паркера, стараясь разгадать истинную цель его визита.

— Побывав у японцев и у вас, я намерен теперь посмотреть, что делается у коммунистов, — сказал Паркер.

— Вы едете к красным?

— Вот именно.

— Дальний путь!

— Напротив!

— О них нет еще никаких сведений.

— Они рядом!

Бровь Шверера недовольно поднялась.

— Наша разведка этого не знает.

Паркер рассмеялся:

— Не верьте ни слову китайского разведчика! Откуда вы знаете, на кого он работает? Я дольше вашего в этой стране, но очень смутно представляю себе душу желтого человека.

— Сложный механизм, — согласился Шверер и взял со стола книжку в пестром переплете. — Прочел половину и не могу разобраться в пружинах, заставляющих героев совершать те или иные поступки.

— О, «Цин пин мей», — воскликнул Паркер, взглянув на обложку, — история Си Мен-чена и шести его жен! Забавные приключения.

— Европейские герои поступали бы как раз обратно тому, что делают эти, — с досадою сказал Шверер.

— Не все то, что делают европейцы, можно считать образцом, генерал.

— С китайской точки зрения?

— Иногда и с точки зрения белого. Американцы, например, не всегда могли бы понять то, что происходит в Германии.

— Но мы оба одинаково относимся к происходящему здесь!

— Я, например, — ответил Паркер, — не могу понять, почему белый человек до сих пор не наведет здесь порядка. Покупательная способность китайцев падает с каждым днем. И мы, и вы рискуем потерять рынок, даже выгнав с него англичан.

— Не думаете же вы, что можно иметь твердый рынок там, где есть несколько миллионов коммунистов?

— Меня беспокоят и японцы, — сказал американец.

— Было бы умнее, если бы Чан открыто действовал вместе с японцами против красных. На месте вас, американцев, я давал бы ему деньги и снаряжение только при условии борьбы с коммунистами.

— С ними будет покончено в свое время.

Паркер посмотрел на часы.

— Мне пора... — И на прощанье дружески сказал: — Мы, белые люди, должны помогать друг другу. У вас немного не ладится дело со старым разбойником?

— Откуда вы знаете?

Паркер развязно подмигнул.

— Вы не понимаете местных условий: когда вам понадобится что-нибудь от Чан Кайши — поговорите с его женой.

— По военным делам?

— Даже по плану операции или по вопросу снабжения оружием — все с ней!

Американец исчез.

Шверер задумался.

Что означает этот странный совет?.. Уж не хотел ли американец поставить его в глупое положение перед Чан Кайши? Может быть, это происки японского агента, стремящегося окончательно поссорить его с маршалом?..

Шверер взял со стола большой черный веер и стал обмахиваться нервными, быстрыми движениями.

А что, если американец сказал правду и все дело в том, что Шверер обошел мадам Чан Кайши?..

Вот попробуй-ка разобраться!

Он сердито щелкнул складываемым веером.

## 8

Голова у Кеша трещала от выпитого накануне, но он побоялся проглотить таблетки, предложенные полицейским офицером.

Тщательно продумав все, что он помнил из ночного приключения, Кеш решил, что его привезли сюда по ошибке. Ошибка разъяснится и его отпустят, извинившись. В самом деле, стоит вспомнить все по порядку.

Он пришел на свидание с Дорио. Частная квартира. Хозяин поручился за надежную конспирацию. Кеш уже встречался с ним в прошлые приезды во Францию, когда привозил из СССР письма троцкистских главарей Седову для пересылки отцу. Его и раньше Дорио сводил с Седовым.

Вторым человеком, которого Кеш вчера видел, был Седов. Так как в комнате было довольно темно, то, введя Седова, Дорио включил яркий свет, — всего на минуту, необходимую Кешу, чтобы убедиться, что перед ним действительно сын Троцкого. И тотчас Дорио выключил свет и вышел. Седов пробыл недолго. Ровно столько, сколько нужно было, чтобы передать Кешу установки отца на дискредитацию испанских коммунистов и предупредить о том, что в дальнейшем, возможно, придется помочь фашистской агентуре в уничтожении вождей испанской революции. В заключение Седов передал Кешу явки в ПОУМ[1] и, в частности, к ее главарю, сообщнику Троцкого, Андресу Нину. После ухода Седова в комнату вернулся Дорио. Распили бутылку вина, и Кеш распростился.

Он отлично помнил, что зашел в какой-то кабачок и выпил еще бутылку вина. Затем был в кабаре и, ка-

[1] Поум — организация троцкистов в Испании.

жется, снова пил. Познакомился с какой-то девчонкой. Поехали... Тут-то и началось. В номер дрянной гостиницы, куда его привезла девица, ворвался тип, назвавшийся мужем девицы. Кеш сунул ему десять франков, но тот устроил скандал и, выкинув Кеша на улицу, не отставал и там. К нему присоединились еще два таких же странных субъекта. Затеяли драку. Подвернувшаяся тут же, словно она только этого и ждала, парочка ажанов тотчас свезла их всех в префектуру. Ни протесты Кеша, ни его иностранный паспорт, который он не постеснялся предъявить, не помогли. С отвратительной бесцеремонностью его пальцы намазали краской и оттиснули на карточку, словно он был карманником. Пытались составить протокол об оскорблении женщины, но Кеш отказался его подписать. Теперь ему казалось: не будь он пьян, попросту заплатил бы полицейскому комиссару и давно был бы дома. А он сглупил: угрожал, требовал, чтобы звонили в посольство. Черт знает что! Только этого не хватало, чтобы в посольстве узнали о таком происшествии.

Черт знает, какой бурды он напился! Этак забыться!..

Уж поскорее бы пришел какой-то «начальник», который может, по словам полицейского, закончить дело. Поскорее отсюда — и прочь из Парижа! В Испанию! Пора за настоящее дело!

Кеш с омерзением отбросил одеяло. Спасибо еще, что его не посадили в клоповник с уголовной шпаной!.. Послать разве за папиросами?..

Он постучал в дверь. Она отворилась с подозрительною быстротой: оказалось, что долгожданный «начальник» прибыл и готов его принять.

Кеш оправил костюм, попытался придать приличный вид измятому воротничку, с отвращением посмотрел на грязные руки и, спрятав их за спину, вышел.

За столом рядом со вчерашним полицейским комиссаром стоял капитан Анри.

Кешу показалось, что он уже где-то видал это смуглое лицо с иссиня-черными, словно лакированными, волосами, расчесанными на необыкновенно точный пробор.

Комиссар еще раз предложил Кешу подписать протокол, и Кеш еще раз отказался. Комиссар не настаивал. Кеш вздохнул с облегчением: сейчас все будет кончено. Действительно, комиссар поднялся и покинул комнату. Однако Кешу не сказали, что он свободен. Место комиссара за столом занял Анри. Он делал вид, будто просматривает протокол вчерашнего допроса.

Кешу хотелось курить. Он с завистью смотрел, как Анри, не глядя, достает из лежащей на столе пачки сигарету, не спеша закуривает. Кеш не выдержал и протянул руку к пачке.

Анри поднял на него взгляд темных глаз и, ничего не сказав, опять стал просматривать протокол. Его смуглые пальцы придвинули к себе пачку сигарет и легли на нее. Кеш мысленно обругал его хамом и, стараясь придать себе как можно более независимый вид, вытянул ноги и откинулся на спинку стула.

Молчание продолжалось. Анри старательно погасил окурок в пепельнице. Грубо спросил:

— Состоите в партии?

— Да...

— В какой?

— Сами знаете.

— Выражайтесь точно, — резко сказал Анри.

Кеш вспылил:

— Прошу вас держаться ближе к делу!

Он даже было приподнялся от возбуждения, но Анри окриком заставил его поспешно опуститься на место:

— Сидеть! Чтобы не терять времени на пустую болтовню, скажу прямо: мы знаем о вас все.

Силясь сохранить спокойствие, Кеш все же почувствовал, что слюна делается отвратительно вязкой: сейчас этот напомаженный негодяй будет угрожать тем, что он сообщит посольству о ночных похождениях... Но какого черта им от него нужно?

Анри достал из стола конверт, перетянутый красной резинкой. Сняв резинку, вынул из конверта несколько фотографий и развернул их, как карты, лицом к себе. Выбрав одну, бросил на стол. Кеш осторожно взял ее двумя пальцами, но, увидев, что на ней изображено, испытал нечто очень близкое к обмороку. В ногах появилась отвратительная слабость. Лишь сделав над собою усилие, он, как в тумане, снова увидел на карточке комнату Дорио, где был вчера вечером, увидел самого себя, здоровающимся с Седовым.

Не давая Кешу опомниться, Анри одну за другой выбрасывал фотографии. Перед Кешем проходили прежние встречи с Дорио и Седовым. Вот Булонский лес — кто видал в нем Кеша?.. Вот кафе «Дю Круассон»... вот Севастопольский бульвар, где он встретился с Седовым в прошлый приезд...

Значит, за ним следили уже несколько лет, в каждый приезд сюда... Следили, чтобы вот так однажды предъявить все это, когда он им понадобится. Хорошо, пусть Булонский лес, Севастопольский бульвар, рестораны, — там он мог прозевать шпиков. Но вчера! У Дорио не было никого постороннего... И вдруг он вспомнил: яркая вспышка лампы!

...Так вот в чем дело! Значит, сам господин Дорио?.. Значит, его выдал полиции сам вождь французских троцкистов, личный друг Троцкого?!.

При мысли об этом у Кеша вспотела шея и перед глазами поплыли желтые круги...

Анри видел против себя бледную маску с испуганными глазами, с безвольно отвисшей челюстью. Опыт Второго бюро говорил, что из таких политических проходимцев можно пополнять ряды шпионов и провокаторов всех категорий. Анри вполне устраивало, что троцкизм был на деле не чем иным, как шайкой, организованной по всем правилам гангстерских банд, — шайкой наемных диверсантов, убийц и шпионов, работающих по заданиям зарубежных нанимателей, стремящихся к подрыву политической и военной мощи Советского государства, к разрушению его хозяйства, к физическому уничтожению его государственных деятелей.

Но одного важного обстоятельства капитан Анри все же не знал: что Кеш — агент немецкой разведки.

А Кеша пугала не гнусность предложения французской полиции, которое последует за шантажом и вербовкой, — он уже знал, что за предложение это будет, — его пугало совсем другое: если французской службе нужны от него только какие-нибудь случайные сведения, она завтра же выкинет его в корзину. Советским властям французы сообщат все его дела, в расчете, что советская контрразведка разделается с ним сама.

Впрочем... едва ли такая «тяжелая артиллерия», как плоды многолетней слежки за ним, была бы пущена в ход по пустякам.

По мере того как эти соображения приходили на ум Кешу, его растерянность проходила. Как большинство трусов, он был нагл. Он рассмеялся в лицо Анри и непринужденно сказал:

— Зачем вся эта комедия? Сказали бы прямо, чего вы хотите!

Формальная сторона вербовки прошла быстро и легко. Правда, заполнение подробной анкеты и собственноручная подпись — это было больше, чем Кеш хотел бы оставить тут, но выхода не было.

В заключение Анри сказал:

— Вашей кличкой будет: Люк Моро. Каждый, кто назовет вас так, — наш человек. Его приказания для вас обязательны.

На этот раз Кеш без стеснения придвинул к себе пачку сигарет капитана Анри и, щелкнув его зажигалкой, закурил.

## 9

Леганье быстро потер друг о друга розовые ладони. Такие удачи, как сегодняшняя, бывали не часто! Он вообще заметил, что группка Дорио начала проявлять если не большее проворство, то, во всяком случае, большую услужливость, чем рассчитывало Второе бюро. Французские троцкисты уже оказали Леганье неоценимые услуги по линии разведки на различные страны, и в особенности на СССР.

Леганье волчком пустил пенсне по зеркальной поверхности стола.

Он поймал пенсне и водрузил его на нос в тот момент, когда в кабинет вошел вызванный капитан Анри.

Анри, заступившему место Годара, приходилось нелегко: «хозяйство» покойного майора оказалось весьма обширным. Анри, не обладавшему способностью Годара вербовать дешевых, а подчас и бесплатных осведомителей, приходилось довольствоваться едва одною третью своей агентуры. Но в числе сохраненных агентов был человек, сидящий в редакции «Салона». Леганье очень дорожил этим источником сведений об информации,

текущей из Берлина в Лондон по линии связи Роу. Анри не знал, что в стремлении генерала удержать одну из нитей британской разведки соображения пользы Франции занимали сравнительно небольшое место. Гораздо важнее было знать каждый шаг Роу лично самому Леганье, потому что сам генерал был таким же агентом Интеллидженс сервис, каким был и Роу.

Руководствуясь собственным опытом, Леганье плохо доверял своим офицерам. Он справедливо считал, что каждый из них может оказаться на том же скользком пути, по которому шел он сам: любого из его офицеров мог соблазнить блеск английского золота.

Когда Анри вошел в кабинет, ему понадобилось полминуты на то, чтобы сосредоточиться на вопросе об Испании, интересовавшем генерала. По последним сведениям, в Берлин прилетел, в сопровождении немецкого коммерсанта Лангенгейма, являющегося резидентом абвера в Тетуане, уполномоченный генерала Франко, генерал Маранья, своего рода разъездной агент штаба мятежников. Маранья имел свидание с адмиралом Канарисом и полковником Александером. Первый из них возил испанцев к Герингу, второй — к Гессу. Вскоре Геринг отдал распоряжение о срочном формировании эскадрилий истребителей, бомбардировщиков и военнотранспортных самолетов для Испании. Адмирал Канарис добился личного приказа Гитлера о создании секретного штаба «Ве» во главе с генералом авиации Вильбергом, которому была поручена забота о всех видах материального снабжения и посылка людей. Был отдан приказ немецким военным кораблям конвоировать к испанским портам пароходы, зафрахтованные от имени туристского общества «Сила через радость» для перевозки немецких солдат, танков и артиллерии. Далее: адмирал Канарис совершил полет в Рим, чтобы

договориться с начальником овра генералом Роатта о совместной работе немецкой и итальянской разведок в Испании.

— И, наконец, мой генерал... — тут Анри на мгновение замялся. Он не знал, в какой форме следует сделать эту последнюю часть доклада, касающуюся деятельности верховного комиссара Французского Марокко Пейрутона, направленной к поддержке испанских мятежников. У Анри были основания предполагать, что между Леганье и Пейрутоном существует связь, не проходящая по каналам французской разведки и не находящая отражения в секретных досье Второго бюро.

Предположения Анри были верны: Леганье связывали с Пейрутоном не только старые дружеские отношения, но и общие интересы коллег по фашистской организации де ла Рокка. Тем не менее Леганье слушал Анри с таким видом, словно для него было новостью, что Пейрутон снабжает Франко деньгами, что через формально закрытую границу Французского Марокко идут эшелоны с зерном; что из Меццаны в Чечауэн и из Берканы в Мелилью то и дело отправляются транспорты с припасами для франкистских мятежников; что вербовщикам Франко открыт доступ во Французское Марокко.

Все это отлично знал Леганье, но он не предполагал, что это известно и сотрудникам французской разведки. Эта осведомленность Второго бюро не доставила ему никакого удовольствия. Его собственная деятельность по линии кагуляров была его частным делом.

Леганье переместил пенсне с носа на палец и многозначительно помолчал. Потом, меняя тему, проговорил:

— Если бы мы с вами могли разгадать источник информации этого Роу, а? Сведения настолько точны и идут так глубоко, будто информатором является... сам Александер...

— О-о! — произнес пораженный Анри. Такое предположение в отношении начальника абвера казалось ему абсурдным. Его не стоило даже отрицать. — Это была, вероятно, просто шутка?

— Вот именно, — согласился Леганье. — Это была простая шутка... А теперь дело: по моим данным, из Советского Союза в Испанию выехал некий венгр по имени Барток с намерением вступить в армию Испанской республики. Это не простой солдат и не рядовой коммунист. Он едет на большие роли. Необходимо не выпускать его из виду. Этот человек может быть уже в Париже. К сожалению, я не знаю, под какой фамилией он едет. Но, если он действительно уже здесь, — вы его без труда найдете сегодня на велодроме. Там состоится митинг коммунистов, на котором выступит эта испанка Ибаррури. Там же вы увидите этого господина... Ну, того самого, которого вы заагентурили вчера.

— Кеша, мой генерал?

— Вот именно... Он приколет к шляпе Бартока красную гвоздику.

## 10

Зинн с жадностью следил за каждым движением Долорес. Теперь он видел не актрису в костюме Пассионарии, а живую Долорес Ибаррури. На ней действительно было такое же простое черное платье, как тогда на русской актрисе. Она действительно была олицетворением пламенной энергии. Пассионария!.. Дышащее благородством, подвижное лицо испанки отражало владевший ею нервный подъем. Ее волнение передавалось всем, кто ее видел, не говоря уже о тех, на ком хотя бы случайно останавливался ее взгляд.

Стараясь казаться спокойной, хотя это ей плохо удавалось, Долорес двигалась сквозь толпу журналистов. Иногда она улыбалась, — когда задаваемые ей вопросы казались слишком наивными. На дерзкие вопросы правых газетчиков она отвечала пренебрежительным молчанием.

То и дело перед ее лицом вспыхивали ручные лампы фотографов.

Зинн, вместе с Матраи сидевший в ложе у самой трибуны, с нескрываемым восхищением смотрел на Долорес. Он представлял себе чувства, которые она должна была испытать сегодня. Здесь, в колыбели французской революции, в столице Народного фронта, в городе старых пролетарских традиций, она имела право рассчитывать на сочувствие. Сердца парижан не могли не откликнуться на призыв испанского народа. Зинн понимал, что Ибаррури ехала сюда с законной уверенностью в успехе своей миссии. Если ей и не удастся, так же как не удалось дель Вайо, пробить брешь в стене так называемого «невмешательства», то братская рука французов должна будет помочь республике. Правительство французских социалистов должно будет хотя бы сделать вид, что ничего не видит, если оно не захочет само помочь испанским братьям. Иначе не могло быть!

Зинн взглянул на Матраи. Тот казался спокойным, хотя Зинн отлично знал, что такая же буря, какая бушует в его собственной груди, клокочет и в груди его друга. Просто человек умеет держать себя в руках. У Иштвана... то есть у Тибора, железный характер, несмотря на добродушную физиономию и ласковые глаза. Это настоящий человек!

Долорес прошла совсем близко от ложи. Зинн услышал ее сильный грудной голос. Она говорила какому-то журналисту:

— Я спешу уехать. На родине разыгрывается трагедия моего народа. Мне хотелось бы, чтобы она скорее кончилась, но для этого нужна помощь. Помощи всех, кто ненавидит фашизм... А мое место — в Испании, меня там ждут. У меня очень мало времени.

Когда Пассионария появилась на трибуне и ее стало видно всему велодрому, овация возникла, как внезапный ураган. Казалось, рукоплескания и крики опрокинут стены. Слушатели вскакивали на скамьи и тянулись к испанке, словно желая заключить ее сразу в несколько тысяч братских объятий. Это был рабочий Париж — Париж предместий и заводов, Париж простых людей.

Долорес стояла с гордо поднятой прекрасной головой — живое олицетворение народной Испании. Испанские флаги вперемежку с французскими спускались за спиною Долорес к ее голове. Цветные полотнища шевелились, как если бы до них доходило взволнованное дыхание толпы.

На велодроме становилось тише. Рукоплескания короткими шквалами проносились над трибуной. Наконец все стихло.

Голос Пассионарии сразу захватил толпу:

— Мы пришли к тебе, народ Парижа, к тебе, овладевшему Бастилией и сражавшемуся за дело Коммуны...

Она сделала паузу, как бы давая слушателям время вспомнить, что они — потомки санкюлотов, сыновья и внуки парижских коммунаров.

Пассионария говорила о мужестве испанцев, о героизме бойцов, не имеющих подчас иного оружия, кроме храбрости и преданности свободе. Она говорила о разрушенных городах, о тысячах расстрелянных, о замученных пленных, об изнасилованных женщинах, о растерзанных стариках, о детях, вздетых на штыки марокканцев. Слезы текли по лицам не только женщин.

Голос Пассионарии звучал негодованием и уверенностью в победе:

— Испанский народ победит, ибо сражается за свои идеалы. Но испанский народ, ценя симпатии и солидарность французского народа, с горечью узнал, что правительство Французской республики не идет навстречу законному правительству демократической Испании. Надо прийти на помощь испанскому народу! Он борется на фронте свободы и отстаивает своею кровью дело мира против фашизма и зачинщиков Второй мировой войны.

С трибуны раздался призыв:

— Самолетов для Испании! Пушек Испанской республике!

Голос Долорес гремел все громче:

— Дайте нам самолеты! Весь народ Испании поднялся на защиту республики, но ему нужно оружие. Дайте нам оружие!

— Оружие Испании! — подхватили на скамьях.

А Долорес продолжила:

— Народ демократической Франции, народ, боровшийся за свободу и права человека, берегись! Сегодня мы, а завтра твой черед! Пусть ваши мужчины дадут нам оружие. Мы не просим бойцов, нам нужно только оружие. Винтовок, пушек, самолетов бойцам свободы! Дайте же нам самолеты!

У нее был могучий голос оратора, но и его не стало слышно. Слушатели вскакивали с мест.

— Оружие Испании!..

Толпа устремилась к трибуне. Перескакивая через скамейки, слушатели спускались с амфитеатра. Пассионария стояла с поднятыми руками. Скоро ее не стало видно, но вот она снова появилась над толпою, поднятая на руках людей. Ее несли к выходу с криками:

— Самолетов Испании! Дайте Испании оружие!

Испанские флаги с трибуны исчезли. Они реяли уже над головами толпы, хлынувшей с велодрома. Зинн тронул Матраи за плечо:

— Пойдем?

Матраи вздрогнул, словно его неожиданно вывели из задумчивости.

— Дадим схлынуть народу... Мне нужно поговорить с Ибаррури.

Матраи подошел к барьеру ложи, стараясь взглядом отыскать Пассионарию.

Протискиваясь сквозь толпу, к ложе приближался Кеш.

Он помахал шляпой, и Зинн заметил заткнутую за ее ленту красную гвоздику.

— Как вам это нравится, какой успех, а?! — крикнул Кеш Зинну, словно старому знакомому, и хлопнул по плечу Матраи. — У тебя недостаточно праздничный вид для такого дня! — Он выдернул гвоздику из-за своей ленты и воткнул ее за ленту на шляпе Матраи. — Вот твоя кокарда. Кокарда революции, мой генерал! — И, шутовски отдав честь, он нырнул в толпу.

Зинну показалось, что несколько типов в сдвинутых на ухо синих беретах — форме деларокковцев — наблюдали за этой сценой. Шум за ложей отвлек его внимание: у выхода синие береты затевали драку с группой рабочих. Зинн подался было телом в ту сторону, но на его плечо легла тяжелая рука Матраи.

— Теперь идем!

Зинн с удивлением посмотрел на его встревоженное лицо.

— Что случилось?

— Телеграмма: Ирун пал.

— Когда мы наконец поедем?

— Сейчас сговорюсь с Долорес. Завтра увидимся с тобою.

Он исчез в направлении выхода.

И тотчас парни в синих беретах стали протискиваться следом за Матраи. Зинн увидел в воздухе руку с кастетом. Одним движением он перебросил свое тело через барьер ложи и устремился к этой руке.

Визгливый выкрик пронизал шум толпы:

— Долой республику, да здравствует Франция!

Еще несколько рук с кастетами появились над головами. Навстречу им поднялись тяжелые кулаки рабочих.

— Да здравствует республика, долой кагуляров!

— Долой фашизм и фашистов! Оружие Испании!..

## 11

Германский посол в Париже граф Вельчек по поручению своего правительства предпринял немало неофициальных шагов, чтобы склонить французское министерство иностранных дел к заступничеству за молодого немца по имени Отто Абец, высылки которого настойчиво требовала общественность Франции.

Официально этот Абец вел пропаганду в пользу сближения французской и немецкой молодежи, а неофициально являлся эмиссаром бюро Риббентропа, — то есть отдела иностранных дел центрального органа Национал-социалистской партии Германии, — по связи с фашистскими, откровенно прогитлеровскими организациями кагуляров.

Абецу недолго удалось скрывать истинный характер своей деятельности. Его выдали сами же молодчики де ла Рокка, в карманах которых появилось чересчур много денег берлинского происхождения. Разнузданность

фашистских банд, почувствовавших за собою не только финансовую, но и моральную поддержку международного фашизма, переполнила чашу терпения парижан. Да и не только парижан — по всей Франции раздавались требования покончить с этим позором и с угрозой безопасности республики, таившейся в подрывной и шпионской деятельности французских фашистов.

Хотя хлопоты Вельчека нашли прямой отклик в сердце министра иностранных дел Пьера Лаваля, и хотя даже сам негласный глава кагуляров престарелый маршал Филипп Петэн был на стороне Абеца, — «красавцу Отто» пришлось покинуть столицу Франции.

Официальная работа по установлению франко-германской дружбы и негласная подрывная деятельность, которую вел Абец, легли теперь на плечи графа Вельчека — дипломата старой школы, значительно менее поворотливого и бесцеремонного, нежели молодчики новой формации, пополнявшие теперь ряды дипломатов на Вильгельмштрассе.

Невзирая на все стремление выслужиться или хотя бы удержаться при новом режиме, Вельчек никак не мог попасть в ногу с событиями. Шифрованные нагоняи так и сыпались из Берлина. А в одном неофициальном письме Нейрата дружески сообщалось, что Гитлер уже пригрозил «выкинуть эту старую калошу Вельчека в помойную яму», если только он не совершит такой глупости, за которую придется поступить с ним еще строже.

Морально разложившиеся, быстро фашизирующиеся верхи парижского общества охотно принимали Вельчека в салонах своих роскошных отелей, но широкая общественность Франции не желала больше признавать его «персона грата». Безупречная респектабельность его визитки, полосатых штанов и цилиндра

мало интересовала народ. Золотая свастика в петлице перевешивала в глазах простых французов любую внешнюю корректность. Для простых французов Вельчек стал олицетворением всего враждебного, что народ чувствовал не только в немецком, но и в отечественном, французском фашизме.

Если бы не усиленные наряды полиции у здания германского посольства, Вельчек в одно прекрасное утро нашел бы немало следов от тухлых яиц на окнах своего отеля.

День ото дня его пребывание в Париже становилось невыносимее. Поэтому, когда ему удалось под знаком укрепления все той же пресловутой франко-германской дружбы добиться участия немецких лошадей в традиционной международной скачке в Ницце, это показалось ему значительной удачей.

Однако ко времени прибытия в Ниццу немецкие лошади одна за другою выбывали из строя — их постигала какая-то страшная болезнь. Их заменили другими, но и часть пополнения оказалась больной. Администрация скачек вынуждена была даже поставить вопрос о снятии всех лошадей, привозимых из Германии, как зараженных какой-то неисследованной болезнью, грозящей заразить и лошадей из других стран. Путем дипломатического вмешательства Вельчеку удалось отстоять несколько лошадей, давно находившихся во Франции. В числе их была и лошадь, владельцем которой значился Отто фон Шверер. Знатоки считали, что эта лошадь — самая сильная из всех, какие остались у немцев. Она — их единственная надежда на победу.

Французские конюхи, проходя мимо денников, где стояли немецкие лошади, демонстративно отворачивались. Французские жокеи уезжали с тренировки, стоило выехать на дорожку кому-либо из немцев.

Горечь этой неудачи была несколько скрашена помощью германского посла в Лондоне. Он сумел поднять некоторый шум вокруг воображаемых немецких возможностей на международной скачке и добился того, что некоторые английские спортсмены, политические деятели и промышленники приняли приглашение общества «Германия — Великобритания» и поехали в Ниццу в качестве его гостей. В числе приглашенных был и нефтяной король сэр Генри Гевелинг с леди Мелани. Ее, в свою очередь, сопровождал Монти Грили. Мелани даже пустила на скачку свою лошадь под девизом: «Англо-франко-германская дружба» — то, что она не решилась бы сделать в Англии и отчего сэр Генри недовольно морщился. Он не любил афишировать свои связи с подозрительными компаниями, с которыми приходилось иметь деловые отношения.

Вскоре после того дня, когда на парижском велодроме Долорес Ибаррури требовала оружия для Испанской республики, на другом конце Франции — в Ницце — должна была состояться скачка с участием лошади леди Мелани, носившей неожиданную кличку Козачка, и лошади, привезенной Отто Шверером.

Мелани приехала на ипподром раньше, чем явилась бы в другой день. У нее были все основания волноваться: как ни казалось бы незначительно другим то, что скакала ее лошадь, для нее это было вопросом светского успеха. Она не имела за собой той репутации экстравагантности, какую «должна иметь» женщина ее круга. Быть женою нефтяного «короля» — это значило иметь какую-нибудь страсть или хотя бы элегантную причуду. У миллионерш по рождению были яхты или самый большой бриллиант, или неоценимые коллекции вееров, или хоть что-нибудь вроде шали, которая была надета

на Марии-Антуанетте, когда та взошла на эшафот. Что-нибудь в этом роде нужно было иметь в прошлом. А у Мелани в ее прошлом была только рампа кафе-шантана, отдельные кабинеты и номера подозрительных отелей.

Что же мудреного, что теперь, выбравшись невесть каким счастьем на вершину нефтяного величия и став хотя бы и маргариновой, но все же «княгиней Донской», она тоже пожелала иметь нечто вроде того, чем хвастались когда-то Манташевы и Лианозовы, что было, пожалуй, самым дорогим видом причуд, — свою скаковую конюшню. И что мудреного, что сегодня в день дебюта этой конюшни Мелани непритворно волновалась. Она имела на это право. Ее Козачка слыла самой дорогой лошадью в Европе. Она обязана была сегодня выдвинуть ее на передний план великосветской Ниццы, что значило попасть на страницы всех аристократических журналов Европы, в светскую хронику газет.

При всем подлинном величии нефтяной державы сэра Генри этот мелкий успех щекотал самолюбие Мелани. Он казался ей ничуть не менее важным, нежели деловые переговоры, которые были намечены на тот же день.

Монти Грили сидел в ложе Мелани, снисходительно предоставляя толпе любоваться им и принимать его тупую самовлюбленность за подлинное величие Зевса, соблаговолившего спуститься на игрища смертных.

Сэр Генри в аванложе разговаривал с генералом Леганье, словно бы случайно очутившимся в Ницце ко времени приезда Гевелингов. Мелани и Монти были в ложе одни. Они тоже говорили о делах. Но в то время, как разговор Гевелинга и Леганье состоял из намеков и околичностей, в ложе разговаривали напрямик, называя вещи своими именами, с уточнениями и подробностями, хотя тема там и тут была одна — события в Испании.

Леганье пытался, осторожно прощупывая нефтяного «короля», выяснить, какие национальные секреты Франции могли бы заинтересовать сэра Генри в обмен хотя бы на малую толику процентов от кредита, открытого им испанским мятежным генералом. Как человек, близко соприкасающийся с военными делами, Леганье знал об острой нужде, испытываемой Францией в серном колчедане для военной промышленности. Вместе с тем он осторожнейше намекнул на то, что ему известно об участии, какое сэр Генри принимал в знаменитом англо-испанском обществе «Рио-Тинто». Используя свои связи в правительстве и среди французских промышленников, Леганье мог бы устроить заказ на испанский колчедан по ценам, значительно более высоким, нежели те, какие это общество получало от своих постоянных покупателей. За такую услугу он хотел получить хотя бы несколько акций этой компании.

Все говорилось такими отвлеченными намеками, что только искушенный в делах ум нефтяника мог уловить то, что занимало генерала. Но слушая его, сэр Генри интересовался вовсе не этим, а вопросом о том, каким образом французский генерал мог узнать об его собственном участии в делах «Рио-Тинто» и как далеко простирается эта осведомленность. Но в конце концов, судя по тому, что говорил Леганье, Гевелинг решил, что источник, из которого информируется генерал, — французская разведка, — не слишком-то в курсе дела. Во всяком случае, о скрытых связях Гевелинга через «Рио-Тинто» с немецкими финансистами она, по-видимому, не знает. Гевелинг для себя решил, что может не особенно стесняться с этим французом. Не было никакой надобности не только откликаться на его туманные предложения, но даже попросту их понимать...

А в ложе Мелани втолковывала Монти, слушавшему со скучающим видом:

— Прибыли по кредитам, открытым сэром Генри испанцам, должны быть не только велики, но будут расти с течением времени. Мне недавно объяснили, что такое сложные проценты...

Монти хмуро кивнул головой.

— Чем дольше испанцы не смогут оплачивать проценты по долгу, тем больше они должны будут платить, — с оживлением продолжала Мелани. — Они обеспечили платежи предоставлением сэру Генри нефтяной монополии.

Тут Монти впервые поднял на нее свинцово-тяжелый взгляд своих больших глаз.

— А Рокфеллер, по-вашему, будет сидеть сложа руки и смотреть, как опереточные испанские генералы распоряжаются тем, что он считает безраздельно принадлежащим ему?

Мелани рассердилась. Этот вопрос ставил ее в тупик. Она знала, что между Гевелингом и американскими нефтяниками шла борьба за испанский рынок, но с легкомыслием кокотки однажды поверив в могущество своего содержателя, она готова была отстаивать его престиж, хотя и не имела никакого представления о ресурсах его врагов. Она не знала, сколько дали тем же самым франкистам американские монополисты. Но с нее было достаточно того, что им много дал сэр Генри. Чертовски много! Это она знала. Остальное казалось ей несущественным.

По старой памяти она готова была прощать неповоротливость Монти — любовнику, некогда самому ее постоянному клиенту при его наездах в Париж, которому она обязана своим знакомством с сэром Генри. Но ее выводила из себя трусость Монти-дельца. А то,

что он вспомнил о Рокфеллере, когда она развивала блестящий план завоевания Испании, было в ее глазах признаком трусости. Она была куда более опытна в делах любви, чем в биржевых спекуляциях.

— Вы не должны, не смеете бояться, когда имеете дело со мной, — убеждала она. — Вы можете наверстать все, что упустили в истории с Испанией. Сами испанцы — никуда негодные дельцы. Пусть они там приводят в порядок дела со своими республиканцами, — но тоже не слишком быстро, — остальное мы сделаем без них.

— А Бен говорит, что если мы не будем мешать Франко, он очень быстро справится с красными, — не спеша выбрасывая слова, словно каждое из них представляло особую ценность, говорил Монти. — Бен говорит, что мы намерены скоро признать Франко.

— Это правда? — обеспокоенно спросила Мелани. — Лорд Крейфильд так сказал?.. — Она притронулась перчаткой к его руке. — То, что вы сказали, очень важно.

— Я всегда говорю то, что важно, — с непоколебимой уверенностью проговорил Монтегю. — Но я не очень верю Бену. Он совершенный мешок и ничего не понимает в международных делах.

— Поэтому он и занимает пост товарища министра иностранных дел? — шутливо спросила она.

— Вероятно, — совершенно серьезно подтвердил Монтегю.

— Если вы будете себя хорошо вести, — проговорила она, понижая голос и, насколько позволяли приличия, придвигаясь к нему, — я перехвачу для вас кое-что из предложений, которые сейчас сыплются на сэра Генри.

Приход в ложу Гевелинга и Леганье помешал ей договорить. Вернулись в ложу и те приглашенные, кто

спускался в падок смотреть на проводку лошадей. Толпа зрителей хлынула на трибуны, бинокли, до того обращенные главным образом на ложи, занятые знаменитостями всякого рода и всех национальностей, повернулись к полю. Скачки начались.

Отто знал всех участников скачки. Среди них были только два немца. Своего соотечественника он сразу сбросил со счета. Победу для Германии мог вырвать только он, он на своем рыжем жеребце, добытом ему Кроне. Отто не понимал мотивов, по которым Кроне так заботился об его успехе, но и не очень об этом задумывался. Лошадь его удовлетворяла. Он считал ее самой сильной в скачке, так как в этом году у нее не было ни одного соперника в Англии. Англичане демонстративно отказались участвовать в одной скачке с немцами. Опасения могла внушать только Козачка леди Гевелинг. Отто несколько раз исподтишка подсматривал за тем, как ездок — немолодой уже человек из русских белых эмигрантов — проминал серую в белых чулках кобылу. Если бы дело не происходило во Франции, при враждебной настороженности всего персонала ипподрома, а в Германии, Отто знал бы, как избавиться от этого соперника. Немецкие конюхи сделали бы с Козачкой то, что французским конюхам удалось, повидимому, проделать почти со всеми немецкими лошадьми. То, что его жеребец не оказался «болен», Отто приписывал только тому, что лошадь все время находилась под особым присмотром.

В день скачки Отто с утра был в конюшнях и не спускал глаз с лошади. Он был зол на себя: вместо того чтобы во все время пребывания во Франции выдерживать режим тренировки, он позволил себе несколько сорваться. Виновата была Сюзанн, увлекавшая его в хорошо, видимо, ей знакомый водоворот ночной жиз-

ни — сначала в Париже, а потом в Ницце. Даже сегодня он не чувствовал себя в той форме, в какой обязан был быть. И в этом тоже была виновата Сюзанн...

Хмурый, недовольный собою и всем окружающим, Отто приказал выводить лошадь для седловки...

В ложе Гевелинга — почетного и редкого гостя — появлялись все новые лица. Исчезнувший было Леганье вернулся, почтительно сопровождая генерала Гамелена, явившегося поздравить леди Гевелинг с дебютом ее конюшни. В двух шагах за генералами следовал высокий, худой, несколько сутуловатый офицер, во внешности которого бросался в глаза непомерно большой, мясистый нос. Его отрекомендовали Мелани как начальника кабинета Гамелена подполковника Шарля де Голля. Мелани, казалось, не обратила на него внимания. Но когда представилась удобная минута, она тихонько сказала своему старому приятелю Леганье:

— У этого де Голля вид человека, который хочет стать главным жирафом.

— Всякий, кто хочет стать главным, хотя бы среди крыс, годится в нашем деле, дорогая, — наставительно ответил Леганье. Он считал себя вправе поучать особу, чье имя числилось в списке его давнишних агентов, даже если эта особа и стала теперь королевой нефти.

Но вот по толпе зрителей пронесся тот особый шорох, который сопровождает обострившееся внимание массы людей. Наступила короткая тишина, во время которой все бинокли направились на группу лошадей, устанавливаемых ездоками в ряд против судейской трибуны.

Леди Мелани с тщеславным удовлетворением уловила долетевшее до нее с нескольких сторон слово «Козачка». Она видела, что серая кобыла приковывает к себе общее внимание. Еще бы — «самая дорогая лошадь Европы»!..

Но вот торжество Мелани оказалось нарушенным: на коротком галопе из ворот в круг выметнул и прямиком, без всякой проминки для показа публике, пошел к строящимся огненно-рыжий, почти красный крупный конь с широкой грудью и широким, кажущимся чересчур широким задом. На седоке были черные рейтузы и черная глухая куртка. Поперек рукава виднелась ярко-красная повязка с белым кружком, в котором был какой-то знак.

Мелани казалось, что она видела, как тысячи глаз машинально опустились на листки программы, где значилось: «Жеребец Барбаросса, ездок фон Шверер, Германия».

По-видимому, этого было достаточно, чтобы большинство, даже без биноклей, различило теперь в белом кружке на красной повязке Отто зловещий черный крючок фашистской свастики.

«Свастика!..»

Отто был поглощен желанием уловить настроение лошади, слиться с нею так, как должен слиться всадник перед скачкой. Потому ли, что ему передалась нервозность лошади, или, наоборот, Барбаросса почуял напряжение, овладевшее седоком, — Отто ясно воспринимал неприязнь высыпавших из конюшен конюхов и жокеев. Желание ответить им открытой враждебностью затмило на миг понимание того, что единственный путь для такого ответа — победа в скачке. Только толкотня нетерпеливо топтавшихся вокруг него лошадей и удары колокола, требовавшие внимания, заставили его собраться и шенкелями понудить жеребца занять место в ряду. От хвастливой уверенности в превосходстве над соперниками, с которой Отто выезжал на круг, ничего не осталось. Он старался не смотреть в сторону на похрапывавших справа и слева лошадей, на

всадников, в каждом из которых он остро чувствовал врага и возможного победителя.

Отто так стиснул зубы, что стало больно скулам: ничто не смеет выбить его из равновесия и уверенности, что победа должна и будет принадлежать ему! От этого зависело слишком много: освобождение от надоевшей службы, деньги, много денег!.. Может быть, возможность поставить на место этого Кроне!..

Отто не понимал, что его сегодняшняя победа была нужна именно «этому Кроне», как первый шаг к укреплению положения Отто в качестве международного агента под личиной спортсмена. Любитель лошадей, владелец двух-трех кровных скакунов-победителей — лучшего камуфляжа для немецкого агента нельзя было придумать! Такому субъекту были бы открыты двери салонов всей Европы.

То, что представлялось Отто средством освобождения от лишних пут Кроне, самому Кроне рисовалось как новые, крепкие оковы для Отто. Но Отто об этом не подозревал. В его мозгу, как раскаленный гвоздь, саднила одна-единственная мысль: победить!

Он был так поглощен этой мыслью, что едва не пропустил удара колокола, пускавшего скачку. С этого момента все, кроме внимания к каждому движению, к дыханию коня, отлетело. Отто и конь были одно целое.

Отто почувствовал, что Барбаросса с места слишком влег в повод. Правда, он почти сразу вырвался на целый корпус и серая с белой стрелкой из-под челки голова Козачки ушла из поля зрения назад. Отто бросил взгляд под локоть: узкая, длинная морда кобылы с горбатым храпом была на уровне крупа Барбароссы. Отто видел ее умный, большой, на выкате глаз, над которым во впадинке виднелось темное пятнышко. Отто с удовлетворением отметил это пятнышко. Это был

пот! Кобыла была, видимо, не из сильных. Отто выдал Барбароссе немного повода — ровно столько, сколько нужно было, чтобы оторваться от головы Козачки.

Дистанция скачки была невелика, и, хотя у Отто заранее был точно разработан план, как вести лошадь, он решил теперь, что его главный шанс в том, чтобы вынудить своего противника потребовать от Козачки сразу все, что она может выдать.

В других условиях Отто непременно постарался бы сохранить Барбароссе запас дыхания даже ценою потери корпуса дистанции, но теперь он решил, что избыток сил его лошади настолько превосходит запас сил серой кобылы, что ему не о чем беспокоиться.

Об остальных лошадях он и не думал.

Отто еще послал жеребца. Голова кобылы совсем не стала видна, и звука ее дыхания не было больше слышно. Только четкий, значительно более частый, нежели у Барбароссы, перебор копыт давал теперь Отто возможность судить о разделяющей их дистанции.

Скок Барбароссы оставался ровным, но дыхание уже начинало не нравиться Отто. Отто уловил в нем то, что всегда внушает седоку опасение: надолго ли хватит?..

Неужели он пережал, потребовав от Барбароссы больше, чем следовало?

Но умерять коня теперь значило рисковать сбить его с аллюра...

Отто без стеснения оглянулся, рассчитывая увидеть Козачку, по крайней мере, на несколько корпусов сзади, но, к его удивлению, серая голова была на расстоянии не более чем одного корпуса и уверенно приближалась. Скоро Отто уже снова стало слышно ее ровное дыхание. По этому дыханию он понял, что кобыла еще не отдала и половины того, на что была способна. Отто

почти с ненавистью смотрел на острые серые уши, на большой, по-человечески умный, начинающий наливаться кровью глаз кобылы.

У Отто не было желания увидеть лицо человека, скакавшего на Козачке. Он видел только его сухие, крепкие руки, плотно обтянутые коричневой лайкой перчаток. Эти руки казались Отто чем-то принадлежащим вовсе не всаднику, а кобыле, неотъемлемым и естественным окончанием повода, составлявшего одно целое с ее головою.

В Отто не было чувства, которое всадник в подобных обстоятельствах должен испытывать к коню. Он относился к своему Барбароссе холодно, как к машине, предназначенной для того, чтобы добыть для него победу в сегодняшней скачке. Отто не заботила судьба Барбароссы после этой победы. Хотя бы конь выбыл из строя. Отто может его загнать — ему простят. Он получит другого коня, может быть, лучше этого...

Серая голова Козачки поравнялась с крупом Барбароссы. Еще через несколько секунд она была уже рядом с локтем Отто и продолжала продвигаться вперед к плечу жеребца. Это плечо из ярко-рыжего уже давно стало темно-гнедым, почти черным от пота.

Вот Отто снова увидел коричневую лайку перчаток на руках, совершающих поощрительные движения поводом.

Отто с ужасом почувствовал, что Барбаросса не реагирует на посыл. Дыхание коня становилось все резче, в нем появилась короткая хрипотца, свидетельствующая о том, что легкие коня отдали все, что могли. А дыхание Козачки оставалось таким же ненапряженным...

Деревянный барьер они взяли почти одновременно. Разница не превышала головы. На миг, как яркая молния, у Отто вспыхнула радость: ему показалось,

что, перемахнув барьер, кобыла ступила не с той ноги. Перебор ее копыт на какой-то момент утратил четкость. Отто сразу сообразил, что это может дать ему выигрыш. Он попытался убедить себя в преимуществе длинного корпуса и сильного маха жеребца по сравнению хотя и с более легким, но гораздо более коротким корпусом Козачки, вынужденной на каждый скок Барбароссы давать, по крайне мере, полтора своих. Но он тут же сообразил, что это преимущество фиктивное. И действительно, едва его ухо уловило, что умная кобыла сумела, не теряя хода, переменить ногу после барьера, ее голова снова была уже рядом с плечом его собственного коня.

Теперь Отто слышал ласковый, поощряющий голос своего соперника: «Хоу... хоу...». Этот короткий возглас, совпадающий с ритмом карьера лошади, раздражал Отто. Он покосился на соседа и словно впервые увидел его загорелую щеку в мелких морщинках, коротко подстриженную, с проседью щеточку белокурых усов и прищуренные глаза, устремленные куда-то между ушей кобылы. И сразу все это, — прежде чужое и безразличное, — стало ненавистно Отто.

Впереди, за кривой, появилось третье препятствие — банкетка со рвом за нею. Движением повода Отто возбудил внимание Барбароссы и тут же понял, что этого не нужно было делать — конь и без него, конечно, видел препятствие. Отто напрасно нервировал его перед прыжком, который, — это Отто чувствовал каждым мускулом, каждым нервом, — дастся коню нелегко.

Отто напряг мышцы ног и приподнялся в стременах, чтобы облегчить коню прыжок. Но именно в этот миг, предшествующий прыжку, он увидел, что теряет последние сантиметры своего преимущества перед Козачкой. Еще мгновение — и кобыла первой перебросит

свое легкое серое тело через барьер. Это показалось Отто настолько непереносимым, что, не владея собой, он сделал правой рукой, в которой был зажат хлыст, короткое, быстрое движение. Со свистящим, как удар палаша, звуком обшитые в кожу бычьи жилы пришлись по храпу кобылы в тот самый момент, когда она в сильном броске отделилась от земли, чтобы взять барьер.

Движения Отто не мог заметить никто, кроме седока Козачки. С трибуны было только видно, что, уже отделившись от земли, над банкеткой серая кобыла неестественно мотнула головой, сделав какое-то странное движение ногами, всем телом ударилась о банкетку. На одно мгновение могло показаться, что лошадь осталась на ней в туче взметнувшейся земли. Но уже в следующее мгновение в бинокли можно было видеть, как тела лошади и всадника, спутавшиеся в один клубок, по инерции перевалились через банкетку и, вздымая столб брызг, рухнули в канаву.

Рыжий Барбаросса, последним усилием перенеся свое тело через препятствие, продолжал скачку. Но Отто почти сразу же увидел, что удар не принес ему пользы. Позиция Козачки впереди Барбароссы была уже занята другою лошадью.

Злоба на рыжего жеребца, на собственную оплошность в самом начале скачки, на публику, отвлекшую его внимание в тот момент, когда он должен был сосредоточить его только на коне, на весь мир, помешавший ему взять приз, беспросветная темная злоба на всех и вся вылилась в этот момент в жестоком ударе хлыста, которым он наградил Барбароссу. Еще и еще.

От того, что он чувствовал бесполезность этих ударов по коню, который уже ничего не мог дать, бессильная злоба Отто делалась все более слепой. Он бил коня

больше от бессильного отчаяния, нежели потому, что рассчитывал привести его к финишу раньше других.

Одна за другою его обходили лошади. Он утратил уже второе место; вот исчезла надежда на третье...

В ярости, застилавшей глаза и лишавшей слух обычной остроты, Отто не замечал, что жестокие удары бычьих жил рвут тонкую кожу на плечах Барбароссы, не видел, что кровь струится по ногам коня; он не различал свистков и криков негодования, несшихся со зрительских трибун.

Не принимая участия в традиционном параде участников скачки перед трибунами, Отто последним усилием прогнал своего жеребца прямо к конюшням, соскочил с него и, не взглянув на него, не заходя в ложу Вельчека, уехал с ипподрома.

Тем временем в ложе Гевелинга дамы старались утешить бившуюся в искусно разыгранной истерике Мелани. Когда, по ее мнению, публика получила ту меру ее огорчения, какая приличествовала случаю, Мелани уехала, успев назначить свидание Монти.

За час до того, как к ней в отель должен был приехать Монти, Мелани приняла Леганье. За низенькой стеклянной ширмой, закрывавшей генерала, Мелани одевалась со свободой женщины, привыкшей к мужскому обществу во всяких обстоятельствах.

То, что она говорила своему бывшему начальнику, мало вязалось с легкомыслием обстановки:

— Разумеется, вы знаете, о чем Гамелен говорил сегодня с сэром Генри... Речь идет о подготовке самого настоящего похода против России. Нас, разумеется, интересует все, что относится к южной части этого плана, — нас интересует Кавказ, — быстро говорила она сухим деловым тоном. — Сэр Генри обещал свою

поддержку в Англии. Мы проведем там необходимую работу. Но для того, чтобы ее вести, я, то есть мы, должны быть уверены в ее целесообразности.

— В этом вы можете не сомневаться, — сказал Леганье, забавлявшийся тем, что пускал волчком пенсне по круглому столику, на фарфоровой доске которого был изображен император Наполеон. — Кавказ — это Баку. Баку — это нефть. Нефть — это богатство. Кто-кто, а уж вы должны это знать.

Забыв о том, что она еще только наполовину одета, Мелани вышла из-за ширмы и, пристегивая подвязку к чулку, наставительно проговорила:

— Нефть — это богатство для тех, кто ею владеет. А бакинской нефтью в глазах Европы до сегодняшнего дня владеют господа Манташевы, Лианозовы и прочие...

— Довольно устарелые взгляды, — сказал Леганье, пересаживая пенсне со стола на нос. — Несмотря на некоторую полноту, вы сохранили стройность ног...

Мелани не обратила внимания на слова генерала, словно они относились вовсе не к ней, и продолжала:

— Сэр Генри не позволит себе обойти законные интересы русских держателей, если кавказские источники перестанут быть собственностью Советов...

— Согласитесь, что только французы с их пониманием женской красоты могли выдумать такую деталь туалета, как этот удивительный чулок, не правда ли!.. Так чего же вы хотите от меня: чтобы я уничтожил русских держателей бакинских бумаг?

— Зачем столько крови?! Мы не в опере. Проще уничтожить бумаги, чем их держателей.

Леганье рассмеялся:

— Вы рассуждаете, как героиня детективного романа.

— Если вы хоть раз поступите, как герой хорошего детективного романа, в этом не будет ничего плохого, — она накинула наконец платье. — Чтобы нам не мешала камеристка, займитесь ее делом, — с этими словами она повернулась спиной к генералу, и он принялся старательно застегивать крошечные, ускользавшие из-под пальцев крючки. А она с живостью продолжала: — Что вам стоит как начальнику разведки произвести обыски у тех, кто еще хранит этот старый хлам — русские бумаги? Пусть их, хотя бы по ошибке, изымут. Прежде чем будет обнаружено, что это всего-навсего старый, никому ненужный хлам, опрометчивый чиновник вашего бюро может сжечь все бумаги. А потом этого дурака посадят в тюрьму. Это утешит пострадавших.

— Вы настоящая прелесть, дорогая, — восторженно проговорил Леганье, прикасаясь губами к оставшемуся неприкрытым тканью плечу Мелани. — Такая авантюра не приходила в голову даже мне.

— Тем хуже для вас.

— Но не воображайте, что ее легко осуществить. И нужно еще посоветоваться с юристами: может ли уничтожение бумаг уничтожить и самое право держателей на их собственность?

— О заключении юристов позаботимся мы. А ваше дело — не давать остыть пылу Гамелена и позаботиться о том, чтобы Кавказ перестал быть коммунистическим.

— Сущие пустяки пришлись на мою долю, — иронически проговорил генерал.

— Если можно покончить с этим в Испании, почему нельзя в России или хотя бы на Кавказе — это же рядом с Турцией и далеко от Москвы... Сэр Генри считает, что Испания — это только проба. По мнению сэра Генри, Советы вовсе не так сильны, как мы себе

рисуем... Может быть, говорит сэр Генри, мы только воображаем, что из колосса на глиняных ногах Россия стала чем-то более прочным?..

Леганье слушал с интересом: его бывшая сотрудница делала очевидные успехи в области политики.

Увидев в зеркале вошедшего без стука Монти, Мелани переменила разговор.

## 12

Они подошли к помещавшемуся в подвале театрику, у которого должны были встретить Даррака.

— Здесь, — сказал Цихауэр, — именно здесь и должен...

Договорить ему помешал пробегавший мимо газетчик. Зинн жадно схватил листок.

— Вот! — Зинн с негодованием ударил по первой странице, пересеченной огромным заголовком: «Пьер Кот — убийца! Пьер Кот — война!» — Эти сволочи забрасывают грязью единственного члена кабинета, который еще говорит, как француз.

— Не понимаю.

— Он осмелился сказать, что если министры не хотят быть честными французами, то должны быть хотя бы честными купцами: нужно отдать Испании оружие, заказанное до войны.

Зинн смял газетку и швырнул на землю.

Из дверей подвала вышел худощавый человек и осторожно притронулся к плечу Цихауэра. В руках у него был скрипичный футляр. Зинн понял, что это и есть Даррак. Пока друзья перебрасывались первыми фразами, Зинн исподтишка рассматривал музыканта: у парня славное лицо, хорошие, действительно «чистые», как сказал Цихауэр, глаза, прекрасный лоб.

Обняв француза за плечи, художник подвел его к Зинну.

— Пойдем куда-нибудь поболтать, — сказал Цихауэр.

— Нам нужно о многом серьезно поговорить, — сказал Зинн, подчеркивая слово «серьезно», и посмотрел на часы.

— Брось, Гюнтер, — сказал Цихауэр. — Нельзя всю жизнь быть серьезным!

Зинн натянуто рассмеялся.

— Мой друг хочет выставить меня в ваших глазах сухарем, — сказал он Дарраку.

Большие глаза Луи ласково остановились на лице Зинна.

— Тот, кто слышал ваши песни...

— Твой поклонник слишком хорошего мнения о тебе! — весело воскликнул Цихауэр. И спросил Даррака: — Куда пойдем?

— В Клиши есть местечко, куда забегает простой люд. Сахара придет туда, хотя это место и не для нее...

— Кто это? — спросил Зинн.

— Вы и вправду не знаете? — Даррак удивленно смотрел на Зинна. — Не знаете Тересу Сахару?

— Ах, певица! — Зинн нахмурился. — Что ей нужно?

Даррак укоризненно сказал:

— Она же испанка.

Он повел их к Эйфелевой башне.

Они спустились в метро и поехали.

Простая стойка с разбитой мраморной доской, старый оркестрион, толстяк-кабатчик. У стойки и за столиками — люди в кепи.

Даррак подошел к столику в углу.

— Два перно, — сказал он гарсону, зябко потирая ладони худых рук.

Он поймал удивленный взгляд Зинна и, словно извиняясь, сказал:

— Не могу без горячительного! Проклятый подвал! Когда высидишь в нем целый вечер, чувствуешь себя так, словно вылез из склепа.

Зинн ясно различил на щеках Луи тот особенный румянец, который появляется на лицах чахоточных. И если минуту тому назад Зинну нужно было заставлять себя улыбаться французскому скрипачу, то теперь в его глазах появилось выражение той любви к людям, за которую люди любили его.

— Вы, наверное, очень устаете на этой работе? — спросил Зинн.

— Мучит холод. Даже летом. — Даррак неожиданно рассмеялся. И в его смехе, как и во всех словах и движениях, было столько задушевности, что и Зинн невольно улыбнулся. — Но теперь я, наверное, отогреюсь... там!

— Решили ехать?

— Безусловно.

— А здоровье?

— Пустяки. Я ведь был солдатом.

— Там нужны не только солдаты.

— Но солдаты больше всего.

— Не знаю. Может быть, вы как артист...

Луи досадливо отмахнулся:

— Я не хочу презирать самого себя. Ехать туда, чтобы... — он не договорил и щелкнул по футляру скрипки. — Это мы оставим женщинам... Вот, например, Тересс! — Он поднялся навстречу входящей девушке. Оливковая смуглость и овал лица, узкий разрез карих глаз сразу выдавали в ней креолку.

Лицо девушка, озабоченный взгляд, брошенный ею на Луи, и теплый свет, который излучали в ответ его глаза, — все говорило Зинну: тут любовь.

Зинну стало неожиданно тепло и уютно. Он велел запустить оркестрион и повлек Тересу танцевать. Ему не мешал народ, заполнивший тесное помещение бистро. Все это были рабочие вечерних смен. Они приходили сюда, как на условный сборный пункт, где можно было к тому же подкрепиться перед предстоящей бессонной ночью в пикете. Никто из них не намерен был идти домой. Сейчас они отправятся в зал близлежащего кинотеатра на смену сидящим там товарищам. Вот уже сутки, как рабочие занимают кино, чтобы не дать возможности «Боевым крестам» провести назначенный там на завтра митинг солидарности с Франко. На митинге собирался выступить сам де ла Рокк.

Рабочие вели себя смирно. Они только и делали, что сеанс за сеансом терпеливо смотрели одну и ту же картину. Это тоже было не так легко после дня работы.

Зал бистро был наполнен голосами и смехом рабочих. Те, кто не мог себе позволить горячего, жевали сухие булочки, скупо прослоенные ломтиками вареной говядины.

Тема разговоров была одна: Испания. Британский флот проявлял странную «нейтральность», угрожая пушками своих линкоров кораблям республики, пытавшимся осматривать торговые суда, шедшие в порты мятежников. Всем было ясно, на чьей стороне симпатии английского адмиралтейства и его первого лорда, пресловутого Семюэля Хора.

Старый рабочий с седыми усами, покрасневшими от повисших на них капелек вина, угрюмо говорил:

— Можно подумать, что наши министры глупее нас: как будто они не понимают, что будет, если порты Ис-

пании и Северной Африки станут базами итальянского и немецкого флотов... Скажите, кто из нас идиот: я или члены кабинета?

Слушатели смеялись. Они с добродушною досадой подталкивали локтями снующих между столиками танцоров.

— Нашли время!

И вдруг, когда умолк нестройный гул оркестриона, на столик, к которому после танца возвращались Зинн и Тереса, вскочил Луи. Он движением руки потребовал тишины и заговорил, не поднимая головы, словно для одного себя:

— Когда-то я вообразил, будто я очень талантлив... Но хозяева вышибли из меня эту фантазию. Мне так же хотелось есть, как всем остальным. — Он поднял голову и обвел взглядом слушателей. — А сегодня у меня праздник. Да, да, большая радость: я освобождаюсь! — Луи вскинул длинные руки и распахнул полы пиджака. — Я ухожу из холодного подвала, от танцев, от пьяных зрителей. Но это значит, что я ухожу и из Парижа, из этого бистро, от вас... Позвольте мне, господа, в этот последний вечер сыграть только для вас. Не то, что мне заказано, а то, что хочется... Это будет импровизация. Я посвящаю ее... — он на мгновение закрыл глаза рукою, словно отгоняя от них какое-то видение, — нашей с вами Франции, Франции простых французов!

Хозяин подошел к двери и запер ее. Опустил шторы на окнах.

Луи заиграл.

Зал был недвижим.

Зинн смотрел в лучистые глаза Тересы, устремленные на скрипача...

...Луи опустил скрипку.

Если бы зал разразился рукоплесканиями, Зинн мог бы подумать, что скрипача слушали из вежливости. Но скрипка давно умолкла, а в ресторане продолжала царить благоговейная тишина. Не стучали стаканчики. Не хрустели сандвичи.

Сидевшая неподалеку от Зинна высокая, худая работница поднялась и при общем настороженном внимании прошла к краю стойки, вырвала из стоявшего там горшка цветок и, даже не дав себе труда отряхнуть с корней землю, поднесла его скрипачу.

Только тогда, как бочка с ракетами, взорвались рукоплескания. За их грохотом хозяин не сразу услышал стук во входную дверь. В зал вбежало несколько взволнованных рабочих.

— «Кресты» блокируют кинематограф. В зал невозможно попасть!

— К черту молодчиков де ла Рокка!

— Долой фашистов!

Один из прибежавших крикнул:

— Полиция охраняет негодяев!

— К черту Кьяппа! — пронеслось в ответ.

За столиками никого не осталось.

На стол вскочил молодой рабочий; его голос звучал, как горн:

— Порядок, товарищи!.. Стройте ряды!.. Порядок!

Зинн притянул Луи за лацкан пиджака и напел ему в ухо короткую мелодию.

Прежде чем Луи успел ее повторить на скрипке, Зинн был уже на стойке буфета.

Марш левой! Два-три!
Марш левой! Два-три!
Встань в ряды, товарищ, к нам,
Ты войдешь в наш единый рабочий фронт,
Потому что рабочий ты сам.

Покрывая чужие немецкие слова, о смысле которых догадывались по знакомому всем мотиву, рабочие подхватили песню по-французски.

Шел не Веддинг, а Клиши. Шли на бой с фашистами сыны рабочего Парижа, многие из которых собирались покинуть Францию, чтобы драться за Испанскую республику.

## 13

Еда всегда настраивала Монти на благодушный лад. Хотя соус, поданный сегодня в клубе к телячьим котлетам, и оставлял желать лучшего, но яблочный пирог загладил эту неудачу повара. В целом завтрак можно было считать приемлемым. Монти не стал задерживаться в клубе — нужно было ехать в Грейт-Корт, чтобы повидать Бена, последнее время почти не показывавшегося в Лондоне. В министерстве говорили, будто он болен, но по голосу Маргрет, когда Монти позвонил в Грейт-Корт, он понял, что болезнь эта дипломатическая.

Монти подошел к стоянке таксомоторов и велел ехать на Феникс-стрит, где помещалась контора его адвокатов. Нужно было уточнить юридическую сторону сделки с первым испанцем, клюнувшим на предложение агентов Мелани. От адвокатов Монти поехал на вокзал Чаринг-Кросс.

Однако, еще прежде чем автомобиль обогнул Национальную галерею, Чаринг-Кросрод оказалась забитой таким количеством народа, что шофер остановил машину. Монти высунулся из автомобиля и спросил полицейского о причине такого скопления людей.

— Требуют оружия для Испании, сэр!

В его тоне Монти почудилось неуместное сочувствие собравшимся, но он считал ниже своего достоинства всту-

пать в объяснения с простым полицейским. Он велел шоферу свернуть на Пикадилли, чтобы подъехать к вокзалу со стороны Пэл-Мэл. Поезд уходил ровно в шесть.

Однако выбраться из толпы было невозможно. Монти вылез из машины и стал пробираться пешком. Он держал сложенный зонтик перед грудью, словно это был меч. Но пройти удалось недалеко. Монти оказался прижатым к стене дома. Отсюда ему был хорошо виден оратор, за спиною которого хмурилась морда льва.

С площади доносились крики множества голосов:

— Открыть границы Испании!.. Оружие республиканцам!

Нет, черт побери, это было совсем не то, что хотел слышать Монти. Видя, что выставленный вперед зонтик не помогает, он попробовал работать локтями. Но после нескольких крепких пинков в бока и не очень вежливых замечаний в его адрес Монти оставил попытки выбраться из толпы. А через несколько минут ему стало ясно, что он и вообще-то не волен распоряжаться своими движениями: как щепку, его несло туда, куда двигались волны людского моря.

Но вот движение этих волн прекратилось. Люди остановились. Толпа как бы замерла, и над нею повисло настороженное молчание. Откуда-то издали, как из другого мира, доносились гудки автобусов, пробиравшихся соседними улицами.

Монти увидел, как оратор, говоривший у колонны, вдруг исчез, словно потонул. Казалось, прошло бесконечно много времени, как ораторское место оставалось пустым, но толпа не проявляла признаков нетерпения. На миг у Монти возникла надежда, что все уже кончилось, сомкнувшаяся вокруг него масса тел сейчас расступится и он, получив свободу, спокойно проследует к такси. Но эта надежда тотчас и погасла: по

гранитному подножию колонны не спеша, уверенными движениями поднимался кто-то, к кому были прикованы взоры всех собравшихся. Это был плотный мужчина среднего роста, с очень широкими, как показалось Монти, плечами. Черты его лица, хорошо видного с того места, где стоял Монти, показались ему знакомыми. Но, попытавшись было припомнить, где он видел этого человека, Монти тут же понял, что не видел его никогда и нигде и в то же время наблюдал постоянно и всюду, — это было лицо англичанина, каким его изображают, когда хотят показать «типичного» британца: энергичные черты, крепкий подбородок с плотно сжатым ртом, сосредоточенный взгляд серых глаз из-под тяжело нависших густых бровей.

Жесты нового оратора были сдержанны, но очень энергичны. Как будто этими жестами он стремился не усилить смысл своих слов, а только поточнее направить огромную силу того, что говорил. Словно опасался, что брошенные в толпу его неторопливые, ясные фразы, отделенные друг от друга паузами, могут взорвать ее спокойствие раньше, чем его дослушают. И действительно, внутренний смысл каждого его слова, такого простого, обыкновенного, в его устах приобретал неожиданную мощь. Он говорил о том, что люди уже не раз слыхивали на этой площади, у этой колонны; это были слова, родиною которых каждый англичанин считал свои острова, — слова о демократии и уважении к человеку, о его священных правах на свободу и неприкосновенность, о незыблемости Великой хартии и Habeas corpus act'a.

Может быть, у слушателей хватило бы терпения не больше, чем на пять минут, если бы тысячу раз слышанные ими слова в устах этого оратора не приобретали совершенно нового, удивительного смысла.

Из того, что он говорил, с неопровержимой ясностью выходило: фикция, фикция, фикция! Фикция все: от царства воображаемой демократии в самой Англии до воображаемой демократичности англичан; законы — фикция, свобода — фикция, порядок — тоже фикция; фикция — честность в отношениях между англичанами и в отношениях английских правителей с другими нациями. Все, чем шестьсот лет гордились англичане, все, во что они верили и, что любили, — не больше, чем изношенная маска. Сквозь дыры этой маски видна отвратительная рожа беззакония, рожденного жаждой наживы и власти.

— Друзья мои! Повсюду имя, которое мы в юности с гордостью воспринимаем от своих родителей, «британец» равноценно клейму насильника и грабителя; слово «англичанин» почти во всем мире — синоним бесчестия и предательства, корыстолюбия и жестокости, рождаемой презрением к чужой свободе и жизни... Но люди в джунглях знают, что не всякий британец угнетатель, что есть англичане, дерущиеся за них, за их право на жизнь, на труд. Многие из простых людей в британских колониях знают, что есть англичане, очутившиеся в тюрьме потому, что они защищали свободу и национальную независимость трудящегося индуса, малайца, кафра, всех наших братьев по труду, независимо от цвета их кожи!..

Над головами слушателей, как легкий порыв ветра, пронесся вздох. Монти подумал: «Вот наконец-то люди откажутся слушать, и буря протеста заставит оратора замолчать, уйти, исчезнуть!..»

И действительно, к радости Монти, в следующий миг гневный крик взлетел над толпой. Он был похож на рычание многоликого гиганта. Монти ждал, что оратор в страхе бросится прочь с трибуны. Но вместо того

говоривший приветственно взмахнул шляпой, и улыбка одобрения пробежала по его лицу. Монти ничего не понимал. Он отказывался понимать. Ему понадобилось усилие мысли, чтобы поверить: гнев, заключенный в вопле десяти тысяч собравшихся на площади, был обращен не против оратора! Так против кого же? Неужели против тех, кого оратор называл виновником всеобщего презрения и ненависти к самому имени британца? Это было невероятно, но это было так.

Холодок пробежал по спине мистера Грили: происходящее пугало и оскорбляло его. Он оглянулся на своих соседей слева и справа, будто боялся, что вот сейчас, сию минуту, они признают в нем одного из виновников позора, о котором говорилось с подножия колонны. Но взоры окружающих были по-прежнему прикованы к оратору.

Монти тихо спросил соседа:

— Кто этот человек?

— Поллит! — коротко, не оборачиваясь, бросил тот таким тоном, что Монти понял: вопрос был глуп. По-видимому, оратора знал здесь каждый.

Хорошо, Монти не будет больше спрашивать. Ни о чем. Пусть говорят, что хотят...

Но при следующем единодушном возгласе толпы ему пришлось крепче сжать губы, чтобы не выдать их предательской дрожи.

Еще никогда в жизни ему не приходилось так близко видеть столько лиц тех, кого он привык объединять общим презрительным термином «чернь». Не смешиваться с «чернью» было жизненным правилом круга, в котором он родился, воспитывался и жил; считаться с «чернью» лишь как с темною силой, испокон веков требующей чего-нибудь сверх того, что ей давали «хозяева»; принимать ее в расчет лишь как сумму голосов,

нужных во время выборов, — таковы были правила его круга.

Впервые в жизни Монти так ясно почувствовал, — еще не понял, а только почувствовал: эта масса, которую он привык считать темной и более или менее послушной, живет независимо от воли его, Грили, класса и управляется своими, незнакомыми ему, Грили, законами. Так же он почувствовал, что в жизни «толпы» заключена столь огромная сила, о которой он и не подозревал, что законы этой жизни, пожалуй, единственное, что этот Поллит способен был бы назвать не фикцией, ибо это законы, управляющие движением миллионов.

Миллионы!..

При этой мысли озноб снова свел лопатки Монти.

— ...величайшим позором ложится на нас политика, которую от нашего имени британское правительство проводит в испанском вопросе. Вековой, несмываемый позор на наши головы! — Поллит обвел взглядом слушателей, и его большой крепкий палец вдруг указал на кого-то в их рядах. — Вы не забыли, что ваш брат, ваш «славный малый» Джонни, служит наводчиком на крейсере его величества? Под его охраною корабли мошенников различных национальностей, и английских в том числе, подвозят оружие и амуницию изменникам, восставшим против законного правительства Испанской республики. Ага, вы краснеете, дружище... Это хорошо! — Поллит снова сделал паузу и, указав на кого-то другого, сказал: — Помните, в прошлую пятницу вы жаловались мне, что фирма выжимает из вас каждый пенни на расценках обточки снарядов. Вы хотели поднять вопрос о повышении расценок. А если я скажу вам, что ваша фирма продает снаряды Франко и каждый сделанный вами снаряд — это кровь респу-

бликанского солдата? Это кровь человека, защищающего наше с вами дело, нашу с вами жизнь?.. Что тогда?.. Расценки? Нет. Ни одного снаряда изменнику Франко — вот ваш лозунг! Снаряды республиканской Испании — вот ваше требование! — Поллит поднял руку с фотографической карточкой. — Вот фотография, которую не приняла ни одна из «больших» газет, но которую вы увидите завтра в «Дейли уоркер». Эта женщина с видом помешанной держит в руке... ручку своего ребенка! — Он выкрикнул это почти угрожающе. — Они стояли в очереди за молоком — мать и ребенок. Осколок бомбы, сброшенный с самолета фашистским мерзавцем, сделал то, что вы здесь видите: мертвое дитя, сумасшедшая мать!.. Кто из вас, свободных английских рабочих, изготовил эту бомбу для своих испанских братьев? Кто?.. — Поллит как бы перевел дух и спросил: — Рассказывать дальше? — В ответ на грозный ропот толпы согласно кивнул головой: — Хорошо, не буду вас мучить, но обязан сказать: сыны республиканской Испании — такие же простые люди, как мы с вами, рабочие и художники, писатели и инженеры, миллионы честных испанцев дерутся не только за свою, но и за нашу с вами свободу. Там, на плоскогорьях прекрасной страны, разыгрывается первый акт большой международной битвы за мир и свободу народов, за жизнь и труд, за национальную независимость и за право строить такое государство, какого хочет народ, какое нужно не кучке эксплуататоров и тунеядцев, а миллионам простых людей. Таких, как мы с вами. — Голос Поллита стал еще глубже, еще проникновенней. Казалось, звуки приобретали в его устах вещественную осязаемость и падали в толпу горячими, источающими кровь или пламя, проникающими прямо в сердца людей. — Товарищи!.. Если мы

пока еще не в силах остановить бесчестных англичан, которые вооружают палачей испанского народа, если мы не можем во всю силу своего голоса сказать: «Руки прочь от Испании!», то давайте, товарищи, сделаем хотя бы то наименьшее, к чему призывает нас священный долг международного братства рабочих людей: дадим испанским братьям оружие, столько оружия, сколько можно купить на наши скромные трудовые гроши... Если в каждой стране каждый рабочий поступит так же, как сделаем сейчас мы, испанцам будет чем защищать свою и нашу свободу, свою и нашу жизнь от их собственных и наших врагов!.. В этом единении рабочих всего мира, всех национальностей — залог победы нашего дела, залог нашего освобождения. В этом единении наша сила, такая сила, которой не сможет противостоять ничто!..

Поллит высоко поднял свою шляпу тульей вниз и на глазах у всех опустил в нее голубой билет. Привычный глаз Монти сразу узнал: фунт!

Поллит передал шляпу ближайшему рабочему, и она пошла по рукам. С того места, где стоял Монти, можно было проследить ее движение по легкому волнению рядов митингующих. Но вот движение прекратилось. Волна пробежала обратно к колонне, где стоял Поллит. Несколько человек поднялось на подножие колонны, высоко держа уже не одну, а несколько перевернутых шляп. Эти люди о чем-то совещались с Поллитом. Потом один из них потянулся к флагу, висевшему над головой оратора, и снял его. Это был испанский республиканский флаг. Монти видел, как из шляп высыпали деньги в растянутое полотнище флага. Потом четыре человека взяли его за углы и снова спустились в толпу. Ряды присутствующих расступились, давая проход широко растянутому полотнищу.

Забыв обычную сдержанность, Монти поднялся на цыпочки. Он готов был даже взобраться на плечи соседей, чтобы лучше видеть. Он с трудом верил своим глазам: в огромной толпе не было человека, рука которого не бросила бы денег на флаг. Иная рука, не разжимаясь до последнего момента, словно в смущении, опускала несколько пенсов. Монти видел, как руки всех, кто был поблизости от него, шарили по карманам, собирая все, что там было.

Те четверо с флагом шли по рядам. Они приблизились к месту, где стоял Монти. Он видел, как руки его соседей в нетерпении сжимают деньги — несколько монет, которые удалось найти в карманах.

Монти уже ясно видел четверых, несших флаг. У них были хмурые лица очень усталых людей. По темным следам несмываемой угольной пыли, въевшейся в морщины у их глаз, Монти узнал горняков. Почему они очутились здесь, в Лондоне, эти люди? Разве в Лондоне есть угольные шахты?.. Или этот митинг собрал людей со всего королевства, чтобы их устами провозгласить солидарность английских рабочих с испанскими республиканцами, преграждавшими путь к обогащению Монти? Если так, то, значит, и все эти люди такие же враги его, Грили, как испанцы, пытающиеся отнять у него право распоряжаться недрами Пиренейского полуострова!

Он исподлобья, быстрым взглядом окинул лица окружающих, и ему почудилось, что все взгляды устремлены на его руки, до сих пор вместо денег судорожно сжимавшие зонтик. Черт возьми, уж не воображают ли эти субъекты, что и он бросит свою лепту на флаг Испанской республики! Дать деньги на приобретение оружия, которое обратится против его собственных интересов?.. Как бы не так.

Он прижал ручку зонтика к подбородку и опустил глаза. Теперь он не видел ничего, кроме порыжевшего сукна на спине стоявшего впереди рабочего. Но ему продолжало казаться, что сотни взглядов по-прежнему направлены на его руки, на карманы его пальто, на его лицо. Его воображению очень ясно рисовалась ненависть, горящая в каждом из этих взглядов. Разумеется, эти люди не могли не видеть в нем врага. Так же, как он видел своих врагов в них... А что они сделают, если он не бросит деньги на флаг? Ведь стоит им сдвинуть ряды, и он будет раздавлен этой страшной, враждебной массой тел. Никакая полиция никогда не узнает, что тут случилось...

Может быть, безопаснее швырнуть им несколько медяков, как бросил вон тот оборвыш в замасленном кепи или та женщина в дырявом пледе на плечах, — они ведь тоже опустили на трехцветное полотнище всего несколько мелких монет... Почему не сделать того же и ему?.. А четверо с флагом приближались. Все ближе к Монти расступались ряды. Сборщики шагали медленно, тяжелой поступью усталых, но уверенно идущих к цели людей. Их лица были сосредоточенны. Монти отчетливо видел каждую их черту. Его сознание фиксировало эти черты, как фотографический аппарат. О, Монти узнал бы их теперь через тысячу лет, среди тысяч!.. Какие суровые лица, какие чужие!..

Еще несколько шагов этой беспощадной четверки, и флаг будет около Монти...

Рука его скользнула по зонтику и опустилась в карман. Пальцы судорожно перебирали в кармане мелочь, а взгляд все был прикован к лицам сборщиков: что, если, увидев, как он бросает на флаг свою мелочь, эти люди остановятся? Они же не могут не знать, что в его бумажнике — чековая книжка и много длинных голу-

бых и белых банкнот. У этих людей такие глаза, что, наверное, проникают сквозь сукно его пальто, сквозь кости его черепа. Может быть, они читают его мысли, угадывают его ненависть к ним, ко всей окружающей его толпе, к их словам и делам?!.

Страх метался в черепе Монти и колким ознобом спускался к коленкам, заставляя их вздрагивать мелкой-мелкой трусливой дрожью; страх стекал к пальцам, копавшимся в кармане. Этот большой широкоплечий мужчина, с головою Зевса был сейчас так переполнен страхом, что с каждою секундой все больше утрачивал контроль над собой и представление об окружающей действительности. Воспаленное страхом воображение твердило ему, будто у всех десяти тысяч человек, собравшихся на площади, через несколько секунд, необходимых сборщикам для того, чтобы поравняться с Монти, не будет иного желания, как только знать размер его лепты. Боязнь толпы привела его к вздорной мысли, будто на его особе сосредоточено сейчас все внимание, вся ненависть собравшихся к классу хозяев, и его, Монти, маленькая ошибка приведет к взрыву этой ненависти, и он, Монти Грили, джентльмен, делец и великолепный игрок в бридж, падет жертвой их ненависти тут же, немедленно! Роковою ошибкой могли оказаться несколько мелких монет, зажатых в его потной руке... Так что же, что он должен сделать, чтобы отвести от себя нависшую угрозу? Как избежать взрыва ненависти этих молчаливых, страшных людей?..

Сознание Монти почти не участвовало в том, что делали дальше его руки. Словно посторонний, невнимательно наблюдавший за неким Монти Грили со стороны, он с трудом вспомнил потом, как дрожащие руки этого большого человека в сером пальто и таком же сером котелке выпустили на землю зонтик. Кажется,

зонтик упал... Да, упал, и никто не нагнулся, чтобы поднять его из-под ног толпы. А дрожащая рука большого вспотевшего мужчины в сером пальто и сером котелке сама полезла во внутренний карман пиджака. Она достала бумажник, судорожным движением выдернула из него банкнот, с опаской, осторожно опустила в медленно проплывавший мимо Грили испанский флаг рыжую бумажку — полфунта...

При этом лицо Зевса искривила виноватая улыбка, и Зевс угодливо приподнял котелок... Кажется, он откупился!..

Но если он не ошибается, сборщики даже не замедлили шагов, когда на растянутое полотнище, колыхаясь на лету, как опавший вялый лист, упала кредитка Монти. Кажется, даже не повернули в его сторону лица, не посмотрели на него и никогда не узнают его. Но зато он еще раз, навсегда запечатлел их лица — изможденные черты усталых людей, со следами угольной пыли в морщинах.

На следующий день Монти приехал на станцию часом позже, чем условился с Маргрет. Первым, кого Монти увидел на платформе, был Нед. Нед предложил идти пешком, но прогулка в две мили не устраивала Монти, он предпочел позвонить в Грейт-Корт и подождать, пока оттуда пришлют автомобиль. В ожидании его братья расхаживали по садику около станции.

— Ты читал опровержение мисс Беннет по поводу того, что ее патрон напечатал в своих газетах? — спросил Нед.

— Не знаю ни Беннет, ни ее патрона, — пренебрежительно пробормотал Монти.

— Херст сфабриковал телеграмму «от своего московского корреспондента», будто советское Министерство

иностранных дел заявило о намерении решительно вмешаться в дела Испании.

При слове «Испания» Монти проявил интерес:

— И что же?

Нед расхохотался:

— Оказалось, что единственная корреспондентка Херста в Москве, эта самая Беннет, никогда не посылала подобной телеграммы.

— Что же тут смешного? — недовольно проговорил Монти. — Можно только пожалеть: от Херста следовало ждать чего-нибудь поумней.

— От берлинского воздуха поглупел не только Херст.

— Кого ты имеешь в виду?

— Тебя, Монти!

Монти смотрел на Неда с нескрываемым возмущением.

— Мне надоело то, что ты суешь нос не в свои дела!

— Народ прав: нужно помочь Испанской республике.

— Никогда!

— Тогда вы должны будете открыто признать свою солидарность с фашистами, заявить, что вы заинтересованы в победе фашизма в Испании, а с нею и во всей Европе.

— Франко — это тот порядок, какой нужен нам. А ты хотел бы, чтобы миллионы фунтов, вложенные в испанские дела, стали достоянием черни?

— Испанская республика — государство народа! — воскликнул Нед и, резко повернувшись, пошел прочь.

Монти продолжал расхаживать взад и вперед. Ему показалось, что по шляпе стукнула дождевая капля. Он посмотрел вверх. Действительно, небо, хмурившееся с утра, было сплошь затянуто тучами, Монти раскрыл зонтик. Когда машина подошла, Монти оглядел садик, ища Неда, но тот уже ушел пешком.

Монти приехал в Грейт-Корт раньше, чем дошел Нед. При входе в дом Монти брезгливо потянул носом: в холле пахло мокрой шерстью и грубой кожей. Он сразу понял, что этот неприятный запах исходит от нескольких понурых фигур, разместившихся на стульях вдоль стены. Эти люди сидели боком ко входу, и Монти бросилось в глаза: они все, как один, несмело примостились на кончиках стульев; все, как один, держали руки на коленях, как обычно снимаются у уличных фотографов простые люди. У ног каждого, возле стула, на полу, лежала мокрая шляпа.

Все это Монти охватил сразу, одним взглядом, прежде чем посмотрел на лица странных посетителей. Он подумал было, что это рабочие, приехавшие для отделки нового свинарника Бена, но тут же сообразил, что тогда им незачем было бы сидеть тут и отравлять воздух своим отвратительным запахом бедности. Мимоходом он поднял взгляд на лица молчаливых гостей и тотчас остановился как вкопанный. Его охватило нечто большее, чем простое удивление или даже изумление: перед ним были сборщики пожертвований на оружие испанцам! Да, да, те самые четверо угрюмых людей, что держали за углы испанский флаг, наполненный деньгами!.. А может быть, они только донельзя похожи на тех вчерашних: те же угрюмые взгляды, те же складки усталости и вот — угольная пыль, въевшаяся в морщины у глаз. Быть может, это тоже печать бедности, такая же, как запах их одежды?..

После короткого замешательства он быстро миновал холл и, найдя Маргрет, спросил, почти крикнул:

— Кто эти люди?!

У него был такой испуганный вид, что Маргрет в удивлении отпрянула.

— Что с вами?

— Что им нужно?

— Это делегация с наших копей в Лоу-Уотере...

— Они требуют денег для Испании?

— При чем тут Испания... Они хотят объясниться с Беном. — При этом Маргрет презрительно подняла плечи. — Будто на наших шахтах не принимается мер против обвалов или взрывов... Что-то в этом роде...

Поняв, что появление тут этих людей — случайность, Монти овладел собою. Противный холодок в спине исчез.

— При чем же тут Бен? — возмущенно воскликнул он таким тоном, словно дело шло о его собственных копях. Обычная уверенность быстро возвращалась к нему. — В этих делах должна разбираться горная инспекция. Гоните их прочь!

— Что с тобой?.. Можно подумать, что...

Но он не дал ей договорить:

— К черту! Это нетерпимая назойливость! — крикнул он, сознавая, что здесь не митинг, здесь нет десятитысячной толпы, в которой он чувствовал себя, как кролик. Если он и не был хозяином Грейт-Корта, то все же здесь он был в своей среде, под защитою законов своего общества, под охраною дворецкого и целой оравы слуг. Зевс мог себе позволить кричать так, чтобы каждое слово было слышно в холле «этим четырем».

— Если каждая шахта будет посылать сюда... таких, они превратят ваш дом в конюшню. Тут же нечем дышать! — И негромко спросил: — Что сказал им Бен?

Маргрет презрительно скривила рот:

— Бен?.. Сидит себе в свинарнике и предоставляет мне разделываться как знаю.

Тогда Монти крикнул опять во весь голос:

— Если они не уберутся тотчас, я позвоню в полицию.

— Совершенно лишнее, — спокойно и негромко сказала Маргрет. — Они приходят уже третий раз. Посидят и уйдут, когда поймут, что им нечего ждать. — И уже совсем тихо добавила: — Мы не хотим скандала вокруг этого дела...

Она взяла Монти под руку и повела в буфетную, но на полпути он спохватился:

— Необходимо узнать их имена! Их внесут в такой список, понимаете: никто никогда не возьмет на работу ни одного из них!

Он воскликнул это так, словно сделал радостное открытие.

Мгновение Маргрет смотрела на него, как бы не понимая, потом так же оживленно сказала:

— Один из них, что-то вроде их предводителя, назвал себя Ноксом... Да, именно так: Гемфри Нокс... Сейчас я узнаю, как зовут остальных.

И она поспешила к двери, ведущей в холл.

Монти нагнал ее и прошептал ей в ухо:

— Гемфри Нокс?.. Который из них?

Чуть-чуть приоткрыв дверь, она показала:

— Вот тот, крайний... Видите, в рыжем костюме... Ну, да я сейчас подойду к нему... следите за мной.

И она исчезла за дверью. Монти плотно притворил створки дверей и, присев на корточки, прильнул к замочной скважине. Ему было видно, как навстречу Маргрет поднялся высокий, худой мужчина лет сорока, с широкими, но сутуло сдвинутыми плечами и как-то странно, будто особенно устало висящими руками. Гемфри Нокс!.. Предводитель?.. Да, это один из тех, что вчера несли испанский флаг с деньгами на оружие, которое обратится против него, Монти, союзника генерала Франко... Гемфри Нокс!.. Ну что же, эти глубоко сидящие глаза с темными полосками на веках уже зна-

комы Монти. О, он их запомнил еще вчера!.. Посмотрим, какое выражение появится в них, когда мистер Нокс поймет, что внесен в черный список!..

Когда Маргрет вернулась, совершенно успокоившийся Монти спросил:

— А Бен все еще в свинарнике?

— Где ему еще быть?!

При этом она презрительно скривила губы.

— Можно за ним послать?

— Нет.

— Если бы вы знали причину моего приезда, Мэгги!

— Но вы же знаете Бена... У одной семьи врачи нашли острую форму туберкулеза.

— У семьи или у свиньи?

— У семьи свиней.

— Нужно добиться, чтобы на следующем заседании Комитета по невмешательству он непременно присутствовал: он должен помешать русским! Если они добьются эффективного контроля над портами мятежников, положение будет чертовски осложнено.

Маргрет лукаво подмигнула:

— А вы уже заинтересованы и в испанских делах?.. Вот Нед доберется...

— Нед?! Хорошо, что напомнили. Сейчас же сплавьте этих шахтеров куда хотите. Нед идет со станции. Если он встретится с этими в холле, скандал обеспечен!

— Пожалуй, вы правы! — Маргрет озабоченно потерла висок и, оставив недопитую рюмку, поспешно вышла. Но, едва переступив порог холла, она увидела, что опоздала. Нед стоял, окруженный горняками. С полей его шляпы еще падали капли воды.

Маргрет всегда была уверена, что хорошо относится к Неду. Он был для нее чем-то вроде домашнего медвежонка, скорее смешного, чем опасного, затевавшего дра-

ки с гостями, которых ему подсовывали на потеху другим. Если он скалил зубы, это не принималось всерьез. Маргрет никогда еще не испытывала чувства, внезапно овладевшего ею сейчас, когда она при входе в холл увидела Неда, — может быть, потому, что она никогда не видела его в ином окружении, чем ее собственные гости. В их обществе несколько большая свобода костюма и резкая манера Неда говорить и держаться казались не чем иным, как занятной экстравагантностью. Но сейчас, когда она увидела его в таком же дешевом, вымокшем костюме, какие были на рабочих, в этой немодной широкополой шляпе с обвисшими от воды полями, Нед показался ей чужим, одним из «этих».

— Где Бен? — спросил ее Нед.

— Его нет дома.

— Он нам нужен.

Если бы Нед не произнес этого «нам», Маргрет, может быть, ответила бы иначе, но теперь она резко сказала:

— Я уже говорила этим господам: лорда Крейфильда нет, и не будет.

На мгновенье ей показалось, что Нед сейчас, вот сию секунду, потеряет самообладание. Его лицо, с которого еще не сошел легкий загар, вспыхнуло.

Нед повернулся к шахтерам:

— Я переговорю с сэром Бенджаменом и сообщу вам!

Горняки потянулись к выходу, убежденные в том, что теперь их дело в шляпе.

Так же твердо была уверена в своем и Маргрет: когти медвежонка не могут быть опасны домашним!

Когда не было посторонних, в доме Крейфильдов не соблюдался обычай оставлять после обеда мужчин

одних. Маргрет наравне с ними подсаживалась к камину с рюмкой и с папиросой и принимала участие в беседе.

А сегодня у нее и подавно не было намерения оставлять Бена с братьями. В этот послеобеденный час Беном овладевает сонливость, ему делается безразлично все на свете, кроме разве его свиней, и он может дать опрометчивые обещания. Может обещать Монтегю «выздороветь» и явиться на заседание Комитета по невмешательству, тогда как Маргрет считает, что именно этого-то и не следует делать. Для успеха франкистов нужно, чтобы комитет подольше не собирался. План снабжения оружием Франко, о котором рассказал толстяк Маранья, показался ей великолепным. Итальянское и немецкое оружие будет теперь грузиться в различных портах, не исключая английских, под видом продовольствия и других товаров. Для этого уже зафрахтованы суда под самыми разнообразными флагами — до греческого и норвежского включительно. О каждом таком судне будет точно известно Франко. Его военные корабли будут задерживать эти суда и отводить в свои порты в качестве призов с военной контрабандой. Во-первых, при таком способе ни немцев, ни итальянцев нельзя будет винить в посылке оружия; во-вторых, при известном искусстве можно будет повернуть дело против русских, якобы пытающихся этим путем оказать помощь своим испанским друзьям. Чем больше времени будет в распоряжении франкистов, тем лучше. Чем дольше не соберется комитет, которому рано или поздно все это станет известно, тоже тем лучше...

И второе, чего не следовало сегодня допускать, — это разговора Неда с Беном. Чего он хочет от Бена? Чтобы тот дал средства на улучшение шахт? Пусть убирается со всеми своими горняками! Охрана труда в

шахтах и так уже стоит достаточно дорого. Ни пенни больше того, что требует закон!

Она решительно стукнула ножкой рюмки по каминной доске и сквозь пелену табачного дыма посмотрела на братьев.

Бен с усилием разжал сцепленные пальцы и прикрыл зевок. При всем желании он не мог заставить себя вслушаться в разговор и в полудреме думал о своем: заболела его лучшая йоркширская самка Мадонна...

## 14

Серая каменистая пустыня Новой Кастилии подавляла Зинна своею суровостью. Ему, привыкшему к немецким пейзажам, плоскогорье представлялось библейски величественным. Даже теперь, прохладными осенними днями, его пугало это высокое солнце, не прикрытое облаками, и звонкая твердость почвы, лишенной растительности.

Никогда прежде Зинн не соприкасался так близко с будничной, повседневной жизнью пехотной части. Теперь он аккуратно приходил сюда в часы строевых занятий. Он искал доводы, достаточно убедительные для всех этих хороших, серьезных и храбрых людей, пришедших сюда так же, как и он сам, защищать республику, что их нужно часами гонять по полю, требуя умения ходить в ногу и равнять ряды. Не то, чтобы он сам не понимал значения дисциплины и значения военного обучения, но ему было как-то неловко перед добровольцами. Как политический комиссар именно он должен был внушать систематически и упорно, что дисциплина и военное обучение — залог стойкости бригады.

Однажды Зинн внимательно следил за тем, как пожилой капрал из батальона Тельмана, — все обличало в

этом человеке бывалого солдата, — шагая рядом с бойцами, показывал им, как следует крепить фляжку, чтобы она не ударялась на ходу о лопату и не издавала шума.

— Шум может дорого стоить каждому из нас в отдельности и всему батальону в целом, — говорил капрал.

Какое маленькое дело и какой большой в нем смысл!

Зинну было приятно, что этот бывалый солдат — немец. Однако, поймав себя на этой мысли, Зинн поморщился, словно в ней было что-то постыдное для политического комиссара Интернациональной бригады. Он перешел на другую сторону плаца, где обучался батальон Домбровского.

Назначение Зинна комиссаром было для него самого неожиданностью, большой и приятной. Не только потому, что оно означало доверие командования и партии, но и потому еще, что в такой бригаде, как эта, комиссаром можно было назначить только человека, пользующегося безусловной популярностью среди бойцов и офицеров. Значит, Зинн обладал этой популярностью. Он понимал, что обязан ею не столько военным талантам и своей партийной безупречности, сколько, пожалуй, песням. Только здесь он увидел, что песни, певшиеся им в Германии, находили отклик далеко за ее рубежом. Имя Зинна и его голос, оказывается, знали рабочие Австрии, Венгрии, Франции, Чехии, даже Болгарии, даже Италии, где слушание их было сопряжено с риском очутиться за колючей проволокой концлагеря или за решеткой тюрьмы. Такая популярность и обрадовала Зинна и несколько испугала.

— Рад, очень рад! — сказал генерал Матраи, прочитав приказ о назначении Зинна.

— Я даже не могу сказать, что рад: это для меня праздник.

— Мы с тобою почти в одном положении... — Добродушное лицо Матраи сделалось необыкновенно серьезным, даже, как показалось Зинну, грустным. — Банда Хорти якшается с Муссолини и Гитлером. Одного этого было бы достаточно, чтобы в глазах простых людей всего мира сделать позорным слово «венгр». И вот, — гордость зазвучала в голосе Матраи, — я почувствовал себя здесь человеком, который должен доказать, что венгры, честные венгерские люди, такими и остались!

— Я тебя понимаю, — сказал Зинн.

Да, да, Матраи прав.

Трудная задача!

Неслучайная московская встреча свела здесь генерала Матраи и певца Зинна. Это было закономерностью дружбы, великого единства лучших людей, всего передового человечества. Все они знали, зачем идут сюда и на что идут. Не было случайностью и то, что в батальонах интернациональных бригад было много посланцев народов, задавленных игом фашистской деспотии. Тут были немцы и итальянцы, болгары и сербы, венгры и сыны многих южноамериканских народов. Все они пришли на помощь испанскому народу, своему брату, такому же великодушному, как и их собственные народы, такому же храброму и вольнолюбивому, народу хлебопашцев и пастухов, моряков и зодчих, художников и певцов. Кто знает, быть может, наступит время, когда бригады иностранных добровольцев, сражавшихся в Испании, придут в свои собственные страны в роли освободителей? А пока надо было выполнять свой долг здесь. Интербригадовцы были гордостью бойцов среди массы испанцев, взявшихся за оружие, чтобы защищать свою страну; друзья Матраи понимали, что они только посланцы мировой семьи народов, борющихся за свободу. Но они несли своим братьям — ис-

панцам — боевую дружбу трудящихся всех стран; они несли испанцам свой военный опыт. Тут, на полях и в горах Испании, они плечом к плечу с самими испанцами дрались против общего врага — фашизма.

Адъютант генерала Матраи, молодой испанец, поэт Хименес Руис, сказал:

— Одно из двух: мы победим — и снова расцветут города Испании и земля покроется посевами и садами, или победят они — и тогда еще целый век над историей Испании будут витать зловещие тени Филиппа Второго и Торквемады.

— Филипп будет итальянского происхождения, а на заду Торквемады, под штанами, окажется метка: «Сделано в Германии», — смеясь, ответил Матраи.

Руис усмехнулся.

— Вероятно, вы правы, генерал, но и это будет не самое страшное.

— По-моему, хуже трудно придумать! — возразил Зинн.

Руис покачал головой.

— Не кажется ли вам, что гораздо опасней для нас, испанцев, и для всего мира, если окажется, что, потерев марку «Сделано в Германии», вы вдруг обнаружите под нею нечто совершенно неожиданное... — Он интригующе помолчал и закончил: — «Сделано в Англии» или «Сделано в Америке».

Послышалось несколько восклицаний.

— А что, по-вашему, — продолжал Руис, — случайность, что в первые же дни мятежники захватили не Мурсию, не Валенсию, не Каталонию и даже не Новую Кастилию с Мадридом, который им очень нужен? Нет, они заняли именно Андалузию, чтобы избавить от всяких случайностей рудники «Рио-Тинто»

и опереться спиной на скалу Гибралтара; именно Галисию с Эль-Ферролем и Виго, чтобы иметь открытый выход в Бискайю, куда хорошо знают дорогу английские корабли?

Молча сидевший в уголке Арчибалд Крисс, высокий, худой англичанин, начальник связи бригады, осторожно, сразу всеми пятью пальцами, чтобы она не развалилась, вынул изо рта размахрившуюся сигару.

— К черту такие разговоры, Руис!

— Я не о таких англичанах, как ты, Арчи!

— А таких, как я, миллионы!

— Но этими миллионами командует несколько десятков таких, которые владеют «Рио-Тинто», и Тин-Бсральд, и Альмоденой, и...

— К черту!

— Вот об этом я и говорю, — сказал Руис.

Бела Варга, венгр, командир разведывательного эскадрона, маленький, круглый и черный, с кудрявою гривой волос, отошел от стола, за которым перерисовывал кроки.

Остановившись напротив Руиса, Варга расставил короткие крепкие ноги и, держа на отлете дымящуюся сигару, громким и хриплым, будто простуженным, голосом воскликнул:

— К черту в первую очередь всех негодяев всех национальностей, будь то венгры, англичане, кто угодно, — тех, кто впился в тело испанского народа и сосет его кровь вместе с его собственными испанскими пиявками!.. Но пусть мне теперь членораздельно объяснят, почему нас держат в резерве?

— Нашу бригаду, Бела?

— Нашу бригаду, Хименес! Нашу отличную бригаду, люди которой сошлись со всего света для того, чтобы драться, а не сидеть в резерве!

Писавший за столом у окна начальник штаба, немец Людвиг Энкель, искоса посмотрел на генерала Матраи, внимательно следившего за спором своих офицеров.

— Мне, ему, ему, — все более горячась, говорил Варга, указывая коротким пальцем на окружающих офицеров, — Испания дороже, чем всем этим типам из мадридских дворцов, хотя мы и не испанцы!

Генерал поднялся из-за стола и, встав между Варгой и Руисом, обнял обоих за плечи.

— Весь вопрос именно в этом, — сказал он: — кому дорога Испания.

Руис задумчиво произнес:

— Да, в этом все дело. Вы можете мне не поверить, но родина еще никогда не была мне так дорога, как теперь, когда я очутился с вами... Это даже странно.

— Ничего странного, — сказал Матраи. — Разве наша сила не в железном единстве антифашистского фронта всех народов?

Медленно покачиваясь, Руис произнес:

— Не знаю, была ли еще у какого-нибудь народа такая трудная история? Пролил ли еще какой-нибудь народ столько своей крови, как испанцы, в слепом подчинении королям и церкви?

— Да, черт побери, — проворчал Крисс, — ваша испанская церковь вспоена человеческой кровью, она была страшна, как никакая другая.

— Была?! — воскликнул Руис. — Если бы только была! Посмотрите на нее сейчас, — это же клоака, в которой шипят и беснуются рептилии. Инквизиция перестала действовать открыто, она научилась маскироваться, но так же, как и во времена Торквемады, она гонит людей в тюрьмы и на эшафот. Она не сжигает их посреди площадей, но разве попасть в подвал Франко — это лучше, чем сгореть на костре? Инквизиторы

не заседают больше в камере пыток, но посмотрите, что делают с людьми в застенках немецкой гестапо, польской дефензивы, итальянской овры! И кто загоняет туда жертвы? Попы! Кто провожает их на эшафот с крестом в одной руке и с веревкой в другой, совсем как триста лет назад?.. Попы!

— Успокойтесь, мальчик, — ласково проговорил Матраи. — Скоро все это будет только материалом для какой-нибудь исторической поэмы о «великих инквизиторах», в назидание грядущим поколениям. Но эти поколения никогда уже не увидят ничего похожего на то, о чем ты рассказываешь, никогда не услышат стона жертв. Наша с тобою кровь, если ей суждено пролиться, — последняя, которая будет отдана в борьбе за освобождение человечества от черных пут поповщины.

— Ах, генерал, как я хочу вам верить!.. Как я верю!.. — Поэт подбежал к Матраи и схватил его руку двумя своими тонкими загорелыми руками. — Когда я слушаю вас, мне всегда кажется, что все мы пишем какую-то новую страницу прекрасной поэмы, большую и очень важную. И это так замечательно, что именно вы, и он, и он, и он, — Руис поочередно указывал на офицеров, — сыны народов, казавшихся далекими от нас, стоите здесь, в одном ряду с испанцами. Это так прекрасно, генерал! Мне хотелось бы написать об этом стихи, такие замечательные, каких я никогда не смогу написать...

— Напишешь, Руис, — сказал Матраи и, освободив свою руку из горячих ладоней юноши, положил ее ему на плечо. — Ты напишешь их потому, что твоя душа полна самых прекрасных стихов, самых прекрасных идей и чувств, какие могло породить сознание человека: чувств братства народов, идей единства и веры в победу нашего дела — самого правого дела, за какое

когда-либо дрались солдаты. Разве мы с вами не продолжаем то, что русские начали в семнадцатом году?

— Это как большой праздник, — мечтательно проговорил поэт. — Наш общий праздник... И именно теперь, когда наш народ впервые по-настоящему взялся за создание своей истории, фашисты хотят перерезать нам глотку?

— Сначала они должны будут перерезать глотки нам.

— Вы говорите об интернационалистах, генерал?

Маленькой крепкой, как железо, рукой Матраи сжал плечо адъютанта:

— Руис, милый мой поэт! Я говорю и о нас, интернационалистах, и о вас, испанских патриотах. Мы — это значит все честные люди, взявшиеся за оружие, чтобы помочь испанскому народу отстоять свое право на такое государство, какое он хочет иметь... Я хорошо понимаю, Руис: наши силы, всех нас, собравшихся сюда с разных концов света, может быть, и не так уж велики по сравнению с силами самого испанского народа. Но он должен знать, и весь мир должен знать: мы здесь для того, чтобы отстоять вашу испанскую свободу, которая является частью нашей — венгерской, польской, французской, болгарской, китайской свободы...

И, словно продолжая мысль Матраи, Зинн вполголоса запел:

Франко и Гитлер, плох ваш расчет!
Мы защищаем испанский народ...

И офицеры дружным хором подхватили:

Все планы Франко
Мы впрах разрушим...

Вестовой подошел к Руису и шепотом что-то доложил.

— Пусть входит, — сказал Руис и негромко доложил генералу: — Новый товарищ...

Матраи кивнул и направился к столу, за которым все с тою же сосредоточенностью продолжал писать Энкель. Генерал был на половине пути к столу, когда дверь отворилась и в комнату вошел Кеш.

Матраи подбежал к нему, схватил за плечи, сильным движением повернул к свету.

— Не может быть?.. Михаэль!

По-видимому, свет лампы ослепил Кеша после темноты улицы. Он снял очки и осторожно прикрыл пальцами глаза.

— Поздравляю, генерал, — сказал Кеш.

— С чем?

— Завтра вы выступаете!

Матраи радостно поднял стакан.

— Друзья!..

Он ничего больше не сказал, только оглядел своих офицеров и осушил стакан.

Варга и Руис чокнулись.

Энкель посмотрел из-под очков на генерала и, подумав, стал аккуратно складывать разбросанные по столу бумаги. Через полчаса дом погрузился в темноту.

После полуночи, как было условлено, Зинн зашел за Матраи, чтобы вместе обойти расположение бригады. Подойдя к незавешенному окошку, Зинн заглянул в него, прежде чем стукнуть в стекло. У стола все так же сидел Людвиг Энкель. Его рука с пером все бегала по тетрадке. Это, конечно, была не книжка приказов, а личная тетрадь писателя Энкеля. В нее он ежедневно, пользуясь каждой свободной минутой, записывал свои

наблюдения для романа, над которым не переставал работать ни при каких обстоятельствах, к добродушной зависти генерала.

Матраи сидел в дальнем углу, на походной койке, закинув руки за голову. Глаза его были закрыты, брови насуплены. Когда Зинн осторожно стукнул в окошко, Матраи поднял голову и посмотрел на зажатый в руке листок, потом вокруг себя. Можно было сказать с уверенностью, что мысли его вернулись издалека. Он быстро встал и, надев фуражку, вышел к Зинну. Стоя на крыльце, он достал бумажник и бережно вложил в него листок, который все еще держал в руке.

— Мои только что вернулись из Беликов, — смущенно пояснил он, словно было что-то стыдное в том, что он хотя бы на короткое мгновенье отдался личному.

Зинн знал, что в Беликах, деревне на Полтавщине, Матраи, уезжая в Испанию, оставил на лето жену и дочь.

Они молча шагали по каменистой дороге. Сдержанный вздох Матраи как бы дал Зинну понять, что с личным покончено...

Когда они вернулись в штаб, Энкель поднялся из-за своего стола и торжественно вручил генералу бланк депеши.

*«Копия Мадрид.*

*Центральному Комитету Коммунистической партии Испании.*

*Товарищу Хосе Диас.*

*Трудящиеся Советского Союза выполняют лишь свой долг, оказывая посильную помощь революционным массам Испании. Они отдают себе отчет, что*

*освобождение Испании от гнета фашистских реакционеров не есть частное дело испанцев, а общее дело всего передового и прогрессивного человечества.*

*Братский привет!*

*И. Сталин».*

Матраи прочел текст и, обернувшись к Зинну, протянул ему депешу.

— Смотри, привет партии! — сказал он.

## 15

Монти отпустил таксомотор у министерства внутренних дел и нырнул под арку Кинг-Чарльз-стрит, чтобы кратчайшим путем выйти к тому месту, где надеялся перехватить Флеминга. Он знал, что Флеминг всегда проходит вдоль решетки Сент-Джеймского парка. Место казалось Монти удобным, чтобы поговорить с проклятым упрямцем, чье влияние на Бена проявилось вдруг с такою силой. Кто бы мог думать, что все советы Маргрет будут так легко забыты Беном и ни одно обещание, из данных им Монтегю, не будет исполнено под влиянием нашептываний какого-то чиновника, неизвестно откуда взявшегося!

Впрочем, тут Монти кривил душой. Он отлично знал, что мистер Флеминг как бы взаимообразно дан министерством колоний министерству иностранных дел на время работы Комитета по невмешательству. Попытки Маргрет уговорить мужа отказаться от Флеминга наталкивались на сопротивление Бена. Монти не хуже самого Бена знал причину его упрямства: Флеминг был на редкость расторопным человеком. Ему было за сорок, и вообще это был вполне солидный мужчина, имеющий за спиною два тома научных тру-

дов о бабочках Новой Гвинеи. Когда стало известно, что мешающий проискам спекулянтов секретарь комитета — энтомолог, Монти решил, что, купив ему сачок и коробку для собирания бабочек, он овладеет душою и телом простака.

Но простак оказался вовсе не так прост. Отличный знаток канцелярских порядков, Флеминг сразу же завоевал подступы к сердцу председателя тем, что содержал делопроизводство комитета в идеальном порядке. Любая справка могла быть получена в течение нескольких минут; стенографические отчеты заседаний, аккуратно отпечатанные и изящно переплетенные, быстро рассылались послам — членам Комитета по невмешательству в дела Испании. Бен блаженно улыбался, выслушивая комплименты четкой работе комитета. Но и это удовольствие было сущим пустяком по сравнению с тою пользой, какую Флеминг приносил Бену в процессе самих заседаний комитета.

Привыкнув улавливать подаваемые шепотом советы секретаря, Бен обнаружил неожиданную для всех способность принимать решения, не съездив домой.

Именно это-то и противоречило планам Монтегю. Помимо того, что Монтегю удалось задешево купить в Испании участок с богатыми запасами олова, он еще взял на себя проведение очень выгодной операции с переотправкой франкистам большой партии оружия из Гамбурга. Способ доставки в Испанию оружия, рассказанный ему Маргрет, оказался великолепным. Два парохода уже были «конфискованы» Франко.

Наведя справки о Флеминге, Монти с достоверностью установил, что никаких доходов, кроме министерского жалованья, у того не было. Жалованья могло хватать на самую скромную жизнь. Научная работа энтомолога не давала Флемингу ничего, — напротив,

его сбережения ушли на издание двух книг. Третья, по мнению Флеминга самая ценная, до сих пор не была опубликована. Одновременно Монтегю узнал и то, что именно издание работы о Troides (ornithoptera) meridionalis Rothsch является своего рода навязчивой идеей чиновника-энтомолога. На этом-то пункте Монти и решил построить свою атаку: он поможет Флемингу издать книгу, потом подсунет ему пакет второсортных испанских бумаг — и Флеминг будет у него в руках, а с Флемингом — и Комитет по невмешательству.

Ничего не подозревавший объект этих происков, мистер Флеминг, размеренным шагом шел вдоль ограды Сент-Джеймского парка. Мелкий дождь шуршал по его раскрытому зонту. Скатывавшиеся на спину капли собирались в струйки и стекали сзади по плащу на брюки. Но мистер Флеминг не думал ни о дожде, ни о намокших брюках. Его мысли были далеко. Они витали в насыщенных парной духотой зарослях Новой Гвинеи, где он провел лучшие годы жизни и собрал коллекцию бабочек, доставившую ему звание корреспондента Королевского общества. Взгляд его машинально скользил по деревьям с той стороны ограды, но вместо их серых, уже наполовину оголенных ветвей перед его взором проплывала густая зелень далекого острова.

В этой получасовой прогулке между вокзалом и министерством, еще принадлежавшей ему, Флеминг имел право отдаться тому, что было подлинным смыслом его существования на протяжении последних лет, — мечте об акклиматизации на Британских островах великолепной гвинейской бабочки. Это было тем слабым местом Флеминга, какое существует в психике почти каждого человека. Будучи практиком и приверженцем реалистического взгляда на все явления жизни, там, где дело касалось бабочек, Флеминг сразу соскаль-

зывал с почвы реальности. Он искренне полагал, что появление огромной черно-зеленой красавицы в садах Англии было бы событием.

По мере того как за серой сеткой дождя вырисовывались контуры правительственных зданий, служебные мысли начинали вклиниваться в приятные размышления о бабочках. И, раз уже переключившись на мысль о службе, Флеминг не возвращался к бабочкам. Он был исполнительным чиновником и старательно относился ко всякому делу, порученному ему начальниками.

Попав недавно в комитет, Флеминг без труда понял, что истинной целью представленных в нем правительств, кроме Советского, является такое ведение дел, которое не мешало бы генералу Франко одержать победу над республикой. Франция и Англия не составляли исключения, несмотря на все давление, какое массы этих стран оказывали на свои правительства. По-видимому, немалое влияние на ход дел в комитете оказывали и международные круги спекулянтов, спешивших нажиться на войне в Испании.

Все это быстро стало ясно Флемингу. Стало ему ясно и то, что в отношении Испанской республики все это было действительно вопиющей несправедливостью. Но ведь его послали сюда вовсе не для того, чтобы бороться за справедливость. Его обязанностью было создавать порядок в канцелярии комитета. И только. Даже если бы в душе его шевельнулось желание чем-нибудь помочь республиканцам, он легко подавил бы его. Впутываться в дела, которые его не касались, — за испанцев или против них, — значило рисковать служебной карьерой, а следовательно, и возможностью приватно заниматься бабочками...

Монти поймал мистера Флеминга уже совсем недалеко от подъезда министерства. Ему пришлось даже

сделать несколько быстрых движений, чтобы пересечь Флемингу дорогу. Монти радостно хлопнул себя по лбу, словно неожиданная встреча с Флемингом заставила его что-то вспомнить.

— Как кстати я вас встретил!

Флеминг с равнодушным видом складывал зонтик.

— Да, это чрезвычайно удачно! — повторил Монти. — Кто-то говорил, будто вы занимались в колониях чем-то таким... — Монти щелкнул пальцами, вспоминая ускользнувшее слово, — ...энтомологией, о!

— Совершенно верно! — Флеминг с недоумением посмотрел на Монти: репутация брата председателя комитета была ему хорошо известна, но не думает же он, что бабочек можно разводить с целью дохода?!

— У вас есть труды по этой части? — спросил Монти.

— Да.

— Я имею в виду неизданные труды.

— Да.

— Я начинаю издательское дело... такая, знаете ли, серия: «Богатство фауны Британской империи».

В глазах Флеминга снова загорелся свет, погасший при приближении к служебному порогу.

— Да?

— Меня особенно интересует фауна наших заморских владений: Новая Гвинея и тому подобное.

— Моя работа касается бабочек Новой Гвинеи, — скромно сказал Флеминг.

— Отлично! — воскликнул Монти. — Мы можем купить вашу рукопись! Вы слышите: мы покупаем ваш труд, мы платим деньги!

— Это интересно, — неуверенно произнес Флеминг.

Монти удивленно посмотрел на него. Он в первый раз в жизни видел человека, который при слове «день-

ги» колебался или думал о чем-то другом. Теряя терпение, он сказал:

— Несите вашу рукопись — и завтра же чек!

— Да, да... Это очень интересно.

Флеминг приподнял шляпу и исчез в подъезде.

Завернув за угол, Монти остановился. Совершенно новая идея пришла ему на ум: чек Флемингу он, конечно, выпишет завтра же, но рукопись... да, рукопись он не станет печатать: он ее законсервирует. Это будет отличный способ воздействовать на Флеминга! Может быть, даже не понадобится дарить ему испанские бумаги.

## 16

Один из добровольцев, здоровенный детина, лежавший слева от Даррака, с интересом, в котором сквозило легкое презрение, следил за тем, как тот в третий раз принимался устраивать себе прикрытие. Француз делал это, подтягивая к себе кирпичи и аккуратно складывая их в дыре, пробитой снарядом.

— Послушай, Луи, — сказал доброволец, — ты, верно, воображаешь, что это коробки с шоколадом?

Добровольца звали Айком Стилом. Он был американец, когда-то строительный рабочий, потом авиационный механик, превратившийся теперь в пехотного солдата. У республики было слишком мало самолетов, чтобы использовать около них всех, кто умел с ними обращаться. Не было ничего мудреного в том, что Айк лучше скрипача знал, как обращаться с кирпичом.

Айк боком подполз к Дарраку и, сдвинув вместе два больших обломка стены, устроил надежный бруствер.

— Можно подумать, что вы занимались этим всю жизнь, — вежливо проговорил Даррак.

— Отец мне всегда толковал, что никакая наука не пропадет даром. А этому я научился двадцать лет назад, когда нас приволокли в Европу такими же цыплятами, как ты сейчас. Вот и выходит, что мой старик был прав — наука не пропала.

Гулкий удар мины под самой стеной заглушил конец фразы Стила. Все прижались к полу.

Стил стряхнул с себя осыпавшуюся со стены известку.

— Все это было бы пустяками, если бы мародеры не стреляли по нас из американских минометов!

— Хорошо, если бы только из минометов... — проворчал кто-то рядом. — Говорят, у них все иностранное: от пушек до рубашек. А раз так, наверное, уж не дали маху ни ваши американские, ни всякие другие товарищи.

Даррак молча слушал, глядя поверх бруствера на небо, на видневшиеся впереди деревья Каса дель Кампо и на развалины домов между этими деревьями и тем строением, которое занимала их собственная рота.

Вероятно, еще недавно тут помещалась факультетская библиотека. Вороха книг с шорохом и стуком сыпались за спинами бойцов при каждом близком разрыве. Шкафы разваливались от сотрясения; ни в одном из них давно не было стекол.

— Мир — удивительная штука, — сказал англичанин Крисс. — Идет оживленная торговля всем, чем можно: на американские деньги покупают немецкое оружие для франкистов; французы делают к этим пушкам снаряды, чтобы стрелять в нас же, французов.

— Уж это ты брось, — послышался голос эльзасца Лорана, — французы не станут делать снаряды для этой сволочи!

Стил протяжно свистнул.

— Чем французский фабрикант лучше нашего? Одна шайка. Одна во всем свете. Особенно эти, которые делают оружие!

— Только не французы, — упрямо заявил из своего угла Лоран.

— Да что они тебе дались, словно у тебя самого оружейная фабрика! — со смехом крикнул боец, устраивавший себе ложе из книг.

— Честное слово, Лоран, ты меня удивляешь, — терпеливо сказал Стил. — Ты что, приехал сюда как адвокат фашистов?

— Я приехал, чтобы еще раз набить морду бошам. Вот и все, — сказал Лоран.

— Тогда тебе предстоит еще очень многое понять. Но ты не...

— Да ты не отчаивайся, Лоран, — со смехом перебил новый боец, — тут ты все скоро поймешь. Ребята из разведки говорили, что вчера напоролись на склад снарядов у батареи башибузуков. Снаряды имели клеймо Шнейдера.

— Крезо? — недоверчиво спросил Лоран.

— А то какого же?

Лоран все еще недоверчиво покачивал головой:

— К немецким пушкам?..

— По маленькому открытию каждый день... — начал Стил.

— ...и ты уедешь отсюда профессором, — закончил другой боец.

— Хотел бы я знать, — в раздумье произнес Лоран, — какого черта они тянут там, в Комитете по невмешательству.

— Он для того и создан, чтобы тянуть, — вставил замечание Даррак.

— Ты был там? — насмешливо спросил Лоран. — А я был в Париже, когда Блюм предложил его, это самое невмешательство. У него были честные намерения.

— Честные намерения старой шлюхи, — сказал Стил.

— Но, но! Блюм все-таки наш, социалист.

— Банкирский сынок-то? Знаем мы таких социалистов. Вроде лейбористов из лордов... Знаем, — веско проговорил англичанин, до сих пор слушавший молча. — Скажи, дружище, сам ты кто, из рабочих?

— А то кто же, — обиженно ответил Лоран, — жестянщик я, и, говорят, не из последних... Только не везет мне в жизни, давно сижу без работы.

— Значит, не по пути тебе с Блюмом, товарищ, послушай лучше коммунистов, — сказал Крисс.

Грохот нового разрыва заглушил ответ Лорана. Это уже была не мина. Снаряд разорвался, ударившись в стену следующего дома.

— Наше счастье, что они стреляют, как сапожники. А то с их запасом снарядов...

Звук резкий, свистящий и очень быстро удаляющийся снова пронизал пространство. Так же мгновенно, как возник, он разрешился хлещущим отрывистым ударом разрыва где-то далеко позади библиотеки.

— Удивительно, — сказал Стил. — К этому времени они обычно уже стелют кроватки для послеобеденного отдыха, а тут... Они что-нибудь затевают!

Огонь фашистов усиливался. Над головами бойцов снова и снова слышался скрипучий, вибрирующий свист пролетавших снарядов.

— Сточетырехмиллиметровки, — определил Стил.

Остальные молчали, инстинктивно наклоняя головы при звуке приближающегося снаряда. Почти все они прежде были солдатами. Их нельзя было удивить

орудийным обстрелом, но то, что начиналось сегодня, происходило тут в первый раз. В пролом стены, за спинами бойцов, было видно, как на склоне холма, где расположены резервы Интернациональной бригады, дымные облачка разрывов сливались в сплошную тучу. Она меняла окраску, шевелилась, как живое существо, то вспухая, то брызжа в стороны длинными черными лучами, то выбрасывая вверх стремительные фонтаны желтого или белого дыма. Пламя пронизывало тучу то золотистыми стрелами, то языками — оранжевыми и яркими, как клочья начищенной меди.

Даррак видел такое впервые, так же как и Лоран.

Тяжелый снаряд, пронизав угол дома, обдал всех дождем кирпичных обломков. Обгоняя их, истерически завизжали осколки снаряда. Один из них со скрежетом царапнул стену над Дарраком и врезался в паркет, торчком, как матросская свайка. Кусочек металла еще дрожал и гудел подобно камертону, когда Даррак с любопытством потянулся к нему, но под общий смех бойцов тотчас испуганно отдернул руку: рваные края осколка обожгли ему пальцы, как зубья раскаленной пилы.

— Когда такая штука попадает в человека, она распарывает его, как мешок с требухой, — проворчал кто-то.

Даррак с недоверием посмотрел на осколок. Он был не более трех-четырех дюймов в длину. Но его зазубренные края выглядели зловеще.

— Да, — сказал Стил, — представить себе это может или тот, кто тут побывал, или сумасшедший.

— Эти могут все, — рассмеялся кто-то.

— Мы с вами, ребята, тоже можем все, — уверенно сказал Стил. — Ну-ка, скажите мне, чего мы не можем?

— Знать, для какого черта они затеяли сегодня эту кутерьму.

— Небось Матраи уже догадался.

— Это верно, — отозвалось сразу несколько бойцов. — Наш генерал наверняка уже знает все, что нужно!

— Я проторчал в окопах всю ту войну, — задумчиво проговорил пожилой боец, — но, убейте меня, не видел такого генерала. Да и не думал, что такие бывают.

— Говорят, в России...

— В России. Мало ли что есть в России и чего мы никогда не увидим!

— А может быть, и увидим, а? — мечтательно проговорил боец помоложе. — Ради чего же мы сейчас валяемся тут, как не ради того, чтобы увидеть наконец то же, что увидели русские?

— Пожалуй, — согласился пожилой боец. — Ты сказал именно то, что я не знал как выразить.

Даррак закрыл глаза и прижался лбом к прикладу винтовки. Он, кажется, понемногу привыкал ко всему: к жужжанию пуль, к реву снарядов, к бессоннице и грязи, даже к тому, что он давно уже не видел свою оставленную в ротном обозе скрипку. Наконец он, по-видимому, привык даже к тому, что его пальцы, длинные тонкие пальцы скрипача, были черны от многодневной грязи и покрыты ссадинами. Ему казалось, что он привык ко всему. Ко всему, кроме одного: он не мог привыкнуть к раненым. Да, это было, пожалуй, единственным, к чему еще не мог тут присмотреться Даррак — раненые, страдания раненых.

Между тем беседа под грохот канонады продолжалась.

— Мы должны с этим покончить, — сказал Стил.

— Чтобы покончить с этим, нужно покончить с Германией! — непримиримо крикнул Лоран.

— Милитаризм — это не только Германия, — возразил Стил.

— Но сегодня его зовут «Германия»!

— Я вам скажу, ребята, — проговорил Крисс, — наши британские лорды в этом отношении немногим лучше немцев.

— А американские «короли» и их прихлебатели?

— Пожалуй.

— А французы из этих самых... «двухсот», так те и вовсе.

— Это так, — поправил Стил, — но во всех этих странах еще есть и люди, способные протестовать и бороться против того, что их делают пешками в этой проклятой игре.

— И они должны победить, непременно должны! — сказал Даррак.

— Кого? — спросил кто-то.

— Фашистов.

— Этого мало. Победить нужно не фашистов, а фашизм, не генералов, а войну. Войну как таковую, черт ее побери! А для этого нужно свернуть шею хозяевам — тем, кто стоит за фашистами и за генералами.

— Ради этого мы и здесь, — снова сказал Стил.

— И попомните мое слово, ребята, — сказал англичанин, — драться нам придется не только здесь!

— Верно, Крисс, — со спокойным кивком подтвердил Стил. — Здесь, в Испании, мы даем первый открытый бой всей международной шайке. А когда-нибудь, — и в его голосе послышалась мечтательность, — соберемся опять вместе, все, всей бригадой, но тогда в ней будет уже не десять тысяч, а десять миллионов штыков, и окончательно загоним в могилу всю шайку...

— Хватит! — испуганно сказал Лоран.

— С тебя уже хватит! Вот блюмовская школа! — насмешливо произнес американец. — Нет, эльзасец, когда мы покончим с этим здесь, нам придется еще немало драться. Может быть, даже у себя дома.

— Со своими? — спросил Лоран.

— Иначе их не приведешь в чувство, — сказал Крисс.

— Ты прав, — согласился Стил, — настолько-то мы с тобою знаем собственных сволочей.

— Эй, эй, глядите-ка, ребята! — крикнул пожилой боец.

Он высунулся было в наполовину заложенное мешками окно, но пули франкистов тотчас заставили его отползти обратно. Следом за ним и все стали смотреть на небо, которое было хорошо видно в дыру, зиявшую на месте стеклянного купола библиотеки.

— Проклятое воронье, — сердито проговорил пожилой боец. — Всегда так, десять на одного... Заклюют!

— Не заклюют! — сказал молодой. — Смотри, как он дает им.

Истребитель с республиканскими знаками на крыльях отбивался от десятка насевших на него итальянских «фиатов». Он уже сбил одного; второй, дымя, поспешно уходил в свое расположение. Но силы были слишком неравны. Дело кончилось тем, что республиканский самолет загорелся, завертелся в воздухе, начал штопорить. Вот от него отделился падающий летчик. Через несколько секунд над его фигуркой брызнула струя белого шелка, а еще через мгновенье раскрылся парашют.

Затаив дыхание, бойцы следили за тем, как ветер несет летчика к зданиям университетского городка. Им казалось, что летчик упадет прямо на железные стропила разбитого купола библиотеки.

Но случилось нечто худшее: летчик упал между позициями своих и франкистов. Из окопов фашистов тотчас поднялся пулеметный огонь. Они стреляли со всех точек, с которых могли достать до места падения летчика свинцовыми струями своих пулеметов.

Потом между летчиком и франкистской позицией разорвалось несколько ручных гранат. Но они до него не долетали.

— Его счастье, — с облегчением проговорил пожилой боец. — Ночью ему удастся переползти к нам.

— До ночи они добьют его из минометов, — заметил Даррак.

— Так или иначе, они до него доберутся, — сказал молодой боец. — А впрочем... впрочем, мы им не дадим. Верно, ребята?

— Что ты хочешь сделать?

— Мы должны его вытащить.

Стил в сомнении покачал головой:

— Разве только когда стемнеет.

— Я об этом и говорю, — подтвердил молодой.

— Верно, друг, — согласился Крисс. — Как только стемнеет, мы должны его вытащить.

— Непременно вытащим! — послышалось несколько голосов.

Стил согнул из железного листа нечто вроде рупора, чтобы предупредить летчика. С ним пробовали заговорить на всех языках, какие были известны бойцам, но он не откликнулся ни на один.

Последним сделал попытку окликнуть летчика Лоран.

— Поговори-ка с ним по-немецки, — предложил кто-то.

К всеобщему удивлению, летчик на этот раз действительно отозвался. Он оказался чехом.

По-видимому, франкисты разгадали намерение республиканцев. Через короткий промежуток времени из их окопа послышалась немецкая речь. Франкисты обратились к летчику с предложением выбирать: с наступлением темноты переползти к ним или быть сожженным из огнемета, который сейчас будет доставлен во франкистский окоп.

Интернационалисты молча переглянулись...

Сумерки сгущались.

В неприятельском окопе было заметно движение. Вскоре оттуда крикнули на испанском и немецком языках, что огнеметчики прибыли, огнемет установлен.

— Что делать? — спросил пожилой доброволец. — Не можем же мы им позволить сжечь этого чешского парня... Послушай, Лоран, крикни, чтобы он попробовал переползти поближе к нам.

— Не нужно! — Стил остановил Лорана. — Еще слишком светло. Скажи ему только, что мы постараемся ему помочь.

Некоторое время летчик молчал. Потом удалось с трудом разобрать его ответ: он ранен в ногу, он не может двигаться.

— Ранен в ногу? — сказал пожилой боец. — Ну что же, придется его оттуда вынести.

Стил оглядел небо. На его потемневшем фоне блески разрывов становились все ярче.

— Через полчаса будет темно! — сказал Стил, и все поняли, что это значит: через полчаса они должны спасти чеха.

Переползая от простенка к простенку, Стил перебрался в соседнюю комнату, где находился командир роты. Посоветовавшись, они вызвали по телефону батальон и сообщили о положении летчика. Через пять минут из батальона позвонили и сообщили, что точно

засекли огнемет. Командир батальона обещал ровно через полчаса выпустить по нему из своей единственной пушки пяток снарядов. Большего он обещать не мог.

С этой вестью Стил вернулся к своим. Пулеметчики дали несколько коротких пристрелочных очередей, чтобы попытаться, когда наступит момент, заткнуть глотку пулеметам франкистов. Стрелки приладили винтовки. Каждый выбирал себе точки поприметней, чтобы не тратить зря патронов, когда станет темно.

В библиотеке воцарилась тишина.

Затихли и фашисты.

Однако они молчали не долго. Вскоре послышался глухой выкрик из мегафона:

— Эгей, летчик! Даем тебе пять минут, чтобы собраться в дорогу... либо к нам, либо на тот свет.

Как бы для придания веса своим словам, франкисты выбросили из огнемета короткую струю, мгновенно воспламенившую несколько срезанных снарядами ниней между позициями. Они сгорели быстро и ярко, как ракеты.

Даррак еще никогда не видел действия огнемета.

— Боже мой! — вырвалось у него.

— А ты думал, шутки? — усмехнулся пожилой солдат.

— Вот мерзавцы, — пробормотал Лоран. — Какие мерзавцы, о господи!

Стил посмотрел на часы.

— Придется поспешить.

Он послал бойцов позвонить командиру батальона, чтобы вызвать огонь на огнеметную точку немцев не через полчаса, как было условлено, а через пять минут.

— По первому же выстрелу пушки начнем вылазку, — сказал Стил.

Глядя на опытных бойцов, Даррак тоже снял с себя лишнее снаряжение и примкнул штык. Но Стил сказал:

— Это не для музыкантов.

Даррак промолчал, но по его взгляду Стил понял, что не должен был этого говорить.

— Я вовсе не хотел тебя обидеть. Мне просто жалко тебя... именно как музыканта.

Даррак опять ничего не ответил и отвернулся.

— Ладно, пойдем! — сказал Стил и подумал: «Как бы не пришлось вытаскивать двоих вместо одного».

Под прикрытием темноты и редкого, отвлекающего огня своих стрелков участники вылазки спустились по стене. Ломая ногти в кровь и раздирая ладони, Даррак сполз следом за другими на груду битого кирпича. И странно, как только он перестал чувствовать перед собою стену, отделявшую его от противника и как бы заключавшую его в одну коробку с товарищами, он сразу утратил то чувство беспомощности, которое постоянно держало его в тисках какой-то зависимости от остальных. Темнота защищала его от взглядов более опытных бойцов. Именно потому, что никто, кроме его собственной совести, не контролировал сейчас его действий, он решил действовать так, как действовал бы на его месте самый опытный, самый мужественный и сильный солдат. Больше всего ему хотелось первым добраться до летчика, спасти его. Даррак не думал о том, под силу ли ему это. Сейчас ему было под силу то, ради чего он приехал в Испанию, — подвиг. Сейчас для Даррака в не знакомом ему чешском летчике сосредоточилось все: Испанская республика, силы антифашизма, победа над Гитлером, Муссолини и Франко, победа над войной.

По-видимому, заподозрив в замеченном движении интернационалистов что-то более серьезное, чем спасение летчика, франкисты открыли беглый огонь из руч-

ного оружия. За спинами Стила и его спутников, на том рубеже, который они уже успели миновать, вспыхивали светляки разрывных пуль и стали одна за другой глухо рваться мины. Через одну-две минуты высоко над их головами звонко разорвались первые шрапнели и послышался посвист разлетающихся пуль.

Даррак полз, ничего не замечая, не думая ни о чем, кроме спасения чеха. Он в первый раз остановился и инстинктивно прижался всем телом к земле только после близкого разрыва гранаты, когда на него посыпался дождь камней и ком земли ударил ему в плечо.

Когда Дарраку показалось, что он уже должен был доползти до места, где лежал летчик, он поднял голову и огляделся. Он обрадовался тому, что вспыхнувший в вышине яркий свет ракеты позволил ему все увидеть. Но удар по каске заставил его снова прижаться к земле. Послышался сердитый голос Стила:

— Молодец, Луи, но не сходи с ума!

И Даррак понял, что взводный все время был рядом с ним. Но теперь он не испытывал неловкости от этого соседства. Только еще большая уверенность в своих силах овладела им.

— Я не вижу чеха, — сказал он Стилу.

— Вперед и вправо... метров пять. Только осторожно, когда мародерская ракета будет уже у земли.

Даррак посмотрел в указанном направлении, но ничего не увидел. И он понял, что одному ему ничего не удастся сделать. Как только ракета погасла, он снова услышал голос Стила:

— За мной, Луи!

Отчаянно работая локтями, Даррак пополз за едва различимым в темноте Стилом.

Через минуту они оба лежали в воронке рядом с летчиком.

— Меня зовут Купка... Ярош Купка. Я думаю, что придется отрезать ногу, дьявольски горит, — сказал чех так, словно уже был у своих.

## 17

Сидя в автомобиле, присланном из резиденции Чан Кайши, Шверер торопливо перебирал в уме события последних недель. Он еще раз пытался найти тот единственно верный ход, который мог бы спасти игру, проигранную им в Китае. Несмотря на совет Паркера, несмотря на то, что знакомство с китайской литературой и каждый новый шаг в этой стране убеждали его в неприменимости немецкого мышления к жизни здесь, Шверер никак не мог заставить себя поверить тому, что его выводы, составленные по всем правилам немецкой логики, никуда не годятся.

Было противно сознавать, что ничего не понимающий, по мнению Шверера, в современном военном искусстве и ленивый Янь Ши-фан мог поставить его в столь унизительное положение. Не сказав ни одного резкого слова, даже, скорее, наговорив ему комплиментов, он все же дал понять Швереру, что тот — неисправимый тупица и похож на слона, попавшего в фарфоровую лавку.

Кончилось тем, что Шверер решил использовать совет Паркера и написал мадам Чан Кайши, прося свидания. Визит был назначен. Он ехал к ней.

Автомобиль остановился у резиденции главного разбойника, как Шверер называл Чан Кайши. Пока Сун Хо-шин отворял дверцу автомобиля, Шверер успел оглядеть дом. Его поразило великолепное сияние бирюзовых изразцов крыши. Голубизна глазури казалась столь естественным продолжением неба, что, войдя в

холл, Шверер невольно взглянул вверх, — царивший в холле полумрак был неожиданным. Не менее удивительным показалось и внутреннее убранство дома. Два мира, столь не похожих друг на друга, сошлись тут вплотную. Тяжеловесная старомодность китайского быта смешалась с ультрасовременным комфортом. Чья-то рука соединила их в пропорциях, создавших впечатление органической целостности этих разных миров. Это было удивительно. Шверер заранее проникся почтением к искусству той, чья рука хозяйничала здесь.

Китаец в строгом костюме лондонского дипломата долго занимал Шверера разговором, прежде чем отворилась дверь и ему предложили войти.

Шверер никогда прежде не видел жены главнокомандующего, но если правда все, что ему рассказывал Паркер, то эти глаза, окинувшие Шверера таким жестким оценивающим взглядом и тотчас же с поразительной естественностью облившие его лучами мягкой приветливости, могли принадлежать только госпоже Чан Кайши. Шверера поразила ее внешность! Он думал увидеть молодящуюся, утомленную интригами и своеволием старуху, а перед ним предстала женщина, полная грациозной женственности, с красивым и необыкновенно подвижным лицом.

Хозяйка быстро пресекла попытки Шверера заговорить о том, ради чего он приехал. Она овладела тонкой нитью беседы и разматывала ее клубок, как ей хотелось. Ее тон был дружески ласков; несколько раз она даже дотронулась до колена Шверера веером, который держала в необычайно пропорциональной, хотя и тонкой, руке. Шверер не мог не обратить внимания на пальцы с остро отточенными миндалевидными ногтями.

Шверер все больше выпячивал грудь, совершенно забыв, что на нем не генеральский мундир, а скромная

черная визитка. Напрасно пытался он отвести от себя захлестывавший его поток любезностей и комплиментов. Дама все говорила и говорила. Подали чай, а запас ее слов все еще казался неисчерпаемым.

Но вот был окончен и чай. Хозяйка ни словом не обмолвилась ни об интересовавшем Шверера деле, ни о том, что визит окончен. Но по новому, совершенно неожиданному, по несходству с прежним, выражению, которое промелькнуло у нее в глазах, Шверер понял, что ему остается одно — подняться. Он откланялся. Удаляясь, он почти физически ощущал на спине провожавший его взгляд хозяйки.

Если бы он в этот момент оглянулся, то понял бы, что ему лучше всего подобру-поздорову убраться с пути этой женщины.

В холле Шверер столкнулся с Паркером.

— Ага! Послушались-таки моего совета! — развязно сказал американец.

По-видимому, при всем желании Шверера сохранить достоинство его лицо достаточно ясно говорило об окончательном поражении. Паркер рассмеялся и, сделав приветственный жест, прошел во внутренние комнаты. Он держался тут как свой человек.

Около автомобиля, придерживая отворенную дверцу, стоял Сун Хо-шин. Глаза его были опущены и лицо бесстрастно. Всякий, кто взглянул бы на маленького слугу, тотчас решил бы, что того не занимает сейчас ничто, кроме желания помочь генералу сесть в автомобиль. Впрочем, такая догадка была бы, пожалуй, и верна: поручику Харада предстояло захлопнуть дверцу за немецким советником, благодаря усилиям японской разведки раз и навсегда покидающим штаб Чан Кайши.

Предположение, что он чем-то мешает тут не только Янь Ши-фану, не приходило в голову генералу Швере-

ру. Хотя он и подумал: не вызван ли его отъезд происками именно этого американского журналиста?

Но если бы генерал Шверер был способен более глубоко анализировать события, он понял бы, что тут дело вовсе не в личной антипатии к нему этого краснолицего американца, который, кстати говоря, решительно ничего не имел против самого Шверера. Паркер выполнял задание своих вашингтонских начальников, ведших большую и сложную игру не только в Европе, но и в Азии. А они считали, что пришло время подумать об изгнании из Китая всех иных потенциальных завоевателей и продавцов, кроме самих янки.

Шверер был одной из жертв этой новой фазы сложной игры мистера Ванденгейма и его высоких партнеров, которые ради завоевания в будущем китайского рынка считали необходимым помочь Чан Кайши не чужими немецкими руками, а своими собственными, американскими, долларами.

## 18

Гаусс ничего не имел против штатской одежды, когда видел ее на другом. Но в применении к самому себе он испытывал к партикулярному платью антипатию более острую, чем простое презрение. Ведь, в конце концов, вполне порядочным можно считать только того, на ком мундир немецкого офицера.

Даже в стране со столь дурно организованным тылом, как Испания, соображения безопасности не могли заставить его снять мундир, как он не снял бы его, отправляясь в былое время в любую из немецких колоний. К сожалению, этих колоний пока не было...

Единственное, на что он пошел, уступая просьбам дипломатов не привлекать взоров многочисленных

иностранных журналистов во франкистском тылу, — надел поверх мундира штатское пальто. Впрочем, монокль в глазу, спина, как в корсете, и окружающая Гаусса свора непрерывно щелкающих каблуками «штатских» субъектов не могли бы обмануть даже самого недогадливого наблюдателя.

Хотя Гаусс и приехал сюда с правом командовать и распоряжаться, он не хотел, до времени, принимать участие в военных решениях франкистов. Он не раз внутренне усмехался, читая распоряжения испанских генералов.

Миновав Бургос, он из Виго проехал прямо в Сеговию, на участок генерала Мола, руководившего операцией по наступлению на Мадрид с севера. По расчетам Мола, падение Мадрида должно было произойти к 7 ноября.

Операция развивалась для франкистов успешно. Уже были взяты Вальдеморо, Торрехон, Пинто. Уже несколько дней шли бои в Карабанчеле и в университетском городке, которые можно было считать боями в самом Мадриде. Французский мост уже несколько раз переходил из рук в руки; марокканцы однажды перешли на восточную сторону Галисийского моста, к самому Северному вокзалу.

Падение республиканской столицы казалось вопросом нескольких дней.

На 7 ноября был разработан церемониал вступления франкистов в Мадрид. Мола должен был въехать на Пуэрта дель Соль на белом коне и произнести самую короткую и самую выразительную речь, какую когда-либо произносил победитель: «Я здесь».

Столица была обещана марокканцам и Иностранному легиону на три дня.

На запертых дверях домов представителей пятой колонны уже появились охранные грамоты многочислен-

ных иностранных посольств и консульств. За закрытыми ставнями этих домов готовились флаги и букеты для встречи мятежников и списки тех, кого, по мнению иностранных послов и испанских реакционеров, следовало посадить в тюрьмы или попросту уничтожить.

Перед радиоагитаторами политической службы франкистов росли вороха иностранных газет, соревнующихся в предсказании часа вступления франкистов в Мадрид. По их следам шла и французская пресса. И не только реакционная. Французские социалисты во главе с Блюмом вторили крайним правым, даже опережали их в изобретении способов окончательного и скорейшего удушения Испанской республики. Английская пресса, славившаяся осведомленностью, давала сообщения «из авторитетных источников» о том, что Мадрид падет уже пятого, но официальный въезд Мола состоится седьмого.

Цена всем этим предсказаниям была равна нулю.

Если бы правительство Испанской республики подняло голос, весь мир, мир простых людей, миллионами глаз вглядывавшихся в строки телеграмм, понял бы, что победный шум франкистов рассчитан главным образом на тех, чьи биржевые дела зависят от успехов «каудильо».

Но правительство Ларго Кабальеро хранило молчание.

Курсы испанских бумаг на биржах Парижа и Лондона ползли вверх.

...Гаусс сожалел, что массив гигантского парка Каса дель Кампо делает невозможным визуальное наблюдение за наиболее интересующим его участком. Гаусс уже дважды менял наблюдательный пункт. Он счел себя вправе пренебречь всеми предостережениями адъютантов и, вместо того чтобы возиться с картами в кабине-

те, самому влезть на колокольню. Это еще не был тот фронт, где рвутся снаряды и свистят пули, — на таком фронте он не был никогда в жизни и, вероятно, не побывает. Но все же и оттуда, где он сейчас находился, отчетливо слышались залпы батарей, видны были разрывы снарядов и клубки шрапнелей.

Гаусс приказал дать разведсводку со схемой расположения противника.

Он посмотрел на карту. Его интересовало, какие республиканские части обороняют район парка и университетского городка. Там значилась Интернациональная бригада. Своим правым флангом она примыкала к группе анархистов.

— А ПОУМ?.. Где милиция ПОУМ? — спросил Гаусс.

Это было сказано таким недовольным тоном, словно стоявшие рядом с ним офицеры распоряжались дислоцированием частей и по ту сторону фронта. Офицеры переглянулись, как бы спрашивая: «Кто из нас допустил такую грубую ошибку, что ни один участок республиканского фронта не был занят милиционерами Нина?»

Затянутым в перчатку пальцем Гаусс ткнул в то место, где жирная красная черта, проведенная у края Каса дель Кампо, обозначала расположение Интернациональной бригады.

— Эти наделают хлопот.

Пробежав всю линию фронта, палец остановился на правом фланге франкистов.

— Только идиоты могли ослабить этот фланг.

— Тут у красных бригада Листера, она очень потрепана, — доложил Отто.

Гаусс поднял палец так, точно хотел постучать по лбу адъютанта.

— Учись смотреть не только на номера частей, но и на имена их командиров... Своих и вражеских!

Он повернулся и стал спускаться с колокольни.

Сквозь кожу перчатки Гаусс чувствовал холодную шероховатость каменной стены. Он осторожно ступал со ступеньки на ступеньку. Они были крутые и высокие, с обтертыми до блеска краями.

На середине лестницы генерал приостановился и, не оборачиваясь, сказал Отто:

— Сейчас же поезжай к тому из офицеров, кто наблюдает за этими... — он нервно потер висок. — Одним словом: на участках против Интернациональной бригады и этого, как его... Листера необходимо пустить в ход наши новые огнеметы. Иначе там будет много хлопот!.. Больше, чем по силам этим испанцам, — с презрением добавил он.

Когда Отто уже повернулся было, чтобы идти исполнять приказание, генерал вдруг окликнул его:

— Постой-ка! Скажи там, чтобы ни артиллерия, ни бомбардировщики не повредили телефонную станцию в Мадриде.

— Слушаю-с.

Гаусс пожевал губами и, глядя в глаза адъютанту, добавил:

— М-м-м... Эти дураки там, у Мола, чего доброго, не понимают, что станция будет нужна им самим! — Он махнул рукой и неожиданно сердито бросил: — Иди!

Гауссу показалось, будто в глазах Отто мелькнула усмешка, хотя генерал и был уверен: здесь никто не знает, что пакет акций мадридской телефонной компании, по дешевке скупленный у испанцев, лежит у него в кармане. Он, нахмурившись, неприязненно посмотрел в удаляющуюся спину адъютанта и продолжал

осторожно, по-стариковски подрагивая коленками, спускаться с колокольни.

## 19

Цихауэр не был в бригаде с того самого дня, как она прибыла в Мадрид. Он как будто даже забыл, что вызвался исполнять обязанности художника бригадной газеты, и целыми сутками напролет бродил по Мадриду, жадно разглядывая прекрасный город.

Чем дольше он бродил по улицам, тем больше убеждался в том, что до сих пор не имел представления об испанской культуре. Оказывалось, что сокровища Прадо, знакомые ему по копиям и репродукциям и тщательно спрятанные теперь республиканцами в подвалы от фашистских бомб, далеко не исчерпывали испанского искусства в том величии, в каком оно, живое, вставало теперь перед художником. Оно было огромно и прекрасно! Ему казалось, что недостаточно всей жизни, чтобы успеть впитать богатства, открывавшиеся ему в каждой таверне, в каждом дворце, в каждом камне старых домов. Сначала он боялся, что все это будет разрушено фашистскими бомбами прежде, чем он успеет увидеть. Чем дольше он ходил по улицам, тем больше убеждался, что бомбы, падающие с немецких и итальянских самолетов, чаще всего разрываются в самых людных местах: возле летучих митингов и собраний, рядом с очередями женщин, ждущих молока или мяса, на площадках для детских игр.

Цихауэр перестал думать о сне и пище. Как ни влекла его старина, но вместо живописных руин памятников искусства его карандаш неутомимо заполнял страницы альбома уличными сценами, где на первом плане были дети. Дети играли в садах, на площадях,

на асфальте проспектов и на древних камнях узких проулков. В эти дни маленькие мадридцы жили своею собственной жизнью. И, словно угадывая, что дети — самое дорогое из всего, что было в стенах осажденного города, итало-немецкие летчики охотились за детьми. В них бросали бомбы, их расстреливали из пулеметов длинными заливистыми очередями.

Цихауэр перебегал от площади к площади, рискуя попасть под огонь пулеметов, и зарисовывал детей. Он делал это с поспешностью, как если бы кто-нибудь у него на глазах топтал нежные цветы, единственные в мире, прекрасные и неповторимые.

Так и увидела его однажды Тереса Сахара — склоненным над телом девочки, похожей на куклу с фарфоровым лбом, пробитым осколком фашистской бомбы.

Тересе не сразу удалось увести художника к себе в отель. Она заставила его сбрить неопрятную трехдневную щетину и поесть. Впрочем, он сопротивлялся лишь до того момента, как его голова коснулась спинки кресла. Слова начатой им фразы оборвались.

Несколько мгновений Тереса стояла над ним в ожидании продолжения. Ей еще никогда не доводилось видеть, чтобы человек засыпал так внезапно. Может быть, ему стало нехорошо?

Нет, дыхание художника было спокойным; вместо обморочной бледности на щеках проступал румянец. Это был сон.

Тереса подошла к столу и налила себе вина. Задумавшись, она пила медленными глотками...

Не так представляла она себе эту поездку с Луи!.. Не думалось, что в первый же день она должна будет расстаться с ним; не думалось, что ее не пустят туда, где дерутся... Тереса не спорила: работать в санитарном отряде тоже нужно и, может быть, даже очень по-

четно, но она представляла себе все это совсем иначе. Она, конечно, читала в Париже о зверствах фашистов, но разве можно было себе представить по газетам, что такое бомба, упавшая среди играющих детей?

Тереса нервно повела плечами и сделала еще несколько глотков. Остро, как боль, переживала она возвращение на родину. Сколько лет не имела она возможности ступить на ее землю, — на свою землю своего отца, за которым последовала в изгнание! Теперь она вернулась, чтобы продолжать его дело, полная гордости и любви.

Она любила Мадрид. Это был ее город. Каждый стук ее каблука по мостовой отдавался в сердце праздничным звоном. Каждый шаг по улицам, полным воспоминаний, был радостью. На рынке ли с тесными рядами пахучих лотков, на нарядной ли Калле де Алкала, или в темных переулках окраин — везде окружали ее тени воспоминаний. Тем более милых, что они были воспоминаниями о радостной юности.

Но не для этих воспоминаний она приехала в родной Мадрид, а для того, чтобы защищать его, чтобы прогнать от него фашистов. Правда, она поняла, что мечты взять в руки винтовку наивны. Но неужели это значит, что она должна оставаться в тылу, спать в гостинице, обедать в ресторане? Нет, она отлично помнит, что еще там, в парижском бистро, этот немец, что танцевал с нею, — кажется, его звали Зинном, — говорил, что песня на войне — то же оружие. Она помнит испанские песни своей юности — песни прекрасного, свободолюбивого, гордого и мужественного народа. Так что же она сидит тут, почему она с этими песнями не там, где Луи, где этот Зинн, где все, кто защищает республику?..

Ее рука легла на телефон, и палец набрал номер, который дал ей Луи на тот случай, если ей понадобит-

ся помощь. Это был номер одного из уцелевших домов университетского городка, где расположилась Интернациональная бригада.

И номер телефона бригады, и место ее расположения были военной тайной. Как мог Луи сообщить их Тересе?! Но Тереса над этим не задумывалась. Ее палец набрал нужные цифры. Едва умолк первый гудок, как на том конце провода сняли трубку. Мужской голос сказал, с трудом выговаривая испанские слова:

— Хризантема слушает.

— Какая хризантема? — удивилась Тереса. — Мне нужна Интернациональная бригада!

После короткого молчания, похожего на паузу удивления, голос спросил:

— Кто это говорит?

— Мне нужен Луи Даррак. Вы слышите?.. Солдат Луи Даррак.

Матраи знал всех своих солдат. При имени Даррака он сразу вспомнил француза с задумчивым бледным лицом и удивленными глазами большого ребенка. В мозгу генерала быстро промелькнули простые соображения: в этих развалинах до штаба бригады действительно помещался батальон Жореса. Боец батальона Даррак поддерживал сношения с городом?.. Это могло иметь очень дурной смысл.

— Прошу вас, одну минутку, — ответил генерал по телефону. — Я поищу Даррака...

Тереса слышала в трубке близкие разрывы снарядов, звон разбитого стекла, лай пулеметов. Под конец все это покрыл грохот прошедшего под стеной дома танка.

Вбежавшие, запыхавшись, в комнату Зинн и Луи увидели у телефона улыбающегося генерала. Он протянул трубку Дарраку:

— Вас!

И отвел Зинна в угол. От его улыбки не осталось и следа. Короткими ясными фразами Матраи изложил Зинну свою точку зрения на происшествие.

Зинн с досадой сказал:

— Я предупредил всех...

Но прежде чем он успел договорить, Даррак положил трубку.

— Тереса Сахара, — вы знаете, певица, — сейчас приедет сюда. Она надеется найти в городе автомобиль.

Матраи переглянулся с Зинном.

— Зачем? — спросил Зинн.

— Петь для солдат.

Зинну казалось, что он понял генерала: тот боялся, как бы эта особа не упорхнула.

— Это очень мило с ее стороны... — проговорил Зинн.

— Может быть, лучше съездить за нею? — спросил генерал. — Она едва ли найдет в городе автомобиль. — И, словно отдавая служебное приказание, добавил: — Позвоните: пусть ждет вас. Вы поедете за нею сами.

— Хорошо, — радостно проговорил Луи, — это займет немного времени.

Через несколько минут Зинн и Луи сидели в автомобиле. «Неужели верны опасения генерала?» — думал Зинн. Увы, они слишком естественны для Мадрида этих дней... Теперь Зинн должен позаботиться, чтобы эти двое не ускользнули от него.

Войдя в номер Тересы, Зинн увидел спящего Цихауэра. Так, значит, он не убит, не ранен, не пропал без вести! Попросту дезертировал и... Почему он тут?

Тереса молча пододвинула к Зинну лежавший на столе альбом Цихауэра. Зинн, не раскрывая, сунул

его под мышку и вопросительно посмотрел на певицу. Она быстро собиралась. Зинн заметил, как дрожат ее пальцы.

Тереса взяла с кресла большую кружевную мантилью.

— Я готова.

Зинн тронул Цихауэра за плечо.

Открыв глаза, художник некоторое время с удивлением смотрел на Зинна. Потом поднялся и, не задав ни одного вопроса, пошел к двери.

Молча спустились к автомобилю, поехали.

Цихауэр как ни в чем не бывало взял свой альбом из-под руки Зинна и стал перелистывать.

— Для бригадной газеты это покрепче батальных сцен! — сказал он.

Зинн отвел взгляд. Как он мог подумать о друге то, что думал...

Когда они повернули за ипподром, через разбитые постройки колонии де Бельяс Вистас стали видны разрывы снарядов в университетском городке. Клубки низких шрапнелей с визгливым треском возникали над кущами Каса дель Кампо.

Зинн почувствовал, как вздрогнула сидевшая рядом с ним Тереса.

Автомобиль остановился на краю пустыря. Дальше пространство просматривалось противником. Мужчины вылезли. Тереса колебалась. Ее оливковые щеки стали серыми от покрывшей их бледности. Зинн не видел ее глаз под опущенными ресницами.

Но вот она с профессиональной легкостью, словно на сцене, выпрыгнула из автомобиля и выжидающе посмотрела на Луи. Тот, пригнувшись, побежал вдоль остатков стены горного училища. Тереса двинулась за ним. Зинн был последним.

Недавние подозрения казались ему смешными и обидными. Впрочем, смешными — нет. Ничто не было смешным в таких обстоятельствах. Не было секретом, что восемь тысяч фашистов, заключенных в мадридской тюрьме, — не что иное, как собранный воедино кулак пятой колонны. Ни для кого не было секретом, что пятая колонна готовится ко встрече Франко.

Нет, в осажденном Мадриде ничто не могло быть смешным, кроме беспечности!

— Нужно отговорить сеньориту от выступления в окопах, — сказал Матраи.

Тереса сердито сдвинула брови:

— Вы хотите, чтоб я перестала считать себя дочерью своего народа?

— Можно транслировать ваши песни по радио.

— Для этого я приехала сюда?

Зинн отлично понимал, что ее появление среди бойцов Интернациональной бригады могло дать не меньше, чем самые жаркие речи комиссаров. Но он не мог себе представить, как поведет ее по окопам Каса дель Кампо.

Он еще раз пробормотал что-то насчет пластинок.

— Конечно, — сказала она, — у меня есть и пластинки. Мы их захватили. Я буду дарить их бойцам, чтобы они вспоминали обо мне. Вы меня понимаете!

Зинн ее понимал. Он сам был артистом.

Он посмотрел на прямую морщинку, прорезавшую ее открытый выпуклый лоб от переносицы почти до самых волос. Волосы, черные и блестящие, были тщательно прибраны. И на затылке торчал высокий черепаховый гребень, словно она готовилась к выступлению на эстраде.

— В конце концов, это здорово: певица в окопах, — сказал он Матраи.

— Пожалуй...

Было уже совсем темно, когда они двинулись. Зинн остановился было в разрушенном доме, служившем убежищем резерву, но Тереса сказала:

— Дальше.

— Дальше опасно.

Она молча взяла чемоданчик с пластинками и пошла.

— Это безумие! — крикнул Зинн.

— По-вашему, там впереди — безумцы?

— Я не могу рисковать вашей жизнью.

— Отвечают они, — и она махнула в сторону противника.

Понадобился еще час, чтобы добраться до окопов, разрезавших аллеи и холмы Каса дель Кампо.

От времени до времени над парком слышались шуршание и вой вражеского снаряда; деревья трещали, и разрыв глухо, волною прокатывался по парку.

Зинну казалось, что он физически ощущает, каким напряжением воли Тереса заставляет себя двигаться, говорить и совершать то, что не казалось простым даже им, солдатам, долго привыкавшим и не могущим привыкнуть к этой обстановке.

Он привел ее на пункт, где был установлен микрофон агитаторов. Она с удивлением огляделась.

— Но... здесь нет солдат!

— Там, где они, нет микрофонов.

Она ответила разочарованным пожатием плеч.

Пока Луи вынимал из футляра скрипку, Тереса щелчком проверила микрофон. Прежде чем Зинн успел ее остановить, она сказала в него несколько слов, но таких, что бойцы ее сразу поняли. Под конец она сказала: пусть каждый батальон пришлет делегата. Она подарит ему на память свою пластинку. Как иначе она сможет оставить им свои песни? А она хочет, чтобы

ее песни были с ними долго, так долго, как придется драться с этими проклятыми волками по ту сторону линий. Она уверена: ее поняли все — венгры, чехи, итальянцы, негры.

Она начала петь.

Зинн, державший наушник, слышал, как дребезжит мембрана от разрывов снарядов...

Тереса исполняла песню за песней. По-видимому, их знали не только по эту сторону фронта. Солдаты противника проснулись. Как-никак ведь и там были испанцы. И, может быть, именно потому, что фашисты угадали в передаче живой голос живой певицы, такой теплый и обаятельный, что, вероятно, его и там слушали, затаив дыхание, франкистская артиллерия получила приказ нащупать агитпункт и прекратить концерт.

После очередного, очень близкого разрыва, бросившего в микрофон горсть песка, Тереса попросила вина.

— Им не поможет, даже если они попадут в самый микрофон! — сказала она и запела снова.

Сначала ей аккомпанировал на скрипке один Луи, и, пожалуй, никто, кроме самой Тересы и Луи, не заметил, как к скрипке присоединился осторожный, мягкий перебор гитары. Это был Варга. Его темперамент не позволил ему при звуках такого голоса оставаться в окопчике, где сидели спешенные кавалеристы.

Скоро стоявшие у входа в блиндаж потеснились, чтобы пропустить первого делегата, приползшего за пластинкой. Перед Тересой вытянулся высокий негр.

— Абрахам Джойс, мэм... Батальон Линкольна, мэм!

Он взял под козырек.

В свете фонаря на его большой черной руке розовели ногти.

Тереса потянулась было за пластинкой, но вдруг обняла негра за шею и, приподнявшись на цыпочки, поцеловала его. Поцелуй пришелся в широкий, небритый подбородок.

Огромная фигура, казавшаяся в темно-синем комбинезоне такою же черной, как лицо, гордо выпрямилась, — настолько, насколько позволял низкий свод блиндажа. Потом негр торжественно опустился на одно колено, взял руку певицы и прикоснулся к ней осторожным поцелуем. Когда Джойс поднял на певицу голубые белки своих глаз, Зинну показалось, что негр силится удержать слезы. А она!.. Ей не хватало сейчас только меча, чтобы положить клинок на его плечо.

Джойс подошел к микрофону.

— Хэлло, старички!.. Я несу вам пластинку и... поцелуй сестры Тересы.

Зинн почувствовал прикосновение к своей руке и оглянулся.

— Пусть не отрывают людей ради этих пластинок, — сказал ему на ухо вошедший генерал Матраи. — В батальонах страшное возбуждение. А теперь еще с этим поцелуем...

Зинн направился выполнять приказание, но у входа его остановил оглушительный удар в потолок, воющий скрежет металла. Что-то с гулким стуком упало на землю. Зинн быстро обернулся. Он увидел Тересу, словно пригвожденную к стене, с раскинутыми руками и бледным лицом. Он посмотрел по направлению взгляда ее обезумевших глаз. Луи все так же сидел на корточках, прислонившись спиною к каменной стене блиндажа, но в его фигуре чувствовалась какая-то мертвая неподвижность. Скрипка с перебитым грифом лежала на земле. Тереса вскрикнула и бросилась к музыканту.

## 20

Телефон не работал. Зинн пошел к тельмановцам. Они, как всегда, занимали один из самых ответственных участков на фронте бригады. По мере того как серая полоса рассвета за спиною тельмановцев делалась шире, разгорался и огонь фашистов, словно они своими громами хотели испугать не только войска республиканцев, но и самое солнце и загнать его обратно за далекий горизонт, в преисподнюю, туда, откуда нет возврата, — пусть лучше вечная тьма, чем республика.

Серовато-бурый склон холма, в который врывались тельмановцы, был еще в густой тени. Разрывы шрапнелей кудрявились яркими клубками на фоне темного леса. Их черные клочья освещались короткими вспышками. Султаны желтого песка стремительно взлетали к небу и медленно оседали, словно бы не желая возвращаться на эту страшную землю, терзаемую огнем людской вражды. С визгом неслись осколки новых снарядов. Они срезали ветки, со звоном вонзались в стволы деревьев. Когда большой осколок врезался в кучу камней, служившую бруствером, раздавалось скрежетание, будто большое тупое сверло буравило скалу.

Бойцы сидели, прислонившись к передней стенке окопа. По обычаю, перенятому у испанцев, они кутались в одеяла. Хотя уже почти рассвело, — пронизывающий холод ночи все еще сидит у них в костях. Они знали: так будет, пока не поднимется солнце. Тогда холод сменится жгучим зноем и одеяла придется растягивать на штыках, чтобы защищаться от солнца, такого же жестокого и неприветливого, как холод ночи.

Когда Зинн вошел в окоп, бойцы, прижавшись друг к другу, слушали звуки песни, летевшие из репродук-

тора, который был врыт в стенку окопа и огражден козырьком от осколков.

Слушали все. Солдатский слух бережно вылавливал каждый вздох певицы в привычном хаосе звуков.

— Как дела? — спросил Зинн.

По-видимому, в полутьме окопа его не узнали. Кто-то с досадой махнул ему рукой: молчи!

Так же, как другие, Зинн приткнулся к каменистой стенке окопа. Возле него опустился высокий человек, снял пилотку и отер ею лоб. Зинн пригляделся и узнал Крисса. То ли англичанин очень устал, то ли был поглощен пением Тересы, — он даже не взглянул на Зинна.

С тельмановцами Крисса связывала старая дружба. Он был тоже из тех, кто пришли сюда первыми, — оператором, снимавшим для военного министерства республики хронику фронта. Но в аппарат его угодила пуля — подлая разрывная пуля из немецкой винтовки. Камеру разнесло. Крисса хотели отправить в тыл за новым аппаратом, но он не поехал, а остался в бригаде. С тех пор он и командует взводом связи. Когда певица умолкла, кто-то негромко сказал:

— С этим можно полезть в любое пекло!

— Да, песня — это...

Все ждали продолжения, но говоривший молчал.

— А недурно бы иметь жену-певицу, — произнес кто-то, — было бы весело жить!

Крисс поднял голову:

— Ты думаешь?

— Ха, эти киношники знают все на свете! Можно подумать, что ты, Крисс, всю жизнь прослужил в опере, — огрызнулся капрал.

— Или, по крайней мере, был женат на певице, — отозвался еще кто-то.

Зинн локтем почувствовал, как вздрогнул англичанин.

— Клянусь небом: это было худшее время моей жизни!

— Видно, ты угадал, — сказал немец тому, кто пошутил насчет жены: — наверное, она выла, как кошка. Уж такие они певицы, англичанки!

— Но ты-то не угадал, — все так же спокойно отозвался Крисс. — Она была немкой!

Все сразу рассмеялись, но тут снова запела Тереса, и смех сразу затих.

Зинн колебался: как сказать этим людям, что они не должны идти к Тересе? Однако приказание оставалось приказанием, и он передал его.

— Что ж, — решил капрал, — поручим дело Криссу. Ему все равно идти туда чинить связь. Он и возьмет для нас пластинку.

— Что скажешь, Арчи?

Англичанин молча кивнул длинной, как огурец, головой и, аккуратно свернув одеяло, положил его в нишу, перекинул за спину винтовку и двинулся к ходу сообщения. Зинн пошел за ним.

— Нам по пути.

Согнувшись чуть ли не пополам, Крисс шагал по траншее. Это была мелкая канава, выгрызенная солдатскими лопатками в каменистом грунте. Но скоро кончилось и это укрытие. Дальше нужно было двигаться по склону, покрытому пнями сбитых деревьев и заваленному их расщепленными стволами.

— Давайте закурим, — сказал Крисс, ложась под защитой поваленного дерева.

Зинн вытащил папиросы. Крисс увидел коробку с изображением черного силуэта всадника на фоне голубой горы. Он взял ее у Зинна и повертел в руках.

— Мне кажется, что в испанцах, простых испанских ребятах, много сходства с русскими... Честное слово! — сказал Крисс.

— Да, хороший народ.

— Ведь верно? Те и другие... — Крисс щелкнул пальцем по крышке «Казбека». — Если бы они понимали значение здесь такой вот коробки, они сделали бы ее из стали, чтобы она могла переходить из рук в руки, через тысячу рук... Удивительная страна!

— Да.

— Бывали в России?

— Да.

— Ну?

— Это здорово!

— Стройка?

— Душа народа!

— Да, нам на Западе это нелегко понять...

— Прежде я думал так же.

— А теперь?

— Понимаю.

— До конца?!

— Ну, может быть, и не совсем...

— То-то!

— Да, я немножко похвастался.

— И что, по-вашему, в них самое удивительное?

— То, что чем больше их узнаешь, тем больше удивляешься.

— Наши еще не понимают, что такое Россия и что она значит для всех нас. Но когда-нибудь поймут... — Крисс поднялся. — Пошли?

Зинн привстал и машинально почистил колени.

С той стороны, где оборону занимал батальон гарибальдийцев, к путникам подполз итальянец. Он был уже немолод и тяжело дышал. Синий комбинезон не

сходился на животе, а рукава и брюки были подвернуты, так как были ему непомерно длинны.

Толстенькие пальцы итальянца без церемонии подняли крышку папиросной коробки Зинна и с трудом выловили папиросу.

Зинн дал ему огня.

— Вы куда? — спросил он.

— А разве вы не за пластинками?

— До вас не дошел приказ не ходить?

Итальянец посмотрел с удивлением.

— Нет, вот покурим и пойдем. — Он вопросительно посмотрел на обоих. — Только немного полежим, правда?

— А тем временем эти скоты перебьют там все пластинки? — сказал Крисс.

И, словно в подтверждение этих слов, над их головами, как рой взбесившихся ос, прожужжала пулеметная очередь.

— Этак обратно ничего не донесешь! — пробормотал итальянец.

Крисс перевалился через древесный ствол, служивший им прикрытием, и пополз к следующему ходу сообщения.

— Может быть, не так быстро? — задыхаясь, пробормотал итальянец и подозрительная бледность разлилась по его тщательно выбритым щекам. Через несколько шагов он смущенно повторил: — Вы знаете... у меня плохо с сердцем...

Вверху прошуршал и разорвался где-то впереди снаряд. Итальянец снял очки и положил их в футляр.

— Тут вторых не достанешь.

Перед тем как начать спуск к блиндажу агитпункта, они снова остановились.

— Что же она замолчала? — сказал итальянец.

— Что у нее, по-вашему, горло или железная свистулька? — сердито спросил Крисс.

— Могу вас уверить, я не хуже вас знаю, что такое горло артиста, — и итальянец притронулся двумя пальцами к своей шее. Стараясь заглянуть в лежащий впереди окоп, он высунул голову из-за камня. Тотчас засвистели пули. Он поспешно втянул голову в плечи, совсем как черепаха. Заодно, казалось, втягивались в тело и его коротенькие ручки и ножки.

Крисс вскочил и несколькими прыжками достиг окопа.

Зинн подождал, пока до окопа добрался итальянец, и тогда перебежал сам.

Они остановились в дверях блиндажа, и первое, что бросилось в глаза всем троим, был черный диск пластинки, вращавшийся на ящике патефона, стоявшего в патронной нише бруствера.

— Ловко нас разыграли, — засмеялся Крисс. — А мы-то...

Тут его взгляд, так же как и взгляд Зинна, упал на лица делегатов других батальонов. Солдаты стояли в ряд вдоль стенки блиндажа и молча смотрели в землю.

— Да что вы все, онемели, что ли? — громко спросил Крисс. — Попадись мне этот черный врун Джойс...

— Помолчи... — бросил кто-то из бойцов и показал глазами в угол блиндажа. В полутьме Крисс увидел негра Джойса из батальона Линкольна. Рядом с ним сидел на земле командир конных разведчиков Варга. Джойс сидел, охватив голову ручищами.

Когда Варга услышал голос Крисса, он приподнял край серого солдатского одеяла. Зинн, Крисс и итальянец увидели смятую кружевную мантилью и разломанный надвое большой черепаховый гребень. Увидели и лицо певицы. Загар словно сошел с него, и оно стало

светло-серым, почти белым. Круглый открытый лоб прорезала упрямая морщинка от переносицы до самых волос — черных, блестящих.

Крисс шагнул было к телу, но попятился и провел рукой по лицу.

Итальянец на цыпочках подошел к микрофону и поднял адаптер, кружившийся на пластинке.

— Мне очень жаль, сеньоры, что здесь нет... шарманки, обыкновенной шарманки. Но я все же попробую... — Он кивнул Варге: — Прошу вас.

Варга послушно взял гитару.

В окопах и между линиями из микрофонов полился простуженный тенор итальянца:

С дальней родины мы ничего не взяли,
Только в сердце ненависть горит.
Но отчизны мы не потеряли:
Наша родина теперь — Мадрид...

## 21

План операции предусматривал одновременный удар республиканцев на нескольких участках мадридского фронта обороны. Удар бригады Матраи и трехтысячного отряда анархистов имел целью выбить франкистов, засевших на западной границе Каса дель Кампо, и бросить их под удар сильной группы Барсело, наступавшей в более выгодных условиях со стороны Посуэло де Аларкон. Анархисты были поставлены рядом с Интернациональной бригадой Матраи потому, что ненадежность первых страховалась стойкостью вторых. Одновременно с Матраи полковники Листер и Буэно должны были ударом на правый фланг франкистов подготовить обходный маневр большой ударной груп-

пы, направленной на треугольник Лос-Анджелес — Хетафе — Леганес, где закрепились вторая, третья, пятая и шестая резервные колонны франкистов. Все это, вместе взятое, должно было заставить главные силы мятежников вытянуться из клина по линии аэродрома Хетафе — Леганес — Алькоркон — аэродром Куатро Вентос. В перспективе была возможность отрезать от главных сил левое крыло мятежников, состоявшее из первой и четвертой ударных колонн. Для этого от Посуэло де Аларкон и Боадилья дель Монте должен был ударить Барсело своими силами, состоявшими из 3-й испанской и 11-й Интернациональной бригад.

Силы мятежников были значительно многочисленнее республиканских, и на их стороне было огромное преимущество в артиллерии, танках и прочей технике. Не говоря уже о том, что республиканцы должны были беречь каждый снаряд из-за отвратительного лицемерия «социалистов» разных стран, на словах разыгрывавших друзей Испанской республики, а на деле старавшихся остаться подальше от борьбы.

Судьба сражения в большой мере зависела от слаженности и интенсивности первого удара фланговых групп: правой — Интернациональной бригады генерала Матраи и анархистов, и левой — полковника Листера.

Сначала Матраи не придал значения тому, что произошло на участке тельмановцев. Он спокойно слушал доклад Зинна. Но еще прежде, чем Зинн договорил, со стороны переднего края донесся многоголосый крик «ура» и тотчас ответившие ему лихорадочные очереди многочисленных пулеметов. Так встречают неожиданную атаку.

Не дослушав Зинна, Матраи бросился в ход сообщения, ведущий к командному пункту.

Энкель был уже там. Одною рукой он неторопливо поворачивал стереотрубу, другою прижимал к уху телефонную трубку. Из спокойных отрывистых реплик начальника штаба, подаваемых в аппарат, Матраи понял, что началась атака его бригады. Она началась почти на целый час раньше, чем следовало, из-за того, что над лесом взвились три цветные ракеты. Они были пущены именно в той комбинации, которая должна была служить сигналом к атаке бригады Матраи. Кто их пустил?.. Не рука ли врага подняла его бригаду, чтобы нарушить весь план республиканского командования?..

Впрочем, сейчас было не до рассуждений: интернационалисты уже оставили окопы, их фигуры то мелькали в стремительной перебежке, то, приникая к земле, исчезали в пыли, поднятой ногами бойцов и разрывами снарядов. Первой мыслью Матраи было: «Остановить людей». Но он тут же понял, что сделать это уже невозможно. Не поддержать теперь порыв атакующих — значило понести напрасные потери и рисковать всей операцией.

Схватив телефонную трубку, Матраи вызвал штаб анархистов.

— Карутти! — В голосе Матраи появилась необычная хрипота.

Если анархисты не двинутся сейчас же, правый фланг Матраи окажется открытым.

— Карутти, от тебя зависит...

Еще немного — и трубка, казалось, будет раздавлена в руках Матраи: анархисты еще не были готовы.

— Карутти!..

Карутти обещал сделать что можно, хотя...

Матраи бросил трубку. Видная в перископ цепь атакующих исчезала за холмом, прикрывавшим позицию мятежников. Матраи знал: за этим холмом проволока противника. По плану ее должны были прорвать ре-

спубликанские танки, а никаких танков не было — пехота шла одна... Если люди залягут под проволокой...

Матраи соединился с начальником артиллерии.

С того конца провода ответил сердитый голос:

— Интенсивный огонь?.. Из двадцати-то орудий? При комплекте в двадцать снарядов на орудие?!

Матраи оттолкнул руку Руиса, тянувшего его назад. Энкель что-то кричал, но генерала уже не было в окопе. Он стоял за бруствером, прижавшись боком к остаткам большого платана, и смотрел вперед, туда, где перебегали его бойцы...

Чем поддерживать атаку, если артиллерия не может? Ведь на севере все еще не слышно стрельбы. Значит, Карутти так и не поднял своих анархистов... Нельзя, нельзя дать захлебнуться атаке!

Матраи быстро оглянулся, чтобы позвать адъютанта, но увидел Руиса рядом с собою: адъютант не сводил с него восхищенных глаз.

Генерал с разбегу одним прыжком перемахнул через свой наблюдательный пункт.

— Генерал!

— Лошадь!.. Скорей!

Сделав усилие, Руис опередил генерала. Под холмом, в полуразрушенном подвале, стояли верховые лошади штаба. Матраи всегда держал их наготове. В условиях действий в лесу он считал их надежней автомобиля.

Напрягая все силы, чтобы добежать до подвала раньше генерала, Руис уже представлял себе бешеную скачку под огнем противника вдогонку за цепями атакующей бригады. Но генерал поскакал совсем в другом направлении — вдоль западной опушки Каса дель Кампо, к ипподрому. Единственной мыслью Руиса было теперь: не отстать! Это было нелегко, имея

перед собою такого наездника, как Матраи. Генерал не давал себе труда объезжать препятствия: на полном карьере он заставлял коня перепрыгивать через остатки стен, через нагромождения кирпича и балок, через поваленные деревья. Руис с восхищением увидел, как конь переносит Матраи через поваленный ствол, зацепившийся комлем за высокий, почти в рост человека, пень. Руису хотелось зажмуриться: барьер был слишком высок! Он видел, как ощипанные пулями ветви ударили по брюху лошади генерала, и даже услышал хлещущий звук этого удара...

В следующий миг ровный, звонкий поскок генеральского коня музыкой отдался в ушах адъютанта. Этот звук и прыжок генерала были последними, что слышал и видел поэт Хименес Руис. Конь адъютанта, словно обезумевший от ревности к бешеной скачке несущегося впереди коня Матраи, тоже взвился над поваленным стволом. Ничего другого он уже сделать и не мог. Разве только разбиться об него грудью. Руис даже не расслышал легкого, едва уловимого, но такого характерного стука копыт своего коня, задевших за барьер.

Мгновение — и конь лежал со сломанным позвоночником, придавив своим телом ногу Руиса.

Увидев накрытые ветвями танки, Матраи соскочил с коня.

Танки! Эти неподвижные стальные громадины представились Матраи олицетворением спокойной уверенности, которая выведет его разноплеменную бригаду на путь победы. Машины стояли перед ним, как могучая, действенная сила его партии — великого организатора побед борцов за свободу. Партия! И тут, в тягчайших условиях она сумела протянуть ему свою руку, всегда такую твердую, всегда такую родную!

В танках — молодые экипажи. Их боевой путь еще очень короток, но они уже успели закоптиться в сражениях за республику. Пусть их всего четыре, этих танков, но это именно то, что сейчас нужно Матраи!

Матраи готов был броситься на шею выбежавшему навстречу ему командиру.

Через несколько минут командирская машина уже чихала и стреляла застывшим мотором. Когда она двинулась, командир головного танка не сразу заметил, что за башнею, на броне, ухватившись за край люка, стоит на коленях Матраи. Генерал едва успевал нагибаться, чтобы его не сбило сучьями ломаемых деревьев. Командир хотел придержать машину, чтобы спустить генерала на землю, но тот крикнул что было сил:

— Вы меня едва не забыли!

И повел на него такими налитыми кровью глазами, что командир только крепко выругался и втащил генерала в башню. Там было слишком тесно для двоих — люк поневоле остался полуоткрытым.

Генерал с трудом вытащил карту и молча нацелился пальцем в слово «Умера». Толчки машины, переваливающейся через пни, ныряющей в канавы и воронки, не сразу позволили попасть в это слово. Командир кивнул головой и сильным нажимом на плечо заставил Матраи скрыться в люке.

Все четыре машины с ходу прорвали проволоку и две линии окопов противника и, выскочив из лесу, понеслись к деревне Умера, где были сосредоточены резервы левого крыла мятежников. Пользуясь тем, что командир занят управлением, Матраи высунулся из башни и увидел, что атакующая пехота его бригады осталась уже позади.

— Тише!.. Не отрывайтесь! — кричал он в ухо танкисту, но тот не слышал, и машины продолжали не-

стись по открытому полю. Впереди, сбоку, сзади взвивались черные фонтаны земли: мятежники пытались отрезать танкам путь к деревне и назад, к своим. Генерал понял, что нельзя ни замедлить ход машин, ни развернуться. Оставалось одно — вперед, только вперед.

Франкистские снаряды беспорядочно ложились по сторонам.

Танки ворвались на улицу Умеры. Матраи видел, как изо всех домов выбегали солдаты и строились вдоль улицы. Тут были «регулярес», легионеры и много марокканцев.

Танки докатились до маленькой площади, где легионеры торопливо строились в ряды. Было видно, как широко разевают рты офицеры, выкрикивая команды. Слов не было слышно: моторы ревели, лязгали гусеницы, все грохотало.

От колонны легионеров отделился офицер и побежал навстречу танкам. Танк замедлил ход. Офицер сорвал шлем и закричал, покраснев от натуги:

— Виска итальяно!

Его крик восторженно подхватила вся площадь.

Командир танка нагнулся в люк:

— Вперед!.. Огонь!..

Брызнули огнем стволы танковых пулеметов. Охнула пушка.

Танк грохотал. В стене двухэтажного дома напротив мгновенно образовалась дыра, медленно затянувшаяся белым облачком известки. Снаряды рвались, заставляя разбегаться выстроившихся легионеров.

Танк обогнул площадь, давя гусеницами прижимавшихся к стенам солдат. Слышен был скрежет стали по камню. Обойдя площадь, танк двинулся дальше по улице. В конце ее его встретил организованный огонь франкистов. Они успели попрятаться в дома. Изо всех

окон сверкали выстрелы. Матраи отчетливо слышал, как стучат по броне пули.

Впереди появились марокканцы. Они пытались втащить пушку в ворота дома. Пушка застряла. Танк прибавил ходу, правою гусеницей наехал на марокканцев, на пушку — и двинулся дальше.

Окраина деревни. Танк остановился. Матраи попытался в перископ рассмотреть, что делается между Каса дель Кампо и Умерой. Было похоже, что атака остановилась. Пехотных цепей не было видно, но разрывы франкистских снарядов ложились полукругом, огибая Умеру. Такою же размашистой дугой вспухали в воздухе пушистые дымки шрапнелей. Матраи склонился к уху танкиста: нужно окончательно парализовать резервы в Умере, чтобы не дать им контратаковать бригаду; нужно вернуться к бригаде и заставить подняться залегшие цепи. Бригада должна идти вперед, только вперед!

Танкист развернулся и двинулся обратно по деревне тем же путем. Улица опустела. Мостовая была запятнана кровью. Стреляли изо всех окон домов. Впереди был виден не успевший развернуться второй танк. Чтобы дать дорогу командиру, он стал пятиться.

Легионеры на руках вытащили пушку на плоскую крышу дома и успели дать два выстрела по пятившемуся танку. Второй выстрел сбил у него пулемет. Матраи показал командиру на пушку, стоявшую на крыше. Танк остановился. Его пушка замерла и, словно подумав, дала выстрел. Снаряд прошел под карнизом и разорвался. Крыша, пушка на ней, легионеры — все провалилось внутрь дома. Но в тот же момент эта пушка успела послать свой последний, шальной снаряд, и гусеница второго танка взлетела над роликами и со звоном упала на мостовую. Подбитый танк яростно повернулся вокруг собственной оси и замер, отстрели-

ваясь из пушки. Командир осторожно обогнул его на тесной площади и остановился. Прежде чем Матраи понял, в чем дело, он увидел командира на мостовой набрасывающим цепь на крюк подбитого танка. Танки медленно двинулись прочь от площади, трещавшей выстрелами. Вслед им дробно зазвонил церковный колокол от угодившей в него пулеметной очереди.

Матраи осмотрелся. Он увидел, как из окон дома слева, оставляя за собою черный дымный след, полетели в танк бутылки с бензином, обмотанные ватой. Над дверью этого дома Матраи увидел вывеску: «Аптека».

Горящий бензин разливался по броне и огненными струйками стекал в смотровую щель, под щиток. Становилось нечем дышать. Матраи потянулся к люку, чтобы откинуть крышку, но артиллерист схватил его за руку. На крышку люка упала бутылка. Огонь потек в башню.

Осмелевшие марокканцы высовывались из окон и кидали бутылки в медленно ползущие танки.

Взвыл мотор. Все в танке загремело так, что Матраи втянул голову в плечи. Мотор ревел на предельных оборотах. Если бы не танк, взятый на буксир, они быстро выбрались бы из деревни.

Матраи закрыл лицо руками от невыносимого жара. Сквозь пальцы посмотрел в щель. Два отставших танка держали под огнем выход в поле, не давая франкистам высунуть нос из домов. Теперь танки повернулись к деревне и прикрыли отход горящих машин.

Матраи выскочил из своего танка и послал два уцелевших на поддержку своей залегшей бригаде. Еще издали он увидел далеко влево перебежку: наконец-то атаковали люди Карутти.

Танки повернули вдоль франкистских окопов второй линии, под проволокой которых залегли интербригадовцы. Матраи ясно видел на желтой, изрытой

темными воронками земле синие пятна комбинезонов своих бойцов. Он увидел знакомые лица тельмановцев, линкольновцев, гарибальдийцев.

Добежав до воронки, он бросился на землю и распластался рядом с кем-то, толкнувшим его в углубление воронки.

На Матраи глядели большие смеющиеся глаза Варги. Его широкое загорелое лицо стало почти черным от грязи. Матраи приподнялся и увидел чей-то коротко остриженный затылок. Этот затылок мерно вздрагивал в такт пулемету, из которого стрелял доброволец. Но Матраи не слышал выстрелов. Он ничего не слышал — в ушах все еще стоял гул танка. Он притянул к себе голову Варги:

— Где Энкель?

Варга понял, что Матраи ничего не слышит. Венгр жестами показал, что начальник штаба далеко сзади.

Милый, педантичный Энкель! Но, честное слово, Матраи не мог поступить иначе! Может быть, ему простят...

Он взял у Варги бинокль и оглядел фронт атаки.

— Я на КП! — крикнул он Варге и выскочил из воронки. Варга увидел, как он, пригнувшись, делал длинные перебежки в сторону Каса дель Кампо.

А Матраи казалось, что вслед ему несется напев атакующих:

Несем свободу
На дулах ружей —
Но пасаран, но пасаран!..

Всякий раз, поднимаясь с земли, он должен был заставлять себя не повернуть вслед этой песне, а бежать назад, в поисках своего начальника штаба.

Все планы Франко
Мы в прах разрушим —
Но пасаран, но пасаран!..

К вечеру стало ясно: несмотря на все операция увенчалась успехом. Но одновременно стало известно и другое, совсем не такое ободряющее событие: правительство Ларго Кабальеро покинуло Мадрид. Министры-коммунисты хотели остаться в осажденном городе, чтобы выполнить решение своего Центрального комитета защищать столицу до последнего вздоха. Но и они должны были последовать за премьером под угрозой, что нарушение его приказа послужит сигналом к срыву единого фронта демократических партий. В наскоро набросанной директиве Кабальеро передавал оборону Мадрида заботам так же наскоро образованного совета. Но душою обороны стала коммунистическая партия во главе с Хосе Диасом и Долорес Ибаррури. Член ЦК компартии Педро Чека получил указание подготовить все к переходу в подполье. Коммунисты решили не сдаваться, даже если мятежникам удастся ворваться в столицу.

Была уже ночь, когда Матраи поехал в город, чтобы побывать в Центральном комитете. Нужно было поговорить с Диасом и Ибаррури.

Выбравшись пешком за пределы университетского городка и госпиталя, он задержал первый попавшийся автомобиль и приказал отвезти себя в центр. Минуя здания министерств, он замечал следы их поспешной эвакуации: груды бумаг, ящики, горы мешков с документами. Но нигде ни одного чиновника. Приблизившись к военному министерству, Матраи с удивлением увидел, что в зеркальных окнах великолепного фасада зажегся яркий свет. Матраи остановил автомобиль: не-

досмотр или злой умысел? Свет в окнах сейчас, когда фашистские бомбардировщики не оставляют город в покое?..

Свет в окне не погас. Он загорался и в других окнах.

Матраи поспешно взбежал по ступеням подъезда. Дверь в вестибюль была распахнута. Два старика-швейцара сидели по сторонам входа. Матраи с удивлением смотрел на них: никогда еще они не выглядели так торжественно, и никогда еще на них не было столько позументов!

Старики вытянулись при появлении Матраи и низко поклонились, ничуть не удивившись его появлению, как если бы он был тут уже не первым посетителем.

— Что означает этот парад? — сердито спросил он.

Они поклонились еще раз, но ничего не ответили.

Матраи взбежал по мраморной лестнице и повернул выключатель огромной люстры. Сияние хрустальных блесток растаяло в наступившей темноте. Матраи бросился в зал. Он перебегал от выключателя к выключателю, и сверкающие под потолком сигналы пятой колонны гасли один за другим. Но Матраи заметил, что по мере того, как он гасит свет, там, впереди, в других комнатах свет загорается. Матраи устремился вперед, на ходу вынимая пистолет. Стук его шагов гулко отдавался под высокими сводами пустых комнат. Загоревшийся было в конце анфилады свет тотчас погас. Матраи показалось, что у дальней стены он заметил маленькую фигуру человека. Не раздумывая, он выстрелил несколько раз. Грохот выстрелов прокатился по залам оглушительным эхом. Из-за этого грохота Матраи не слышал, как захлопнулась дверь за тем, в кого он стрелял. Не слышал он и негромкого стона после своих выстрелов.

Матраи с разбегу больно ударился в темноте о дверь. За нею темнел провал внутренней лестницы. Матраи постоял в раздумье и вернулся к подъезду. Швейцары по-прежнему стояли по сторонам входа. Лица их были равнодушны.

Через несколько минут после того, как Матраи ушел из военного министерства, из его бокового подъезда вышел невысокий человек в темном костюме и больших роговых очках. Он побежал вдоль стены к деревьям бульвара, придерживая правой рукой беспомощно висящую левую.

Позднее, когда Матраи вошел в кабинет Пассионарии, он встретил там Михаэля Кеша. Левая рука журналиста висела на перевязи. При входе Матраи он как раз рассказывал Долорес, как был ранен утром, когда наблюдал за атакою листеровцев на правое крыло франкистов.

— Эти трусы бежали, как крысы... фашистская сволочь! — с пафосом восклицал Кеш.

В ночь с 6 на 7 ноября 1936 года Франко дал приказ своим войскам — взять Мадрид. Генеральный штурм города должен был начаться на рассвете 7 ноября.

К утру несколько свежих таборов марокканцев, поддержанных итальянскими танками, прорвали линию обороны республиканцев в Каса дель Кампо и стали продвигаться к восточной окраине парка. Им на помощь подходили все новые батальоны. Иностранный легион и итальянская бригада «Стрела», с трудом преодолевая упорное сопротивление республиканцев, ворвались в Карабанчель Бахо, и командовавший франкистской колонной Баррон послал кавалерийскую бригаду в обход Карабанчеля, чтобы отрезать путь отходящим республиканцам.

К штабу командующего одной из дивизий мятежников — Варела прибыл огромный автомобиль-фургон, доставивший генералу Мола подарок наваррской организации рекетистов — белого коня для въезда в Мадрид.

Но задуманный фарс не состоялся. Республиканский Мадрид был готов к отпору. Город уже был опоясан окопами, перегорожен баррикадами. Траншеи изрезали площади и парки. Рабочие дружины сливались в бригады. На фронт шли новые и новые пополнения. Уже сражались первые бригады регулярной республиканской армии, возникавшей под огнем. На улицах Мадрида, прилегающих к скрещению проспекта Алкала с авеню Прадо и авеню Свободы, собиралась демонстрация. Невзирая на усилившийся артиллерийский обстрел города и налеты немецких «юнкерсов» и итальянских «капрони», простой народ Мадрида стягивался к площади Кастеляр, на которой была воздвигнута скромная трибуна.

Около девяти часов утра, когда Матраи повернул свою наступающую бригаду к югу и ударил во фланг маврам, ворвавшимся в Каса дель Кампо, когда пятый полк бегом подоспел к восточной окраине Карабанчеля и остановил африканскую конницу Баррона, когда соединения «капрони», окруженные «фиатами», бомбили республиканские позиции у Хетафе, когда агенты пятой колонны нацеливали «юнкерсы» на военные объекты в городе, — в эти минуты на трибуну площади Кастеляр поднялись члены Центрального комитета Коммунистической партии Испании — Хосе Диас, Долорес Ибаррури и Педро Чека.

Оркестр приветствовал их республиканским гимном.

Хосе Диас поднял руку, призывая собравшихся к молчанию. Но прежде чем он успел что-либо сказать, ряды демонстрантов раздались — из-за деревьев с

бульвара, окружающего военное министерство, беглым учебным шагом приблизилась небольшая колонна бойцов в синих комбинезонах. Они бежали по трое в ряд: средний с флагом, двое — по бокам, как ассистенты у знамени. Они приблизились к трибуне: бежавший впереди комиссар, с красною повязкой на рукаве, взбежал на трибуну и, отдав честь членам ЦК, крикнул собравшимся на площади:

— Мадридцы, вам шлют свой боевой привет солдаты двадцати одной национальности, собравшиеся под знаменем Интернациональной бригады генерала Матраи для защиты свободы Испании. Бригада ведет бой в Каса дель Кампо, у нас нет времени присутствовать на вашем параде. Мы вручаем вам эти флаги и снова идем в бой. Да здравствует Испанская республика, да здравствует свобода, да здравствует передовой отряд испанского трудового народа — партия коммунистов!

Его спутники поставили перед трибуной двадцать один флаг. На каждом было написано наименование батальона, приветствующего мадридцев, и короткий лозунг на языке той национальности, которая посылала флаг.

Их было восемь — батальонов бригады Матраи: батальоны Тельмана, Гарибальди, Жана Жореса, Домбровского, Линкольна, Ракоши, Андре и Пассионарии. Представителями бойцов двадцати одной национальности в этих батальонах на двадцати одном языке был начертан лозунг: «Не пройдут!» — по-немецки, по-английски, по-польски, по-итальянски, по-голландски, по-фламандски, по-венгерски, по-шведски, по-сербски, по-болгарски, по-норвежски, по-испански. Были буквы, которых народ на площади не мог разобрать: греческие, армянские, еврейские, китайские, арабские...

Когда последний флаг был поставлен перед трибуной, комиссар отдал честь народу и вернулся к своим спутникам, стоявшим шеренгой перед трибуной:

— Налево!.. В бой, бегом... Марш!

Маленькая колонна солдат в синих комбинезонах быстрым шагом удалилась к бульвару, за деревьями которого ее ждали грузовики. Над площадью неслось:

— Смерть фашистам!.. Они не пройдут!..

Хосе Диас взял микрофон.

Он говорил, пересиливая шум авиационных моторов: над цирком, над госпиталем Сан Хуан де Диос, над вокзалом Аргандэ, даже над парком эль Ретиро шел ожесточенный бой между фашистскими самолетами, рвавшимися к демонстрации, и отгонявшими их республиканскими истребителями. Истребители были маленькие, тупоносые. В бездонной синеве неба они сверкали как залог конечной победы, той победы, которая рано или поздно будет взята в боях, победы, при мысли о которой уста всех борцов за республику шептали с надеждою:

— Виска ла република!

## 22

Нед должен был себе признаться: он заблудился.

Это случилось из-за того, что он послушался француза, советовавшего забрать как можно ближе к побережью, чтобы обойти район франкистских аэродромов, где легко могли сбить. Никто его не сбил, а приходится садиться в расположении франкистов из-за того, что не хватило горючего. Ему никогда не доводилось летать над этими горами, — путаный рельеф ввел его в заблуждение. Лететь бы напрямик — и он был бы уже у республиканцев.

Нед с беспокойством посмотрел на указатель последнего бака. Стрелка подрагивала рядом с нулем. Дай-то бог, чтобы хватило времени выбрать место для посадки. Дело не только в том, чтобы не поломать «Моль», а и в том, чтобы не взлететь на воздух самому: на кой черт он взял эту коробку с капсюлями, когда вся машина набита взрывчаткой!..

Нед вполоборота посмотрел на заднее сиденье, где, поджав длинные ноги и надвинув на глаза шляпу, спал его спутник.

— Эй, Нокс!.. Гемфри!.. — крикнул Нед.

По-видимому, шум мотора заглушал его голос. Нокс даже не пошевелился. Между тем багажник, где лежали проклятые капсюли взрывателей, был расположен за спинкой именно того сиденья, на котором спал Нокс. Выбросить их с пилотского места Неду не было никакой возможности.

— Гемфри, проснитесь!..

Углекоп не шевелился.

Тогда Нед, пошарив в кармане, отыскал шестипенсовик и запустил им в пассажира.

Гемфри отодвинул шляпу с лица и удивленно огляделся.

Нед поманил его к себе движением пальца и крикнул ему в самое ухо:

— Капсюли! Понимаете: нужно выкинуть коробку с капсюлями, — и жестом попытался пояснить свои слова. — Возможна плохая посадка... Поняли?

Нокс ответил кивком головы и действительно тут же полез в багажник. Нед успокоился и сосредоточил все свое внимание на управлении самолетом. Поэтому он уже не видел, как Нокс, достав из багажника жестянку с капсюлями, вместо того чтобы выбросить ее в

окошко, сунул себе за пазуху. После некоторого размышления он снова нагнулся к Неду.

— Будете садиться? — И получив его утвердительный кивок, спросил: — Где мы?

Нед пожал было плечами, но потом ответил:

— Внизу, вероятно, франкисты.

Нокс откинулся на своем стуле и после короткого размышления достал из багажника несколько небольших жестянок с динамитом. Быстрыми умелыми движениями опытного запальщика приладил к динамиту запалы и готовые заряды рассовал по карманам. После этого спокойно прислонился к окошку и принялся наблюдать за проносившейся под самолетом землей.

Солнце скрылось за горизонтом. Все просветы между горами были заполнены темно-серой мутью. Самое трудное освещение: когда исчезают тени!

Нед увидел серпантин дороги. Ленточка распрямилась и побежала прямо. Дорога... Значит, там было ровное место.

Нед стал плавными кругами спускаться в долину, сжатую горами. Стоило перебрать немного крена, и тот «Джипси», что оказывался наверху, начинал зловеще чихать.

Дорога была пуста.

Может быть, еще удастся выкарабкаться из переделки?..

Только бы раздобыть бензин, а взлететь-то он сумеет и с чайного блюдца! Лишь бы сесть, спасти самолет и самих себя. Они еще пригодятся республиканцам! Недаром же он выдержал столько издевательств на последнем французском аэродроме. Не будь он англичанином, его бы, наверное, и не выпустили... Но хорош он будет тут, в тылу франкистов, с республиканским

пропуском, с письмами дель Вайо, с кабиной, набитой взрывчаткой!

Нед криво усмехнулся.

«Моль» тянула над самой дорогой.

Она предательски вяло реагировала на движения рулей.

«Ну, ну, милочка, только не проваливаться. Осталось совсем немножко».

Выровненная машина теряла остатки скорости.

Нед убрал сектора, хотя карбюраторы и так были, вероятно, сухи. Выключил контакты.

«Ну, маленькая! Теперь чуть-чуть на себя... Прекрасно, дорогая!.. Очень хорошо... ты у меня умная старушка!»

«Моль» сделала несколько мягких прыжков. Костыль проскрежетал по щебенке шоссе. Нажим на тормоза. Машина остановилась.

Нед не спеша стащил перчатки и размял пальцы. Перчатки он заботливо засунул сбоку сиденья, чтобы не искать при вылете. Аккуратно перекрыл все краны. Приподнялся на сиденье и пощелкал пальцем по главному баку. Бак зазвенел, как пустая бочка. Крылья глухо отозвались.

Только бы раздобыть бензин!

Нед отворил дверцу и, насвистывая, соскочил на землю.

Нед любил свое ремесло и любил полеты. Он был уверен, что воздух — это и есть та самая настоящая, единственная сфера, где он чувствует себя самим собою. Без всяких «но». А вот ведь стоит ступить снова на землю — и... снова любишь ее.

Нед рассмеялся, нагнулся к земле и похлопал по ней ладонью. Теплая мягкая пыль клубком взлетела из-под руки.

Из самолета, неуклюже выпростав длинные ноги, вылез Нокс. Он потянулся, как человек, у которого затекли все члены, и широко зевнул.

— Что дальше? — спросил он у Неда.

— Нужно раздобыть бензин.

Нокс недоуменно огляделся:

— Не вижу лавки... — И уже совершенно серьезно: — Вы уверены, что мы у франкистов?

— Буду рад, если они не поспешат доказать нам это.

— Значит... нужно добывать бензин поскорее?

— Да.

— Что там, на вашей карте: какое-нибудь селение, что-нибудь в этом роде?

Нед покачал головой:

— Соваться в селение?.. Лучше поищем дорожную колонку. Моя «Моль» как-нибудь переварит несколько галлонов автомобильного бензина... Пофыркает, но дотянет.

— Тогда вы побудьте здесь, а я схожу на поиски, — сказал Нокс, ощупывая карманы с динамитными патронами.

— Только, пожалуйста, осторожней, — сказал Нед и протянул углекопу свой пистолет.

— А вы? — спросил тот.

— Мне с «Молью» все равно не спрятаться. Если уж они нас обнаружат, то, наверное, явятся целой дивизией.

— Я быстро, — сказал Нокс и зашагал по дороге.

— Эй, Гемфри, — крикнул ему вслед Нед, — а деньги-то у вас есть?

— Что?

— Говорю: деньги!

— А-а! — вместо ответа неопределенно крикнул Нокс, и Нед увидел, как вспыхнула спичка, на миг ярко осветив лицо закуривающего углекопа.

— Вы неважный разведчик, Гемфри! — насмешливо крикнул Нед.

— Папироса может мне понадобиться.

Нед уже не мог видеть, как с этими словами Нокс вынул из кармана динамитный патрон и поудобнее зажал его в кулаке.

Силуэт углекопа скоро исчез на темно-сером фоне гор.

Нед огляделся — кругом было уже довольно темно. Что же, так и оставить «Моль»? А если кто-нибудь, кто будет ехать по дороге без света, врежется в самолет?.. Впрочем, своими силами Нед все равно не сможет откатить «Моль» с дороги.

Он отошел на несколько шагов, сел в траву и закурил.

Трава была мокрой и холодной. Как тут холодно! Наверное, высоко... Он даже не взглянул на альтиметр. Впрочем, неважно.

Бр-р! Даже после холода наверху — ни малейшего потепления.

Нед не заметил, как голова его опустилась на руки и недокуренная папироса выпала из разжавшихся пальцев, зашипела в заиндевевшей траве и погасла.

Он очнулся от пробравшего его озноба. Какой чертовский холод! Нужно взять в кабине самолета термос. Хочется хлебнуть горячего!

Однако сколько же он тут спал? Почему еще нет Гемфри?.. Бедняге тоже, наверное, не жарко в его пиджаке!..

С этой мыслью Нед упругим движением поднялся на ноги и замер в изумлении: перед ним стояли двое. Они были бородаты, оборваны. Оба держали наведенные на него ружья.

«Кто?»

На всякий случай Нед дружелюбно рассмеялся и протянул им папиросы. Те опустили ружья и осторожно взяли по папиросе. Нед старался найти какие-нибудь признаки, которые позволили бы определить, к какому лагерю принадлежат бородачи. На них были рваные мундиры и до того измятые кепи, что нельзя было определить их форму. Но как только солдаты заговорили между собой, сомневаться было уже не в чем: то были итальянцы, значит — франкисты.

Нужно было что-то придумать.

Нед ткнул себя в грудь и весело сказал:

— Германа.

Один из бородачей вложил пальцы в рот и пронзительно свистнул. Через несколько мгновений Нед был окружен группой людей, бесшумно возникших из-за лежащих вокруг камней. У них были обычные лица солдат отступающей армии, измотанных голодовками и бессонницей.

После первых же слов Нед понял, что ни один из них не знает по-немецки. Нед же не знал по-итальянски.

Пока Нед рассматривал эту группу, несколько других итальянцев с жадностью завзятых мародеров рылись в самолете.

Двое первых сидели по сторонам Неда, снова опустившегося на землю, и молча курили его сигареты. Потом тот, что распоряжался, велел всем идти за ним.

Он остановился в сотне шагов от дороги, за огромным камнем. Нед вдруг увидел отсвет пламени на его серой поверхности. Он быстро оглянулся, и яростное проклятие сорвалось с его уст: на дороге ярким костром пылала «Моль». Нед с поднятыми кулаками бросился к самолету, но удар приклада повалил его на землю. Ему тут же скрутили за спиною руки. Нед не намерен был сдаваться без боя, но итальянцев было слишком много.

Он не мог понять, что происходит. Или они не поверили тому, что он немец? Потащат теперь в какую-нибудь комендатуру. Только бы там нашелся кто-нибудь понимающий по-английски.

Нед ни на минуту не терял хладнокровия, но было чертовски досадно, что все так глупо вышло.

Вдали на шоссе мелькнул сноп белого света. Автомобиль! Ну, старина, теперь держись! Прежде всего нужно заявить, что ты британец!..

Автомобиль остановился неподалеку от горящего самолета. Из машины вышел человек небольшого роста. Итальянцы окружили его.

Нед слышал их взволнованные голоса и спокойный голос автомобилиста. Он не был итальянцем, — он то и дело заглядывал в словарь.

Нед поднял голову и крикнул:

— Послушайте!

Тот обернулся, посмотрел на Неда.

— Подойдите-ка! — крикнул Нед.

Но автомобилист отвернулся и стал просматривать бумаги, отобранные итальянцами у Неда. Нед терял терпение.

— Эй, вы, послушайте!.. — Если он не знает английского, то уж по-немецки-то или по-французски наверняка говорит! Но проезжий только еще раз молча посмотрел на Неда. Нед готов был дать голову на отсечение: автомобилист слышал и понял все, что кричал Нед, — каждая черточка его лица, вплоть до глаз, прикрытых большими очками, была отчетливо видна Неду в ярком свете горящей «Моли». Но какого же тогда черта?..

Нед потерял терпение:

— Эй, вы!.. Черт побери, идите же сюда!

Но вместо ответа автомобилист положил в карман бумаги Неда, — Нед это отлично видел, — и что-то

сказал итальянскому капралу. К Неду подошло несколько солдат. Они подняли Неда на ноги и подвели к скале. Нед прислонился к ней спиною, но итальянцы повернули его к камню лицом...

Неду показалось, что он слышит в горах звонкое эхо взрыва. Будто один за другим рвались динамитные патроны.

Нед хотел обернуться, но то же горное эхо подхватило и понесло, умножая, одинокий винтовочный выстрел...

Старший из итальянцев передернул затвор винтовки, загоняя в патронник новый патрон.

Человек в очках курил, прислонившись к своему автомобилю.

Старший итальянец опустился возле него на дорогу.

— Ну?

— Все сделано, как вы приказали, синьор...

Проезжий уселся в свой автомобиль.

— Извините, синьор, — робко сказал итальянец, — если меня спросят, кто приказал расстрелять немецкого летчика... — он сделал ударение на слове «немецкого» и добавил: — Я хотел бы знать ваше имя, синьор.

— Люк Маро.

Солдат козырнул вслед отъезжающему автомобилю, и скоро свет фар исчез за поворотом.

## 23

Катастрофа разразилась так, как разражаются обычно все катастрофы, — неожиданно, хотя ее жертвы, горняки с копей лорда Крейфильда, не раз предупреждали о ее приближении. При своем последнем посещении хозяина они решительно заявили, что считают несчастье неизбежным. Но, вероятно, именно поэтому

леди Маргрет столь же решительно запретила Бену тратить хотя бы фартинг на техническое улучшение шахт. Она назвала шахтеров дрянными вымогателями.

И вот теперь приходилось расхлебывать скандал и поднятую вокруг него газетную шумиху!

Бен не мог понять, за каким чертом рабочие лезли в эти проклятые шахты, если знали, что дело так плохо? В шахте похоронено четырнадцать человек, и еще до тридцати спасательная партия не может докопаться, а он виноват.

Если бы это могло помочь делу, Бен готов был внести что-нибудь в фонд помощи пострадавшим, который собирал профсоюз. Но как это сделать? Не может же он официально послать свой взнос, чтобы стать потом посмешищем всей прессы.

Эти мысли тоскливо текли в мозгу Бена, пока он разглядывал кружева вокруг шеи королевы Виктории на портрете, висевшем прямо против председательского места... Эта настойчивая старушка умудрилась провести восемьдесят три войны так, что на острове заметили только одну из них... А теперь каждый пустяк возбуждает необузданные страсти. Никто не щадит человеческих нервов...

Бен отвел глаза от Виктории и кивнул головой Флемингу, закончившему чтение протокола. Бен не дал себе труда вслушаться в то, что читал секретарь, даже не слышал заключительной фразы. Привычное ухо реагировало лишь на заключительную интонацию Флеминга.

— Джентльмены... — машинально произнес Бен.

— Господин председатель!..

Бен таким же автоматическим кивком предоставил слово португальскому послу, но тут же удивленно вставил в глаз монокль: почему этот субъект лезет

вперед?.. Бен привык к тому, что Португалия — лишь черный ход в Испанию, ключи от которого всегда лежали в английском кармане. Англичане привыкли к тому, чтобы португальцы держали руки по швам — и вот, извольте! Откуда у этого господина столько развязности? Неужели Англия и там уступает свои вековые позиции немцам?

Однако лицо Бена, тем и знаменитое на все министерство, что на нем никогда ничего нельзя было прочесть, не отражало его мыслей. Он чуть-чуть приподнял бровь, и монокль упал в подставленную ладонь.

Сеньор Франсиско де Калейрес э Менезес говорил с пафосом, иногда картинно ударяя себя указательным пальцем в грудь. При этом Бен машинально делал кивок, хотя и не давал себе труда слушать португальца.

Взгляд Бена вернулся к королеве. Некоторое время они смотрели друг на друга — он и Виктория. Потом Бен оглядел лица других знаменитых британцев, украшавших стены Комнаты Послов.

Когда эту комнату отвели для заседаний комитета, Бен обиделся: тут никогда не собирали конференций первого сорта. Но потом он смирился, поняв, что роль его комитета в том и заключается, чтобы без большого шума похоронить невмешательство и превратить его в едва замаскированную помощь франкистам... И все-таки со всем этим оказалось бог знает сколько возни! А виноваты французы — затеяли такую суету. Хотя вот этот Корбэн — вполне достойная личность.

Бен осторожно покосился на французского посла. Корректная фигура старо-французской дипломатической школы. Никакой вертлявости. Вполне, вполне корректен. Хоть и считает себя республиканцем, но в его посольстве никогда не встретишь даже члена палаты общин. А журналистов старина Корбэн боится, как чумы...

Португалец в последний раз, с особенной силой, стукнул себя по манишке и умолк.

— Джентль... — монотонно начал было Бен, но Риббентроп заговорил, прежде чем получил слово. Дурно воспитанный тип! Такого уже не пустишь ко двору. Он способен и там вытянуть лапу и завопить: «Хайль Гитлер!» Новейший тип Джинго немецкой формации. Все в лоб, никаких церемоний.

Бен отвел от Риббентропа глаза. Но голос германского посла был так резок, что от него не было возможности отвлечься. И, конечно, как всегда, полное отрицание очевидных фактов нарушения невмешательства, доказанных на прошлом заседании советским послом. А вот начинаются и обычные выпады Риббентропа: грубость прусского юнкера пополам с развязностью коммивояжера.

Наверное, сейчас вылезет Гранди. Этот будет поддерживать своего немецкого коллегу. Начнет все валить на пропаганду марксистов. Интересно: при слове «марксист» над переносицей Гранди вспухает короткая жилка.

А теперь, конечно, очередь советского посла. Сейчас он с цифрами и фактами в руках докажет, когда и сколько ящиков с немецкими ружьями выгружено в Лиссабоне или миновало португало-испанскую границу; сколько немецких аэропланов проследовало в порт Виго; сколько шведских пушек разгружено в Ла Корунье. Расскажет, сколько немецких солдат высадилось в Кадиксе и какие итальянские части прибыли в Мадрид. В этом крошечном человеке огромный запас энергии! Ну, так и есть: в глазах русского светится злой смех... Дипломатия совершенно новой школы — ничего общего ни с одним из сидящих за столом.

— Мы должны быть благодарны господину итальянскому послу за то, что он располагает столь свежей

информацией с фронта, которой нет даже в газете, — слышится высокий голос русского.

— Новости есть: ваших друзей бьют! — кричит Гранди.

Русский сдержанно улыбнулся:

— Rira bien, qui rira dernier[1], господин посол. Я повторяю: итальянский посол располагает информацией непосредственно от генерала Франко...

Риббентроп издает возглас:

— Р-р-р!

Это звучит, как рычание овчарки. Бен внутренне улыбается.

— Почему у итальянского посла такая точная и такая ранняя информация? — невозмутимо продолжал русский. — Да потому, что связь между итальянским правительством и испанскими мятежниками непосредственна и крепка.

— Пропаганда! — крикнул в бешенстве Риббентроп.

Бен машинально стукнул карандашом по столу.

— ...Великий водораздел нашего времени, — говорит русский, — идет по линии «война — мир».

— Пропаганда! — в этом слове у Риббентропа всегда несколько «р».

Гранди порывисто поднялся:

— Никакая пропаганда не поможет господину советскому послу и его друзьям в Испании. До полной победы генерала Франко ни один итальянский солдат не покинет Испании!

«Ага, попался! — весело подумал Бен. — Сейчас русский в него вцепится».

Действительно.

---

[1] Хорошо смеется тот, кто смеется последним.

— Значит ли это, что итальянское правительство отказывается от вывода своих «волонтеров»? — с живостью спросил советский посол.

Бен вставил монокль и с интересом посмотрел на опешившего Гранди.

— Итальянское правительство не готово к ответу.

Позвольте, ведь это же сказал не Гранди, а Риббентроп. Ага, суфлер! Да, вот теперь Гранди, как попугай, выкрикнул и сам:

— Итальянское правительство не готово к ответу! — и опустился в кресло.

Ну что же, каждый имеет право на своего Флеминга!

Однако почему до сих пор молчит его суфлер-секретарь? Бен покосился на Флеминга. Тот сидел, откинувшись в кресле, и исподлобья смотрел на советского посла. Бену показалось, что он поймал в глазах Флеминга нечто большее, чем простой интерес, — это было сочувствие!

Бен торопливо ухватился за цепочку часов.

— Джентльмены!.. Ленч!..

В перерывах между заседаниями Бен всегда совершал прогулку от министерства к Пэл-Мэл и обратно.

Сегодня, едва войдя в столовую клуба, он сразу заметил Монти.

— Разве ты завтракаешь в это время?

— Иногда, — неопределенно пробормотал Монти. Он не хотел признаться, что его беспокоило поведение Флеминга. Разговор, происходивший при вручении Флемингу чека за рукопись, не удовлетворил Монти: у Флеминга что-то на уме! Рукопись рукописью, а может быть, следует попросту убрать его из комитета?.. Однако нужные слова не приходили на ум. Братья позавтракали почти в полном молчании.

Вместе с сигарой Бену подали телеграмму.

Сначала Монти не обратил было на это внимания, но странное выражение лица старшего брата заставило его насторожиться.

Бен вторично прочел телеграмму от начала до конца и с полуоткрытым ртом уставился на Монти. Монти заерзал на стуле. Он заметил на бланке слово «Мадрид», и неприятная мысль обожгла сознание: скандальное разоблачение какой-нибудь испанской махинации Монти!.. Черт побери, не подложил ли ему свинью Нед?.. Так и есть: губы Бена, словно скованные холодом, неясно произнесли:

— Н-н-нед...

Монти взял телеграмму из пальцев Бена.

Уф, слава богу! Совсем не то... Дель Вайо сообщал о смерти Эдуарда Грили, расстрелянного франкистами.

— Нужно скорее кончать со всем этим! — прошептал Бен.

Монти понял, что мысли брата как раз противоположны его собственным, и не на шутку испугался: в таком настроении Бен и без нашептываний Флеминга может натворить глупостей. Нужно как можно скорее сообщить обо всем Маргрет и убрать Флеминга!

Когда брат ушел, Монти вызвал по телефону Грейт-Корт.

А Бен, не подозревая, что его особа служит предметом оживленного телефонного разговора между Лондоном и Грейт-Кортом, медленно шагал по Пэл-Мэл. Он был так расстроен, что даже забыл раскрыть зонтик. Да, он любил Неда... Бедный мальчик, бедный мальчик!.. Какая гнусность: всюду убийства, кровь, смута. Отвратительное время! В самом деле, они правы: с этим нужно кончать! Но почему Флеминг так смотрел на советского посла?.. Нужно поговорить с секретарем.

Но он так и не поговорил с Флемингом. Зато с Флемингом говорил Монтегю. Он окончательно убедился в том, что никакого толка из затеи с рукописью не выйдет. Этот энтомолог оказался хитрой бестией. Он вообразил, будто Монти действительно намерен печатать его пачкотню о бабочках, но вместе с тем наотрез отказался от какого бы то ни было сговора относительно своих советов Бену. С непроницаемой миной он заявил Монти, что председатель имеет право высказывать собственные мнения и секретарь не может за них отвечать. Даже если бы лорду-председателю вздумалось вдруг высказать сочувствие республиканцам Испании.

Монти сердито стукнул зонтиком в стекло дремавшего на углу шофера такси.

Когда Монти, переодевшись к обеду, спустился вниз, ему доложили, что его спрашивает дама.

— Миссис Фрэнсис Флеминг, сэр.

«К черту! — мелькнуло было в уме Монти. — А впрочем...»

— Просите в кабинет.

Несколько мгновений Монти молча разглядывал гостью. Крупная, загорелая женщина. Ее нельзя было назвать красивой, ее черты не отличались правильностью, но в лице было что-то такое... И глаза глядят на Монти так пристально, словно изучают его.

Монти пододвинул ей кресло, но она продолжала стоять, положив руку на край стола.

— Мистер Флеминг просил меня взять его рукопись.

— Такие дела делают мужчины.

— Мистер Флеминг болен.

— Вот что! — Чтобы дать себе время подумать, Монти отошел к камину и, став к нему спиной, стал греть руки. — Вы имеете в виду... Труд мистера Флеминга?

— Нашу работу «Troides meridionalis».

— Вы... тоже энтомолог?

— Да.

— Вы были с ним на Новой Гвинее?

— Я там родилась.

— Вот что!

Монти, помолчав, сказал:

— Рукопись продана мне.

Миссис Флеминг положила на стол несколько банкнот.

— Вот ваш аванс.

— Рукопись куплена мною и останется у меня.

— Видите ли, мистер Грили, это единственный экземпляр нашей последней работы.

— Тем лучше для меня.

Монти достал из стола рукопись и перекинул несколько страниц с тщательно раскрашенными изображениями бабочек.

— Рукопись принадлежит мне, — повторил он и поднял глаза на женщину, но поспешно перевел их обратно на рисунки, не выдержав ее презрительного взгляда.

— Я принесла деньги и считаю...

— Деньги могут остаться у вас, так как рукопись останется у меня... Впрочем, можете передать вашему мужу: если он хочет найти выход, устраивающий нас обоих, я буду ждать его завтра.

— Мистер Флеминг не захочет с вами встретиться.

— Что вы сказали?

Некоторое время она молча смотрела на него исподлобья, потом решительно сказала:

— Мистер Флеминг не может выходить за круг своих обязанностей.

«Она знает! Только этого не хватало!»

— Рукопись останется у меня, или... или... — он не решился досказать того, что подумал. Он схватил рукопись и швырнул ее в камин. Бумага вспыхнула, прежде чем женщина подбежала к камину.

Взгляд Монти, — он сам растерялся от того, что сделал, — следил еще за тем, как загибались вспыхивающие листы и языки пламени взвивались над рукописью, когда он почувствовал удар по лицу.

Миссис Флеминг тяжелыми шагами вышла из комнаты.

В холле хлопнула дверь. В доме повисло гулкое молчание.

## 24

Настроение Геринга сделалось великолепным по двум причинам. Первой и, пожалуй, наиболее важной причиной было признание жены в том, что она беременна. По существу, это не было даже просто причиной для хорошего расположения духа — это было торжество. Вопрос о продлении рода Герингов стоял теперь, когда глава его достиг высоты власти, совершенно особым образом: это было уже делом государственной важности. Германская элита должна была развиваться и процветать. А уж если будущему Герингу — представителю этой элиты — еще доставалось наследство в несколько десятков миллионов марок, не воспроизвести самого себя?!. Это было бы просто преступлением. Продление себя в сыне представлялось теперь Герингу чем-то само собою разумеющимся. Можно было подумать, будто он забыл то, что всего каких-нибудь полгода назад, перед его бракосочетанием с Эми, сказали врачи: лечение едва ли может дать положительные результаты. Если злоупотребление наркотиками и не

убило в нем способность к воспроизводству рода, то почти с уверенностью можно сказать, что его потомство будет неполноценным. Больше того, врачи прямо сказали: они почти гарантируют его потомкам те самые свойства, которые перечисляются в заготовленных впрок секретных инструкциях правительства об «очищении расы» как основания для уничтожения детей и стерилизации родителей. Не приходилось скрывать: Геринг привык к мысли, что не может иметь детей. Но теперь после столь же неожиданного, сколь радостного признания Эми, все сомнения врачей казались ему сущей чепухой: у него, Германа Геринга, должно быть и будет полноценное потомство, достойное германца и вождя. Прежде всего это будет сын; во-вторых, это будет...

Насвистывая что-то очень бравурное, он бодро шагал по дорожке, улыбаясь мыслям о том, каким родится новый Геринг, каким будет расти, вырастет и станет таким же вождем германцев, как его отец; как его будут обожать немцы за силу, красоту и главным образом за то, что он сын Германа Геринга...

Сын Германа Геринга! Это много значит! Чертовски много! Такому отпрыску элиты будет доступно все. Власть будет принадлежать ему по праву рождения. Власть над миллионами рабов, власть над самими германцами... власть... над... самими фюрерами?..

Эта последняя мысль как бы с осторожностью вошла в сознание, словно вползла между другими, менее опасными, которые можно было высказать вслух. Эта мысль была такой тайной, такой заветной, что, несмотря на ее постоянное существование где-то в глубине черепа, она не так-то часто появлялась на поверхности. Как хроническая болезнь, она давала себя чувствовать при малейших потрясениях. Будь то припадок раздра-

жения или недовольства жизнью, вызванный каким-нибудь поступком фюрера, его словом, отношением к Герингу, — тайная мысль о необходимости стать самому первым из первых всплывала, как нарыв, готовый лопнуть и затмить отравою гнева здравый смысл, осторожность, вылиться в немедленное действие: он или я! Если же шок был, так сказать, положительным, связанным с приятными переживаниями, — как сегодня, — то эта «идея фикс» начинала мерцать, как яркая, но очень далекая звездочка, путь к которой был долог, извилист и таен. Но в конце каждого из этих вариантов, подобно видению, всегда проступали силуэты его собственной внушительной фигуры, заслоняющей все остальное и прежде всего вислозадого выскочку Гитлера, сумевшего взгромоздиться на шею всем. Геринг не скрывал от себя, что Гитлера нельзя отодвинуть на второй план и попросту заслонить собою. Эта возможность была давно упущена — еще тогда, когда он, испугавшись драки и риска, выдвинул вперед этого ефрейторишку. Он должен был тогда сказать дюссельдорфским господам: вот я — тот, кто может выполнить все ваши желания и приказы, может скрутить Германию в бараний рог, не постесняется ничем, решится на все!.. Осел!.. Чего он тогда испугался, что он мог потерять?!. Что теряет тот, у кого ничего нет?.. Теперь, когда он становится одним из богатейших людей Германии, когда в его руках сосредоточивается столько власти, сколько не имеет никто, кроме двух-трех немцев, — теперь другое дело. Теперь нельзя рисковать. Теперь нужно обдумывать каждый шаг, каждое слово взвешивать, отмерять, идти на цыпочках и, если нужно, отступать, и снова вперед без большого шума... Но рано или поздно ефрейтор должен исчезнуть. Если ему некуда будет уйти, кроме могилы, — пусть убирает-

ся туда. Геринг, не колеблясь, поможет ему в этом... Убрать, уничтожить проклятого недоноска!..

Эта мысль жила всегда, хотя и находилась в такой глубине сознания, в таких тайных извилинах мозга, что даже сам Геринг делал вид, будто ничего о ней не знает...

Итак, очистить путь для будущего Геринга! Для этого нужно самому стать первым в Германии. Так и будет: он станет «наци № 1». Рано или поздно!..

Это прекрасно, замечательно: Эми беременна!

— Просто... великолепно... — напевает вполголоса Геринг, шагая в такт ритму импровизированного мотива.

Он идет к Охотничьему павильону, чтобы посмотреть, как там ставят скульптуру вместо той, которую он в прошлый приезд забраковал.

Доклад архитектора о том, что все работы по отделке Кариненхалле приходят к концу — это и есть вторая причина его хорошего настроения сегодня. В этом замке каждый камень, каждый извив лепки и резьбы соответствует его вкусу. Все массивно, все грандиозно и тяжело, как должно быть в жилище настоящего тевтона. Каждый шаг по этому замку, по его роскошному парку должен внушать посетителю уважение к хозяину и подавлять своим мрачным величием.

Охотничий павильон, пожалуй, одно из самых любимых его мест действительно великолепного, обширного, как лес, парка. Если бы не настояния архитекторов, боявшихся за стилистические особенности домика, Геринг заставил бы пустить тут побольше позолоты. Но в общем, ничего. И так никто не примет этот домик за хижину нищего. Одна резьба потолка, выполненная руками самых искусных мастеров, согнанных изо всех концлагерей Германии, — подлинный шедевр... Ха-ха! Тот старик, свалившийся с подмостков при виде входя-

щего хозяина и сломавший себе правую руку, его тогда ужасно рассмешил...

В комнатах пахло лаком свежеотделанного дерева. Паркет «рыцарской комнаты» для вечерних бесед, представляющий собою панно — охоту древних германцев, выполненное из деревянной мозаики, был так чист, что даже Геринг остановился на пороге, не решаясь ступить на нежную розовость тиса, передающую отсвет утренней зари, встающей над темной гущей леса. «Когда-нибудь, — подумал он, — посетители будут надевать войлочные туфли при входе туда, где проводил вечерний досуг "наш добрый толстый Герман"».

Осторожное покашливание за спиной прервало его приятные мысли.

— Что нужно?

— Рейхсминистр господин Геббельс ищет вас по неотложному делу, — почтительно доложил адъютант.

— Вечно у него неотложные дела! — проворчал Геринг и, сразу забыв о том, что под его ногами — произведение искусства, топоча, как обычно, миновал «рыцарскую» и вошел в рабочий кабинет, занимавший весь угол Охотничьего домика. Адъютант осторожно затворил за ним дверь, оставшись вне кабинета. Геринг взял трубку телефона.

По мере того как он слушал Геббельса, брови его все ближе сходились над переносицей и выражение глаз становилось мрачнее.

— Сегодняшняя сводка британской прессы говорит, что в Англии существует убеждение о серьезных разногласиях в нашем руководстве, — говорил Геббельс. — Там прямо называют «непримиримых врагов фюрера» по именам.

— Какое мне дело до мнения этих дураков, — мрачно рявкнул Геринг. — Пошлите их к черту!

— Если бы это было так просто, мой дорогой, — насмешливо проговорил Геббельс. — Ведь первым в списке врагов нашего дорогого фюрера идет «наци № 2»...

Геринг не видел лица Геббельса, но был готов поклясться, что при этих словах его красная морда перекосилась в злорадной гримасе, которую хромоножка пытается выдавать за улыбку. И уж наверняка эта гадина сообщила все Гитлеру или ждет, что ответит Геринг, и тогда сообщит все сразу в надежде, что Геринг растеряется от этого известия, замнется, может быть, даже перепугается... Но черта с два! Геринг не доставит такой радости господину министру пропаганды!

Уверенным тоном он заявляет, что к вечеру редакция «Фелькишер беобахтер» получит его статью — она явится ответом на инсинуации зарубежных шавок.

Он тотчас же вызвал стенографа и тут же, не выходя из Охотничьего домика, принялся диктовать статью.

Тема!.. Она не имела, на его взгляд, большого значения. Нужно было только вставить в текст как можно больше фраз, могущих убедить Гитлера в том, что ни в ком он не имеет такого преданного друга и слугу, как в Геринге. Нужно польстить фюреру, но вместе с тем и дать ему понять, что в руках Геринга сосредоточена реальная сила, с которой он никому не позволит наступать себе на ноги — будь то даже сам фюрер... Да, именно так: даже сам фюрер!

Произнося некоторые из фраз, казавшихся ему особенно важными, Геринг останавливался за спиной стенографа и подтверждал силу своих слов ударами мясистого кулака по воздуху:

— «...В настоящее время я еще раз перестроил управление государственной тайной полицией и подчинил его непосредственно себе...» — Он сделал небольшую паузу, чтобы спросить себя: достаточно ли

внушительно это звучит — «непосредственно себе»?.. Как будто всякому должно быть понятно, что означает полиция в его руках... Итак, дальше: «Через сеть периферийных отделений, объединенных в Центр, в Берлине, я ежедневно, можно сказать, почти ежечасно, осведомлен обо всем, что происходит в Пруссии. Каждая нора коммунистов, вплоть до самой последней, известна мне. И они могут сколько угодно менять свою тактику, переименовывать своих связистов, — не проходит и нескольких дней, как они снова обнаружены, зарегистрированы, взяты под наблюдение, изъяты. Против этих врагов государства необходимо действовать с полной беспощадностью, столь же беспощадно нужно действовать против их агитаторов и самих вожаков. Для этого и возникли концентрационные лагеря, в которые мы должны были водворить тысячи работников аппарата коммунистической партии. Разумеется, кое-где страдают и невинные; разумеется, кое-где кое-кого и били, кое-где применялись и суровые меры, но ведь сильные государства всегда ковались при помощи железа. В таком деле железо важнее масла. От масла люди только толстеют. Мы, немцы, или покупали масло и обходились без свободы, или добивались свободы и обходились без масла. Мы, по воле фюрера, решаем вопрос в пользу железа, а не масла. Вы, германцы, должны гордиться таким решением вашего фюрера...» Он подумал, переделал слово «вашего» на слово «нашего». «Смотрите на меня!» — воскликнул он, и стенограф в испуге обернулся, но Геринг притопнул ногой и, сдвинув брови, продолжал: «Бесчисленные чины и почести выпали на мою долю, но ни один чин и ни одно отличие не могло в такой степени наполнить меня гордостью, как то прозвище, которое дал мне немецкий народ: “самый верный паладин моего фюрера”. Чего

хочет фюрер, того хочу и я. Что думает фюрер, то хотел бы думать и я. Свои дела я бросаю к его ногам. И если это будет нужно, то и головы врагов я сложу на его пути, чтобы он мог по ним прийти к своей конечной цели...» — Тут он велел стенографу перечесть ему последние слова. — Так... кажется, в порядке: фюрер не уловит тут намека на свою собственную голову, которую Геринг рано или поздно бросит к его ногам. Можно дальше: «Мы любим Адольфа Гитлера, потому что верим твердо и непоколебимо: он ниспослан нам Богом, чтобы спасти нас и Германию... Как найти слова для его дел? Был ли смертный когда-нибудь так любим, как он, наш фюрер? Была ли хоть одна вера так сильна, как наша вера в его миссию? Да, мой фюрер, Бог послал вас нам, сам Бог!.. То, чем я являюсь, — я являюсь только благодаря фюреру, то, чем я стану, я хочу стать только по воле Адольфа Гитлера!..»

Геринг на минуту умолк и сказал задумчиво:

— Пожалуй, на этом можно и кончить, а?

Он прослушал стенограмму и остался доволен. Может быть, тут нужно еще кое-что подправить, чтобы сделать статью несколько более глубокомысленной, а то все слишком крикливо, но это уж должен сделать сам Геббельс... А впрочем, на хромоножку надежда плоха. Там, где речь идет о Геринге, этот тип готов только вредить, а не помогать. Чего доброго, он еще вставит какую-нибудь скользкую фразу, из-за которой Адольф поднимет немыслимый крик... Кроне! Вот кто просмотрит статью и вставит в нее что-нибудь этакое... — Геринг прищелкнул пальцами: — Такое, чтобы все воскликнули: «О, этот Герман! Вот она — наша главная голова!..» Кстати, почему Кроне до сих пор нет? Ведь он был приглашен сегодня к обеду, чтобы полюбоваться замком...

Оказалось, что Кроне уже приехал и ожидает хозяина. Обед прошел весело. Геринг с трудом удерживался от того, чтобы не поделиться с гостем висевшей на кончике языка новостью: «Эми беременна!..»

После обеда они уединились, и Кроне перечитал статью. Он посоветовал вставить несколько фраз. Это, как и надеялся Геринг, были именно те фразы, которые заставят немцев покачивать головами: «Ого! Здорово посажена голова у нашего Германа».

Сегодня все: семейная радость, окончание работ в замке, удачная статья и, наконец, присланная в подарок виноделом партия великолепных вин — решительно все настраивало на самый приятный лад. Послеобеденная беседа с Кроне протекала в непринужденном тоне. Эта атмосфера благодушия, порождаемая успехом и уверенностью в себе самом и в своем будущем, не была нарушена даже напоминанием адъютанта о том, что Геринг приказал напомнить себе о папке, присланной Гиммлером.

— Ну что ж, папка так папка, — с необычной покорностью сказал он. — Давайте ее сюда, — и принялся лениво перелистывать страницы голубоватой, отделанной под полотно бумаги.

Кроне рассеянно курил, вытянувшись в низком кресле, и, блаженно зажмурив глаза, пускал точные, ровные кольца. Когда два или три кольца, плавно колыхаясь и меняя форму, поднимались над его головой, он точной, стремительной струйкой дыма пронзал их. Постепенно число колец увеличивалось: четыре, пять... Вот только никак не удавалось пронзить сразу шесть колец...

Смех Геринга оторвал Кроне от созерцания расходящихся голубоватых кругов. Министр смеялся так, словно на голубоватой поверхности шелковистой бумаги были написаны его любимые скабрезные анекдоты.

— Вот хитрец! — воскликнул он, щелкнув пальцем по странице. — Этот Гиммлер — негодяй! — продолжал он с удовольствием. — Он вовсе не обязан присылать мне на согласование такие вещи. Это его компетенция, но он хочет быть чистеньким, если кто-нибудь докопается до этих секретнейших штук. Пусть тогда всех собак вешают на толстую шею Геринга! Хо-хо!..

Кроне не задал никакого вопроса, хотя и не понимал пока, о чем идет речь. Он достаточно знал Геринга, чтобы быть уверенным: раз тот заговорил в таком тоне, то непременно откроет и причину своего веселья, будь она архисекретна. И действительно, прочитав еще несколько страниц, Геринг перебросил папку через стол прямо на колени Кроне.

— Полюбуйтесь-ка! Больше всего мне нравятся здесь два параграфа: наставление, как варить мыло, и указания о допросе третьей степени. Прежде всего, я не понимаю, почему из этого нужно делать такой дьявольский секрет? Что касается строгих допросов, то уж раз они называются «строгими» — какого черта стесняться?! Нужно уметь брать на себя ответственность. Это не в моей манере: прятаться за спину исполнителей. Я с самого начала объявил во всеуслышание: я беру на себя ответственность за каждую каплю крови, за каждого убитого коммуниста или еврея, даже за каждого случайно и невинно избитого немца...

— А за каждого убитого по ошибке? — словно невзначай спросил Кроне.

— Какая же разница: побитый или убитый?! — с неподдельным удивлением спросил Геринг. — Важно то, что отвечаю я, а не тот, кто убивает или бьет. Ведь если бы «метр де Пари» должен был гильотинировать на собственный риск — не было бы французской революции. Даже чернь в трезвом виде боится крови, если

за эту кровь нужно впоследствии отвечать. Следователь тайной полиции должен быть уверен, что подследственный, умерший на допросе, будет записан ему в актив, а не станет поводом для выговора или наказания. Арестованный, выпущенный на свободу, — вот настоящий брак в работе карательных инстанций. Слюнтяи болтают, будто задача следствия — найти правду. А я утверждаю: ежели уж мы заграбастали человека — он не должен вылезти из наших рук. Топор или лагерь — вот единственное решение для тех, кто однажды попал к нам. А Гиммлер, видите ли, хочет, чтобы кто-то другой решал, нес ответственность, проводил строгие допросы и стрелял в затылок. Он боится ответственности. Как будто народ так или иначе не будет знать, что каждая пуля, пущенная арестованному, пущена рукою Гиммлера. Что касается меня, то я так говорил: «Каждая из этих пуль моя, ребята. Не бойтесь ни Бога, ни людей. Перед судом Всевышнего предстану я, мы с вами сговоримся»... А суд людей?.. Им до меня никогда не дотянуться. Руки коротки у людей.

— Возможно, что рейхсфюрер, — осторожно проговорил Кронс, — проявляет такую осторожность потому, что предложенные тут инструкции спроектированы для военного времени, то есть предусматривают не немцев, а иностранных подданных, пленных. Его, может быть, смущает то, что эти мероприятия идут вразрез с современными понятиями международного права, современных правил ведения войны.

— Ах, бросьте Кроне! — отмахнулся Геринг. — Он так же плюет на все эти правила, как я, как фюрер, как любой из нас. Гиммлер просто трус.

— Чего же ему бояться?

— Он мелкий клерк, конторщик! — с презрением произнес Геринг. — У него нет широты, нужной по-

литическому деятелю нашего калибра. Мы должны стоять выше условностей. Если германская нация несет расходы на убийство врагов, то она имеет право покрыть эти расходы. Для этого нужно варить мыло из убитых? Будем варить. Нужно приготовлять удобрения из костной муки? Значит, будем перемалывать кости русских, французов, чехов — всех, кто стоит на историческом пути германцев.

— А они? Ведь французы, русские, чехи тоже могут варить мыло из немецких трупов и перемалывать кости на удобрения?

Геринг вскочил с места и угрожающе придвинулся к Кроне:

— Вы издеваетесь надо мной?! Кто посмеет поднять руку на германца?..

— Тот, на кого поднимем руку мы.

— На меня?

— И даже, может быть, захотят приготовить из вас несколько килограммов мыла повышенной жирности... — невозмутимо издевался Кроне.

— Вы совсем сошли с ума! — крикнул Геринг. Он хотел сказать еще что-то, но замялся, не находя слов, и, махнув рукой, отошел в другой конец комнаты. Оттуда он еще раз удивленно посмотрел на Кроне. — Вы все это серьезно?

На этот раз хохотом разразился Кроне.

Глядя на него, начал улыбаться и Геринг.

Потом они дружно расхохотались вместе.

Когда этот пароксизм веселья, вызванного шуткой Кроне, прошел, они принялись внимательно, пункт за пунктом, рассматривать секретную инструкцию Гиммлера. На чистых, как весеннее небо, голубых полях страниц Геринг писал замечания и поправки, подсказываемые ему Кроне. Так, они посоветовали Гиммлеру

отменить необходимость испрашивать разрешение центрального управления безопасности на каждый допрос третьей степени; посоветовали поручить экспертам разработать специальный план использования отходов уничтожаемого населения завоеванных территорий: не должны пропадать не только жир и кости, но волосы и золотые коронки, обувь и платье.

— И если уж быть последовательным, — глубокомысленно заявил Кроне, — то почему должна пропадать кожа чехов или французов. Мы же делаем бумажники из свиной кожи и перчатки из лайки? Почему немецкие женщины не должны получить портмоне из кожи чешки или перчатки из кожи русской женщины? Русский сафьян всегда считался у нас товаром «экстра», так пусть он уступит место человеческой коже...

Геринг слушал внимательно и согласно кивал головой.

— Вы молодчина, Кроне. У вас золотая голова. Я еще, видно, не знал ваших способностей. Вы отличный хозяин. Нам остается подумать о том, должны ли все эти мероприятия оставаться такими секретными, как хочет Гиммлер, или пора действительно наплевать на международные рогатки, поставленные на пути здравого смысла тевтонов. Не должны ли мы уже теперь, в предвидении битв и расцвета нашей государственности и хозяйства, начать приучать немцев к новому пониманию морали: что, в самом деле, предосудительного в том, что перчатки сделаны не из той кожи, что обычно? Или станет ли хуже диван от того, что мы набьем его не конским волосом, который нужно покупать за тридевять земель на золото, а волосами славянских рабынь?.. Вы правы, Кроне, тысячу раз правы, как всегда!.. Я должен доложить о вас фюреру. О ваших способностях и вашей преданности нашему делу...

Кроне предостерегающе поднял руку.

— Ни в коем случае, если хорошо ко мне относитесь!

— Чего вы испугались?

— Иметь возможность служить вам, одному вам. — Кроне не опустил глаз под испытующим взглядом Геринга. — Это все, чего я хочу от жизни!.. Вот так же, как вы сами только что написали в своей прекрасной статье: «То, чем я стану, я хочу стать благодаря Герингу и только благодаря ему»!

Геринг тяжелыми шагами обошел стол и приблизился к собеседнику. Его тяжелые руки легли на плечи Кроне. Взгляд продолжал искать взгляд Кроне.

— Вы мне нужны... — проговорил он. — И вы никогда не раскаетесь в том, что сказали. — Он тряхнул Кроне за плечи и, отойдя, задумался перед темным окном. За фигурными цветными стеклами, изображавшими Лорелею над рекой, не было ничего видно, но Геринг смотрел так, словно искал за ними ответа на мелькнувший неожиданно в мозгу вопрос: «Так, как вы только что написали в своей статье», сказал Кроне, «а что если его преданность мне именно такова, как моя Гитлеру?..»

Он быстро обернулся, словно рассчитывая поймать на лице Кроне что-то, что выдаст ему истину. Но тот сидел все такой же спокойный, с таким же холодным, ничего не говорящим взглядом серых глаз.

Раздался стук в дверь, и, не ожидая разрешения, в комнату вошла пышная блондинка с красивым лицом — Эми Геринг. Радостная улыбка раздвинула еще шире и без того расплывшиеся от жира черты Геринга. Протянув обе руки, он пошел навстречу жене и, осторожно обняв, поцеловал ее в лоб. Потом, с живостью обернувшись к Кроне, воскликнул:

— Я верю тому, что вы преданы мне, Кроне, и хочу открыть вам мою большую радость, но пока — это наш секрет...

— Герман! — смущенно воскликнула Эми и, опустив глаза, закрыла мужу рот пухлой ладонью.

## 25

Хотя Гаусс не был моряком и не занимал здесь никакого официального положения, он все же оставался генерал-полковником. Его присутствие не могло не стеснять офицеров и командира линейного корабля «Дейчланд». Было вполне естественно, что командир втайне желал поскорее ссадить этого угрюмого пассажира на берег и вернуться в испанские воды.

Гаусс сидел в шезлонге на юте и наслаждался одиночеством. Погода благоприятствовала переходу, и путешествие больше походило на поездку на курорт, чем на возвращение из военной экспедиции.

Раскрытая книга лежала на коленях Гаусса. Не читалось. Достаточно было смотреть на воду, убегающую из-под кормы двумя расходящимися пенными косицами; на поразительно глубокое и не по-немецки синее небо; на темный силуэт испанского берега, в виду которого поднимался к северу «Дейчланд», как всегда сопровождаемый эсминцами.

Отто сидел в пяти шагах от генерала, чтобы быть у него на виду, но ничем не напоминать о своем присутствии.

На баке послышалась трель боцманских дудок. Забегали матросы. С орудий снимали чехлы.

Гаусс не вмешивался в дела корабля. Командир ценил это и сам являлся доложить новости. Так было и на этот раз.

— Красный миноносец пытается досмотреть транспорт.

— Чей транспорт?

— Хм... Он несет греческий флаг.

К командиру подошел флаг-офицер:

— Миноносец вызывает по радио береговую авиацию.

— А-а... — Гаусс побарабанил пальцами по ручке шезлонга. — И что же?

Командир корабля притронулся к козырьку фуражки:

— Если вашему превосходительству угодно наблюдать «спектакль», — попрошу в боевую рубку.

Гаусс молча кивнул головой и последовал за командиром. Через две минуты одно из орудий левого борта — «сто пятьдесят», определил Гаусс, — сделало выстрел. Снаряд взметнул столб воды на курсе миноносца. Гаусс отлично видел в бинокль, этот пенный султан. Через полминуты последовал второй снаряд. Миноносец изменил курс. Тем временем преследуемый им транспорт на всех парах мчался к «Дейчланду». Броненосец тоже изменил курс и прибавил оборотов, чтобы поскорее оказаться между транспортом и миноносцем. Теперь Гаусс понял, зачем миноносец вызвал авиацию: по-видимому, его командир не был новичком в такой игре и знал, что немец не даст досмотреть транспорт, успевший тем временем без зазрения совести переменить греческий флаг на итальянский.

Отто показал Гауссу на две быстро увеличивающиеся точки в небе: самолеты стремительно приближались от берега. Вскоре они были над транспортом и сбросили по его курсу первую бомбу. Это было требование остановиться. Неужели республиканский миноносец решится досматривать транспорт на виду у немецких

военных кораблей? Но почти тотчас Гаусс вздрогнул от неожиданного удара — затрещали зенитки «Дейчланда». Все небо между линкором и транспортом покрылось рваными хлопьями черных дымков.

Один из самолетов закачался, метнулся на крыло и, оставляя за собою длинный шлейф густого черного дыма, с крутым снижением пошел к берегу.

Но второй самолет не уходил. Он снизился к транспорту. Генерал не мог бы сказать, что произошло дальше: страшный толчок воздуха, казалось, столкнул с курса даже махину «Дейчланда». На месте транспорта осталось только море огня, извергающего к небу обильные клубы черного дыма.

Республиканский миноносец, как веретено, буравя воду, стремительно уходил на юг. К Гауссу подошел командир корабля.

— А второй-то самолет все-таки удрал! — сказал Гаусс. — Наверное, на свой аэродром?

— Полагаю.

Гаусс смерил взглядом расстояние до берега, где виднелись белые постройки городка.

— Мне кажется, что аэродром расположен там?

— Совершенно верно.

— Расстояние не так велико... — Гаусс пожевал губами. — Я плохо разбираюсь в морских делах, а будь это на суше...

Командир оживился:

— Вы полагаете... м-м... Город заслоняет аэродром?

— Заслоняет? — Гаусс навел бинокль на группу сверкающих на солнце белизною домов. — Хм... Вы говорите, заслоняет?

— Точно так, — не понимая, к чему клонит генерал, ответил командир.

— Хм... какие-то жалкие домишки — и вдруг «заслоняют»!.. Могли бы и не заслонять...

Он опустил бинокль и, усмехаясь только тонкими губами, проговорил:

— Мы на суше не придаем значения таким пустякам...

Моряк понимающе рассмеялся и отдал команду об открытии огня.

Пока выполнялось приказание, он сказал Гауссу:

— Прежде всего, мы уничтожим эту маску, прикрывающую аэродром, чтобы она не мешала вам наблюдать...

Он еще не успел договорить, как Гауссу пришлось с болезненной гримасой прижать руки к животу, чтобы унять в нем сосущую боль, возникшую от залпа орудий главного калибра.

Над городом почти мгновенно вместе с черными столбами поднятой разрывами земли появилось пламя пожаров. Оно было отчетливо видно простым глазом, несмотря на яркий солнечный день. Гаусс, не отрывая глаз от бинокля, любовался внушительной картиной. Городок давно перестал блистать на солнце белизною своих домов. Огромное облако дыма и пыли скрыло его от взоров Гаусса. Ему надоело смотреть, и он отдал бинокль Отто. Барабанные перепонки болезненно реагировали на каждый выстрел. Он уже подумывал, не попросить ли командира корабля прекратить огонь, но тот и сам уже догадался скомандовать башенной артиллерии отбой, так как видел, что генерал страдает от звуков канонады. Дело уничтожения городка могли довести до конца орудия меньших калибров.

Гаусс еще раз, больше из желания доставить удовольствие улыбающемуся и оживленно болтающему со своими офицерами командиру, чем из собственного любопыт-

ства, навел бинокль на то место, где недавно уютно белел опоясанный садами городок. Не было больше ни городка, ни садов. Над беспорядочными серыми контурами, следом за ударами пушек, взлетали тучи земли и кружились в неподвижном воздухе ленивые клубы дыма.

Продолжая улыбаться от удовольствия, командир корабля подошел к Гауссу:

— Разрешите просить к столу?

— Что же, к столу — так к столу! — В тон ему весело ответил Гаусс, довольный тем, что кончился несносный шум стрельбы, и что эта маленькая встряска возбудила у него аппетит, какого он уже давно не испытывал.

## 26

Взятие Бриуэги прошло гораздо легче, чем предполагал генерал Матраи. Ее судьба решалась занятием окружающих высот, и итальянцы, продолжавшие откатываться вдоль Валенсийского шоссе, очистили Бриуэгу почти без сопротивления. В местечке осталось даже немало целых стекол, не говоря уже о домах. А каково было ликование жителей, когда они увидели наконец людей в синих комбинезонах!

Вторые сутки, пока отдыхала бригада, Матраи ходил, как именинник: в победе республиканцев под Гвадалахарой Интернациональная бригада сыграла не последнюю роль. Генералу редко доводилось отдыхать, но зато, освободившись от дел, он даже танцевал. И как танцевал!

— Все-таки ты врешь, Тибор! — сказал ему один подвыпивший старый крестьянин. — Ты родился в Испании.

— Нет, я мадьяр, самый настоящий мадьяр! — со смехом воскликнул Матраи.

— Как же ты можешь тогда так танцевать?.. Клянусь Иисусом, в тебе не меньше огня, чем в испанце!

— Это большая похвала, старина, однако ты ошибаешься, если думаешь, что в жилах венгров течет вода.

Старик почесал затылок, совершенно так же, как это делали диды в Беликах. Глядя на него, Матраи расхохотался еще веселее. Но старик, словно обрадовавшись новому доводу, остановил его:

— И все-таки врешь...

— Может быть, ты не веришь, что в ком-нибудь, кроме испанцев, течет настоящая кровь?

— О нет, Тибор... Разве мы не видели, как льется кровь кругом?.. Подлая кровь разбойников-итальянцев и благородная кровь наших солдат. Нет, нет! Я о другом...

— Ну, ну! Смелей!

— Скажи-ка правду: ведь ты не генерал?

Матраи схватил старика за плечи и увлек его в таком стремительном танце, что у того голова пошла кругом.

— Пор диос! Так не пляшут даже в Испании!..

Крестьянин, обессиленный, опустился на скамью и восхищенными глазами следил за Матраи. Вот это генерал! Первый генерал, который разговаривал с ними, пил из одного стакана и, уж, конечно, первый и последний, который не велел величать себя доном. Необыкновенный генерал! Даже не верилось, что такие бывают.

Крестьяне глядели на Матраи горящими от восторга глазами. Старики подходили к нему с просьбой отведать из их порона. И подумать только: он ни разу не отказался — запрокидывал голову, и струя била ему прямо в рот. И ни капли мимо, честное слово! Поищи второго такого не испанца!

А потом, когда бриуэгцы спели свои песни, Матраи тоже запел. Он пел родные венгерские песни. В них

и вправду было ничуть не меньше хмеля, чем в испанских. Иисус и Мария! Что это были за прекрасные песни!

— Слушай... — сказал старик, расхрабрившись. — Вот говорит народ, солдаты твои говорят, будто... ты из Москвы.

— Да.

— И будто ты жил там долго.

— Да.

— А ведь я им не верил!

— Разве они тебя в чем-нибудь обманули?

Старик испуганно замахал руками:

— Твои солдаты?.. Матерь божья!.. По всему выходит, — подумав, сказал старик, — что русские знают о нас.

— Знают?.. Они даже песни о вас слагают!

Генерал взял из рук юноши гитару и протянул ее Варге:

— Ну-ка, Бела!

И запел под аккомпанемент Варги:

Далеко от Москвы до Мадрида,
Но сильней и сильней каждый час
Плач испанских детей, как обида,
Отзывается в сердце у нас...

Когда он кончил, никто не захлопал. Крестьяне молча смотрели на генерала, пока кто-то переводил слова песни на испанский язык.

— Значит... знают, — сказал наконец старик.

Матраи обнял старика за плечи.

— Как ты похож на наших полтавских дидов, старик!

— Полта...

— Полтавщина... Есть такая советская страна Украина. Вроде вашей Андалузии. Такая же зеленая и прекрасная, такая же солнечная и плодородная. И с таким же замечательным — храбрым, честным, трудолюбивым — народом.

— Постой-ка, ты сейчас сказал: у нас на...

— На Полтавщине.

— Вот-вот! А то говорил, будто ты мадьяр.

— Правильно, диду! И Венгрия моя, и Полтавщина — моя. Две родины у меня — обе любимые и дорогие. За обе эти родины мы с тобой и выпьем!

И Матраи сам подхватил порон и поднес по очереди каждому гостю.

Утром генерала увидели на коне. Он объехал лагеря бригады, чтобы удостовериться, что она хорошо отдыхает, и успел побывать в тылу, чтобы взять свою почту. Письма он прочел наедине. Прочел — и долго сидел, задумавшись. Писем было два: покороче — от дочки, длинное — от жены.

Под вечер, когда начальник его штаба, молчаливый Людвиг Энкель, закончив дела, уселся писать свой аккуратный немецкий дневник, Матраи взял свечу и ушел в дальний угол. Там он пристроил на столе блокнот, а сам сел на ящик из-под патронов. И тоже стал писать.

Матраи хотел побыть несколько минут просто человеком — мужем и отцом. Всего полчаса за два месяца, ведь наутро снова в поход...

*«...и как я вам благодарен за то, что вы улыбались при прощании. Такими я вас вижу и буду видеть до конца, каков бы он ни был. Как прекрасно, что в моем тылу так хорошо! Еще бы, мой тыл — вы. Я горжусь вами обеими — вы настоящие. Такими и должны быть жена и дочь коммуниста.*

*...Здесь часто приходится "переступать через собственное сердце", но я убежден, что жертвы, которые мы приносим за дело этого народа, дадут чудные плоды. Здесь наша родина очень популярна. Которая? Конечно, великая и прекрасная, которая меня так великодушно усыновила».*

Перо Матраи остановилось: вошли два солдата с большим бочонком вина и поставили его на табурет. Матраи досадливо покосился: он не умел писать на людях ни романов, ни писем. Это происходило от смущения и неуверенности в себе, хотя он и казался всем железным человеком.

Солдаты потоптались и вышли. Матраи покусал конец ручки.

*«...Сейчас мне напомнили: сегодня день моего рождения. Наверное, я случайно назвал эту дату кому-нибудь из офицеров, — если б ты знала, что это за удивительный народ! — и вот готовится целый праздник. Они хотят пить за мое здоровье. Какие удивительные друзья! Подумай, в какой обстановке они об этом не забыли. Значит, сегодня поднимем бокалы. Первый, конечно, за тебя, моя светлая, второй за нашу девчурку и, может быть, третий за меня, новорожденного, которому, конечно, придется "агукать", — новорожденный есть новорожденный. Смешно и приятно до слез... А знаешь, ведь я все прошлое вижу через наши Белики. Полтавщина для меня все-таки лучшее место... Ах, кстати, ты спрашиваешь, где наша паевая книжка РЖСКТ? Посмотри в верхнем левом ящике письменного стола, непременно там. Смотри, не потеряй ее — она еще станет для меня актуальным вопросом, как только вернусь...»*

Ему так ясно представился письменный стол, квартира, Москва... Он зажмурился и отложил письмо. Взял другой листок:

*«Дорогая моя доченька!*
*Прежде всего о выборе профессии, который тебя так беспокоит...»*

Перо бежало легко, и на губах играла ласковая усмешка.

Последние две строчки написались не так, как хотелось Матраи, присутствие людей мешало ему: комната стала наполняться командирами, собиравшимися, чтобы отпраздновать день его рождения.

## 27

Сидя за рулем, Кеш перебирал в уме события последних дней. Не было ничего удивительного в том, что именно теперь Зеегер напомнил ему о себе. Поражение итальянцев под Гвадалахарой заставило заволноваться всех, кто делал ставку на испанский фашизм. Кеш не видел ничего удивительного и в характере полученного им задания: убить генерала Матраи.

Стрелка часов, мягко светившихся на приборной доске автомобиля, подходила к одиннадцати. Не опоздать бы к условленному часу! Кеш нажал акселератор. Вскоре с дороги, вьющейся по склону горы, стали видны силуэты домов и церкви Бриуэги. Кеш сбросил газ на повороте и придержал машину: последний поворот к деревне. Патруль остановил автомобиль.

Кеш предъявил пропуск и спросил, где дом генерала.

Через несколько минут он вошел в комнату с чемоданом в руке. При виде его Матраи удивленно спросил:

— По какому случаю ты сегодня с таким багажом?

— Видишь ли... — Кеш снял очки и старательно протер толстые стекла. — Видишь ли: целую неделю я нигде не могу приткнуться, чтобы проявить кучу нащелканной пленки.

— Так что же, у тебя там лаборатория, что ли?

— Все, что нужно!

Кеш принялся распаковывать чемодан и достал красный фонарь и целую груду пленок.

— Сначала ты выпьешь с нами, — решительно сказал Матраи. — Сегодня мы дали волю воспоминаниям. Мечтаем о своих вторых профессиях. Даже я, как старый павлин, распушил свой пестрый писательский хвост: мечтаю о том, какой роман напишу после войны...

Но Кеш стал собирать свои фотографические принадлежности.

— Брось все это, — Матраи почти силой вернул его к столу. — Еще стакан, друзья! За большой успех!

Кеш снова пристально взглянул на него:

— Непременно за большой?

— Непременно.

— А по мне — после стольких месяцев поражений хоть бы какой-нибудь...

— У нас не было ни одного поражения! — горячо воскликнул Матраи.

— А все отходы, отступления?

— А кто тебе сказал, что отступление — непременно поражение?

— Так говорит азбука военного дела. На войне движение назад — поражение, вперед — победа.

— Узко и... не очень грамотно, — безжалостно отрезал Матраи.

— Хочешь скрыться за какой-нибудь софизм?

Только те, кто близко знал Матраи, могли заметить, какой огонек вспыхнул в его глазах, но ничем другим он не выдал своего раздражения.

— Мы не признаем шор, мешающих нам самим своими глазами смотреть на мир и понимать события так, как мы их понимаем.

— Браво, Матраи! — крикнул Зинн.

— Отступление подчас — путь к победе, — сказал Матраи.

— К примеру?

Матраи на минуту задумался.

— ...Кутузов.

— Фью! — насмешливо свистнул Кеш.

— Напрасно так думаешь. Более богатой школы, чем история, мы не имеем.

— Я не такой знаток военной истории, чтобы сразу тебя опровергнуть, но думаю...

— То, что говорит генерал, опровергнуть нельзя, — послышался вдруг сухой, размеренный голос Энкеля. — Это истина. So!

Зинн с удивлением смотрел на Энкеля: от этого штабиста трудно было ожидать такого поворота от традиционной немецкой догмы: «Побеждает тот, кто наступает».

Но оказалось, что Энкель сказал еще не все, что хотел.

— Что касается именно нас, офицеров революционных армий, то, кроме опыта военной истории, который изучают буржуазные военные, нас должен интересовать, — он наставительно поднял палец и строго взглянул на Кеша: — должен особенно интересовать опыт гражданской войны.

— В ней меньше всего сказывается искусство военных профессионалов, — возразил Кеш.

— Но больше всего гений народа! — сказал Матраи. — Творческий гений, помноженный на непреклонную волю к победе.

— So, — проговорил Энкель и, распнуровав свою тщательно завязанную папку, перелистал тетрадь. — Я должен напомнить замечательные слова: школа гражданской войны не проходит для народов даром. Это — тяжелая школа, и полный курс ее неизбежно содержит в себе победы контрреволюции, разгул озлобленных реакционеров, дикие расправы старой власти над мятежниками и т.д. Но только отъявленные педанты и выжившие из ума мумии могут плакаться по поводу поступления народов в эту мучительную школу; эта школа учит угнетенные классы ведению гражданской войны, учит победоносной революции... — и он еще строже посмотрел на Кеша.

— Забыть это — значит испугаться первого отступления, — сказал Матраи. — Верно, Людвиг? А мы их не боимся... Отступать сегодня, чтобы завтра обратить противника в бегство, — в этом больше смысла, чем очертя голову нестись вперед сегодня, чтобы завтра бежать. Должен сознаться, что сейчас, когда Людвиг напомнил нам эти ленинские слова, кое-что представляется мне совсем в ином свете. Пребыванию здесь нас, горстки иностранных добровольцев, я придавал больше значение моральное, как знаку международной солидарности трудового человечества, чем значение реальной военной силы. Но ведь если вдуматься: добровольцы-интернационалисты — люди с наиболее богатым боевым прошлым среди сотен тысяч испанцев, впервые взявших в руки оружие, — значит, наши добровольцы для них — не просто надежные солдаты, а и более опытные боевые друзья. А для самих интернационалистов те несколько человек, за плечами которых

опыт Гражданской войны в России, тоже не просто еще несколько революционных солдат — это же учителя. Вот почему мы и должны иногда учить.

— Хватит, — недружелюбно пробормотал Кеш. — Я приехал сюда не для исторических изысканий и теоретических дискуссий. Мне нужны картинки для газеты. Истина пусть подремлет до более благоприятной обстановки.

— Ой-ой, Михаэль! — крикнул Матраи. — Истина нетерпелива!.. Погоди, куда же ты?

— Пора. — Кеш озабоченно посмотрел на часы. — К полуночи я должен знать, что у меня на негативах. У тебя тут найдется чулан?

— Чулан?

— Впрочем, не нужно... Я видел чердак. Это меня устроит.

Кеш вставил за красное стекло фонаря свой карманный фонарик.

Зинн, нахмурившись, следил за лицом Кеша. Спокойствие покидало его всякий раз, как появлялся этот человек. Зинн и сам не знал, в чем тут дело...

В дверях Кеш лицом к лицу столкнулся с бойцом, который ввел высокого человека с широкими, сутуловато сведенными плечами. При ярком свете лампы человек этот растерянно замигал: это был Нокс.

Сопровождавший его боец доложил адъютанту Матраи:

— С той стороны пробился товарищ, вот его документы.

Кеш было остановился, с любопытством прислушиваясь, но тут же, поймав на себе настороженный взгляд Зинна, поспешно вышел.

В сенях Кеш включил фонарик, нащупал перила лестницы, ведущей на чердак, и стал подниматься.

Наверху было тесно и грязно. В разбитое слуховое оконце врывался холодный ветер горной ночи. Кеш задел головою за стропила и чихнул от посыпавшейся пыли.

Он взглянул в оконце: были видны неверные силуэты гор, со всех сторон обступивших Бриуэгу. Далеко за ними, на северо-западе, то и дело вспыхивали безмолвные зарницы артиллерийских залпов. По тому, что не было слышно канонады, можно было судить о том, как далеко успели уже прогнать итальянцев.

Снизу, из комнаты, где сидели офицеры, донесся крепкий баритон Зинна:

Хочу проснуться
В лучах зари,
Чтоб в небе летчик
Не парил.
Не слышать бомбы,
Гранаты воя
И разговоров
О нас, героях...

Кеш усмехнулся и высунулся в разбитое оконце. Черепичная крыша была во многих местах проломлена. Кеш дотянулся до ближайшей дыры, прикрыл ладонью алое стекло фонаря и опустил фонарь в пролом. Аккуратно установил его так, чтобы стекло глядело вверх.

Осторожно ступая, так, чтобы не скрипнули ступеньки, Кеш спустился в сени и выскользнул на улицу. Прислушался к тому, что делалось в доме. Зинн больше не пел...

У Зинна испортилось настроение. Петь не хотелось. Чтобы не нарушать общего веселья, он незаметно вы-

шел. Горы дохнули ему в лицо холодом ущелий. Над головою несмело дрожали звезды. Они то и дело прятались за набегавшими облаками. Какая тревожная ночь!

Порыв ветра растрепал Зинну волосы. Вернуться за шапкой?.. Не стоит. Вероятно, у него не очень веселый вид, зачем портить настроение товарищам? А все из-за этого противного Кеша.

Зинн зашагал прочь от дома. Скоро он вышел на пригорок. Пригорок был невысоким, ниже окружающих гор, но Бриуэга была как на ладони. Среди темных кварталов смутно серела лента шоссе. Зинн оглядел деревню, окрестности, где расположилась на отдых бригада. Эти люди имели право на отдых! Пусть спят батальоны Гарибальди, Домбровского, батальон, носящий такое дорогое и славное имя, — Тельман!.. Тельман... Уже три года в тюрьме...

Зинн отогнал печальные мысли, и его взгляд побежал дальше по испанской деревне, проверяя, не демаскировал ли себя какой-нибудь батальон полоской света. Ведь фашисты повадились теперь летать и по ночам.

Зинн вздрогнул: что значит этот яркий красный огонек посреди Бриуэги?.. Кто мог?.. И тут же вспомнил: фотографический фонарь Кеша!

Зинн шагнул было и замер... Прислушался... Не верилось: неужели стоило только подумать о сатане — и он тут как тут? Да, он не может ошибиться: это звук самолета. Одинокий, пока еще такой неясный, что даже не скажешь, с какой стороны он идет... Самолет, фонарь!..

Зинн большими скачками спускался к Бриуэге, минуя тропинку, прямо по склону, прыгая через камни, канавы...

Гул самолета вырвался из-за горы и сразу стал громче. Самолет шел низко, над самыми вершинами гор. То затухающий, то снова усиливающийся, как завыванье приглушенной сирены, хорошо знакомый голос немецкого бомбардировщика.

Сердце разрывалось в груди Зинна от бега. Он хотел опередить самолет, добраться первым к красному фонарю в центре Бриуэги.

Зинн был уже у подошвы холма, когда сверкнули первые выстрелы зенитных пулеметов. Они заливались, торопливо перебивая друг друга. За их очередями не стало слышно самолета.

Зинн был уже на улице. Он издали увидел высыпавших на выстрелы офицеров.

— Фонарь!.. Красный фонарь! — Что было сил крикнул Зинн.

Но вибрирующий звук падающей бомбы заглушил его крик. Яркий всплеск пламени ослепил Зинна, и тугой удар воздуха отбросил его к стене дома.

«Матраи?!»

Развалины дома Зинн увидел только через несколько минут, когда пришел в себя. Первой мыслью было: «Матраи?!» Подошедший офицер протянул Зинну выпачканный в глине зеленый сафьяновый бумажник. Он был немного изогнут, словно слепок груди, на которой пролежал много лет. Зинн сразу узнал: это был бумажник Матраи. Из него и сейчас еще торчал незапечатанный конверт неоконченного письма.

— Что с генералом?

— Ранен... Врач говорит — тяжело, но не смертельно.

Зинн поднялся на ноги и огляделся. Неподалеку от горящего дома генерала сидел Цихауэр и при свете пожара торопливо работал карандашом в альбоме.

Словно пытаясь утишить звон, которым была наполнена голова, Зинн крепко провел рукою по волосам, сделал несколько шагов и вдруг остановился, как пораженный ударом: устроившись на отброшенном взрывом вьюке, сидел Кеш. Его перо быстро бегало по раскрытому блокноту. Заметив Зинна, Кеш взмахнул блокнотом:

— Послушайте-ка, комиссар!.. По-моему, я начал здорово: «Подлая фашистская бомба едва не вырвала из наших рядов...»

Зинн отогнал промелькнувшую было мысль: «Это дело трибунала». Его рука, послушная порыву сердца, извлекла из кобуры пистолет и послала пулю в переносицу самодовольно ухмыляющегося Кеша.

Зинн сунул пистолет в кобуру и носком сапога брезгливо отбросил блокнот Кеша в угли пожарища.

## Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Высокопоставленные мишени ..... 5

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

«Но пасаран!»..... 191

Литературно-художественное издание

*Военные приключения*

**Шпанов** Николай Николаевич

**ПОДЖИГАТЕЛИ.**
**«НО ПАСАРАН!»**

Выпускающий редактор *Д.С. Федотов*
Художник *Ю.М. Юров*
Корректор *Л.В. Суркова*
Дизайн обложки *Д.В. Грушин*
Верстка *Н.В. Гришина*

ООО «Издательство «Вече»

Юридический адрес:
129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 47, строение 5.

Почтовый адрес:
129337, г. Москва, а/я 63.

Адрес фактического местонахождения:
127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 48, корпус 1.

E-mail: veche@veche.ru
http://www.veche.ru

Подписано в печать 19.07.2012. Формат 84×108 $^{1}/_{32}$.
Гарнитура «KudrashovC». Печать офсетная. Бумага офсетная.
Печ. л. 13. Тираж 4000 экз. Заказ № 1293.

Отпечатано в ОАО «Рыбинский Дом печати»
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.
e-mail: printing@yaroslavl.ru www.printing.yaroslavl.ru

Военные Приключения

Черная завеса нацизма накрыла Германию. Теперь фашистская камарилья строит новые планы — воссоздать военную мощь, чтобы перейти к покорению Европы и всего мира. Для этого хороши все методы: убийства, заговоры, подкупы, предательство... Сторонников и покровителей у коричневой чумы хватает, но далеко не все люди согласны равнодушно смотреть на то, как на планету накатывает волна очередной мировой бойни. Испания! Именно там новоявленным «хозяевам человечества» приходится столкнуться с отчаянным сопротивлением.

Широко известный роман автора многих советских бестселлеров, которыми зачитывалось не одно поколение любителей остросюжетной литературы.

ISBN 978-5-4444-0202-3

9 785444 402023

Вече